Б. Н. Ширяев

КУДЕЯРОВ ДУБ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиографическая повесть по мотивам воспоминаний автора о жизни на оккупированном фашистами Кавказе.

- Борис Ширяев
  -
  - ПРОЛОГ
  - ГЛАВА 1
  - ГЛАВА 2
  - ГЛАВА 3
  - ГЛАВА 4
  - ГЛАВА 5
  - ГЛАВА 6
  - ГЛАВА 7
  - ГЛАВА 8
  - ГЛАВА 9
  - ГЛАВА 10
  - ГЛАВА 11
  - ГЛАВА 12
  - ГЛАВА 13
  - ГЛАВА 14
  - ГЛАВА 15
  - ГЛАВА 16
  - ГЛАВА 17
  - ГЛАВА 18
  - ГЛАВА 19
  - ГЛАВА 20
  - ГЛАВА 21
  - ГЛАВА 22
  - ГЛАВА 23
  - ГЛАВА 24
  - ГЛАВА 25
  - ГЛАВА 26
  - ГЛАВА 27
  - ГЛАВА 28
  - ГЛАВА 29
  - ГЛАВА 30
  - ГЛАВА 31
  - ГЛАВА 32
  - ГЛАВА 33
  - ГЛАВА 34
  - ГЛАВА 35

- ГЛАВА 36
- ГЛАВА 37
- ГЛАВА 38
- ГЛАВА 39

Борис Ширяев
КУДЕЯРОВ ДУБ

Эта книга Бориса Ширяева не скоро будет издана в России. Очень многие посчитают его предателем Родины. Двойным предателем. Покинув Советский Союз вместе с отступавшими немецко-фашистскими войсками, Ширяев после окончания войны жил в Италии, где перешел в католическую веру.

Ну как же не двойной предатель! Это серьезные основания для того, чтобы не марать руки от соприкосновения с продуктами деятельности подобного человека. Особенно со стороны записных патриотов.

А, между тем, именно патриотический журнал «Наш современник» впервые ввел имя Ширяева в литературно-художественный оборот, опубликовав его «Неугасимую лампаду» в начале 90-х годов прошлого века. Произведение с восторгом было встречено критикой. Его даже поставили рядом с «Архипелагом ГУЛАГ» А. Солженицына. Более того, некоторые критики посчитали, что Солженицын зло обвинял сталинскую систему и не более того, а Ширяев пытался понять душу самых кровожадных представителей гулаговской системы, по-христиански жалел их. В «Неугасимой лампаде» автор вспоминает о том, как несколько лет провел в Соловецком лагере особого назначения. Этот лагерь положил начало архипелагу ГУЛАГ.

Вслед за журналом «Наш современник» Ширяева стали публиковать наши церковники, ибо автор немало писал о русских праведниках, о вере. Он был набожным человеком.

Последняя книга Бориса Ширяева «Дипи в Италии» вышла в начале 2000-х.

Издатели не знали подробностей биографии Бориса Ширяева. Именно этим можно объяснить публикацию некоторых его произведений. Со временем многое прояснилось. И этого писателя стали сторониться.

Почти все книги Ширяева автобиографичны. Единственная попытка написать произведение с вымышленным сюжетом и некоторыми персонажами — повесть «Кудеяров дуб». Но и здесь победил

бытописатель. Но именно этим она и заинтересует современного российского читателя. Ибо период войны с немецко-фашистскими захватчиками у нас слишком идеологизирован. А именно об этом времени и пишет Ширяев с журналистской точностью не только к бытовым деталям, но и к духовной атмосфере той поры.

Хорошо всем нам известная по книгам, фильмам и учебникам истории война открывается с иного ракурса после прочтения «Кудеярова дуба».

О прошлой жизни главного героя повести, преподавателя русского языка и литературы Брянцева, в тексте говорится туманными намеками. Но поскольку герой списан с самого автора, мы вправе напомнить вехи жизни Бориса Ширяева. Родился в Москве, учился в Московском университете, со студенческой скамьи отправился на фронт добровольцем из патриотических побуждений. Был награжден, повышен в звании. Как это напоминает биографии ветеранов Великой Отечественной!

Первая мировая закончилась социалистическим переворотом в 1917-м. Возвратившись в Москву, он попал в другую страну, где на бывшего офицера власти смотрели с подозрением — потенциальный контрреволюционер. Может быть, он и врос в новую жизнь, если бы не эти сомнения в его благонадежности. Как-никак, из дворянского сословия. Ничего, что семья давно обеднела, не владела людьми и землями, жила плодами рук своих и головы. Классовый враг и точка!

Не найдя себя в новой жизни, Ширяев отправляется на юг страны, где формируется добровольческая белая армия. Только за попытку перебраться на территорию, где нет большевиков, отставного офицера задерживают и приговаривают к расстрелу. Ему удается бежать, он возвращается в Москву, но скрывается недолго. Снова арест, Бутырка, суд и наказание: десять лет в Соловецком лагере особого назначения.

За примерное поведение Ширяева амнистировали через семь лагерных лет, но жить в Москве не разрешили, отправили на вольное поселение в Казахстан, Туркменистан, потом в Воронежскую область. Уже перед новой войной мы находим Бориса Ширяева в Карачаево-Черкесии и Ставрополе в качестве преподавателя педагогического института. Как он остался на свободе в 1937?!

И начинается еще одна война. И докатывается она до Ставрополя. Немцы оккупируют город в августе 1942.

С этого момента и начинается действие повести «Кудеяров дуб». Но если дальнейшее поведение главного героя повести преподавателя русского языка и литературы Брянцева в какой-то мере предсказуемо, то о других персонажах этого сказать однозначно нельзя. А их много списал с натуры Борис Ширяев в своем сочинении. Это и студенты его курса — комсомольцы; это рабочие пригородного совхоза, куда Брянцев устроился сторожем, спасаясь от голода; это городская интеллигенция, сотрудники городской газеты и рабочие типографии, пригласившие его возглавить новый независимый печатный орган. О том, как вели себя все эти люди в оккупированном городе, нам историки не рассказывали и никогда не расскажут. А это очень интересная история.

ПРОЛОГ

Керосин в Масловке кончился в первые же дни войны, да и до того велся не у многих. Кто дружил с трактористом, тот выпрашивал у него пузырек на коптилку или менял у рабочих МТС на яйца и масло, а большая часть изб без него обходилась. Время летнее — день долгий. Вернувшись с работ, повечерять наскоро в полутьме, а постлаться и лечь можно и в потемках. К осени стало хуже: наползут сумерки, завалит небо тучами — в избах полная тьма, а сон еще не идет, да и у баб дела много. Плохо. Скучно. Иной вечер не в моготу становится.

Вот и теперь, хоть и дождик кропит, Арина Васильевна сидит на завалинке под крытым еще покойным мужем крылечком. Тогда, в давно ушедшие годы, знаменито он его оборудовал, кружевною резьбою обшил поверху, расцветил охрой и суриком. Теперь от этих узоров и следа нет, а резное кружево лишь кое-где клоками догнивает. Да и сама крыша сгнила — вся протекает.

Вдовство горькое.

Большая мутная капля собралась под трухлявой тесиной, затяжелела и упала на щеку Арины. Вдова не смахнула ее. Капля покатилась по щеке, оставляя за собой блесткий следок, затекла в морщину у губы, в ней и осталась. Вот с этого крылечка, с этой вот треснувшей, обломавшейся уже ступеньки последний разок на него глянула Арина. Обернулся тогда он, тряхнул картузом, и поворотил за угол. Только всего и было при расставании.

Ступенька-то треснула и обломилась. Так и бабья жизнь тоже треснула тогда, тоже обломилась.

Осенний дождь зачастил, слился в одну серую, мутную пелену с наползшими сумерками. И соседской крыши видно не стало. Только слышно, как капли по лужам стегают.

Что уж там гадать-вспоминать! В избу пора. Скоро и ночь. Вдовья, одинокая, долгая ночь.

По блесткому следку дождевой капли другая покатилась — он или так это? Только померещилось? Тот, что на Шиловской горе, кривой?

Кривому ему и быть теперь надо. Головинские мужики ему тогда начисто глаз выбили, всем это известно и урядник Баулин говорил. Ногу тогда тоже перешибли. Ване, соколику.

Он ли? Откуда? Ведь столько годов вести о себе не давал.

Нет, не он. Все обличье другое. А вот как бровью повел, — будто он, Ваня мой ненаглядный, будто с того света сошел. Воротился.

Он! Он это, — стучит бабье сердце во вдовьей посохшей

груди, — он! Помолоду оно трепыхается, жаворонком поет, а не серой кукушкой стонет.

Он! Ваня это!

Так трепыхнулось сердце, что Арина Васильевна даже за грудь схватилась. А нету ее, груди. Уплыли обе лебедки белые. Зачахли одни, без ласки милого. Иссохли.

Нет, не он это был на Шиловском спуске. Так, померещилось что-то.

Еще одна капля скатилась по блесткому проторенному следу. За ней еще.

Не он…

— Много лет вам здравствовать, Арина Васильевна!

Перед обветшалым крылечком, не вступая на него, стоял вынырнувший из пелены дождя такой же серый, как и она, человек. Снял шапку и поклонился чуть не в пояс.

— Мать Пречистая! Царица Небесная! Заступница! — прошептали Аринины губы.

— Не признаете? Оно, конечно, давно мы с вами не видались, Арина Васильевна. Да и темно к тому же, — говорит, словно с усмешкой вынырнувший из дождя человек. — Может, в избу зайти дозволите? Там, на свету, легче признаете и в старом знакомстве удостоверитесь.

— Ваня! Ванюша, светик! Вернулся! — Рванулась всем телом Арина Васильевна. Ей казалось, что на всю Масловку выкрикнула она эти слова, из самого сердца их вырвала, а на самом деле только прошелестела ими, как осина сухими листами. Один только их и услышал этот самый, вышедший из сумеречного марева, человек.

— Верное ваше слово. Подлинно это я, Ариша. А по прозвищу в прежние годы Вьюгой числился. Я самый это и есть.

— Ваня, темно в избе-то, керосину нет, — только и нашла, что ответить Арина Васильевна. Стоит она на крылечке и шагу ступить не может ни вперед, ни назад. Обняла бы, ух, обняла бы она этого серого, мутного человека, а руки не поднимаются. Повисли, как мокрые холсты. Сомлела.

Кривой ступил на крылечко и осмотрелся.

— Так, значит, — ответил он вслух каким-то своим мыслям, — значит, так…

Пощупал рукой сгнившую доску крыши. Она сдвинулась с места и осыпала его трухой.

— Значит, значит. Осиповы достижения все насмарку пошли? Как по пятилетним планам полагается? А первейшее крылечко он тогда соорудил. Плохо живете, — обратился кривой к Арине Васильевне. Не попрекнул и не пожалел, а только подтвердил и

без того ясное. — Что ж мы с вами на дожде стоим? Ведите гостя в избу, коли он вам желателен. Насчет освещения не беспокойтесь, при себе его имеем. Плохо, плохо живете…

— Как все, Ванюша. Вся жисть такая, — тихо ответила Арина, словно повинилась в чем.

Войдя вслед за деревянно ступающей женщиной в темноту избы, кривой вынул из кармана плоскую немецкую свечку в розовой бумажке и чиркнул зажигалкой. Выправил примятый фитилек, зажег и обмахнул его желтыми бликами пустые стены избы, не покрытый скатертью стол и в углу широкую кровать с уцелевшей кое-где потемневшей пестрой окраской. На ней задержал блики, поиграл ими.

— На этой кровати он и помер?

— Где же еще? — глухо, почти сердито ответила Арина. — На ней, на самой.

— Про меня не поминал?

— Почитай каждый день о тебе словечко было. Книжки, что ты ему купил, все читал. Почитает, задумается и про тебя вспомнит. «Блудный он, — говорит, — а только ему этот блуд не к погибели. Вот иные святители тоже смолоду блудствовали, а потом озарились Господом и спаслись. На подвиг вступили. Так и он. Выведет его на путь Никола Чудотворец».

— Еще что говорил? — напряженно схватывая каждое слово Арины, допытывался кривой.

— Ну, как услыхал, что били тебя, пожалел, конечно. А потом говорит: «Это к славе». Он перед кончиной-то своей сам вроде блаженного стал. Туманно говорил, умственно и все улыбался.

— Так и должно ему было стать, — подтвердил свои мысли Вьюга, — к тому самому он подвигался.

Помолчал и снова спросил с присвистом, с хрипом:

— В смертный час меня помянул?

— Про меня и про тебя совместно. «Жди, — говорит, — вернется он к тебе, одна у вас путинка-дороженька. Верно, — говорит, — накрепко его жди, приведет его Никола Милостливый».

Кривой перекинул волну блеклого желтого света в угол, на скрытую там, в темноте икону Чудотворца, перекинул свечу в левую руку, перекрестился и поклонился.

— Царство Небесное рабу Божьему Осипу… А теперь давайте и мы с вами, Арина Васильевна, поздороваемся, как полагается, после долгой разлуки, — протянул он хозяйке руку.

Арина не взяла ее, а, раскинув свои, шатнулась к нему всем телом, словно сзади ее кто толкнул. Шатнулась и, не встретив желанной опоры, откачнулась назад. Кривой не шелохнулся. Так

и стоял с протянутой рукой. Только бровь над выбитым глазом ходуном заходила.

Арина покорно вытерла ладонь о подол и, сжав палец к пальцу, дощечкой протянула ее Вьюге. Не того ждала. Не такая встреча во снах ей грезилась. Вьюгиных пальцев она не пожала, молча низко поклонилась и пошла к печке.

Кривой сел к столу, снова обвел глазом избу, усмехнулся чему-то и, согнав смех с лица, пошел за Ариной, у печки обнял ее сзади за склоненную спину и зашептал на ухо каким-то не своим, не обычным, а удивившим его самого голосом. Будто не он, а за него кто-то говорил.

— Ты, Ариша, на меня не гневайся, что не приветил я тебя, что не по-прежнему повстречались мы с тобой. Ты, Ариша, помысли сама, — кто мы с тобой были, и кто мы теперь есть. Хоть на мой лик взгляни, — повернул он женщину и, взяв ее за оба плеча, поставил перед собой, — вглядись в него поплотнее. Есть я теперь Вьюга? Ваня я теперь есть?

Ты не на глаз мой смотри, какой мне головинские мужики выбили, — продолжал он быстро и страстно, теперь уже своим настоящим хрипловатым голосом, — этому глазу давно панихида отпета и в поминание он у меня не записан, аминь ему! Амба! Ты на весь лик мой смотри. Что он собой есть? Труха он, Ариша, насквозь трухлявый, ровно вот как доски, какими Осип крылечко обуютил.

Труха! И крыльцо труха, и Масловка вся протрухлявила, и Рассея вся трухой позасыпана. Вот что! — выкрикнул кривой и добавил неожиданно тихим, опять чужим, не обычным своим, мягким голосом: — Какая ж промеж нас может быть теперь любовь, Арина Васильевна?

— Так зачем же пришел? Зачем воротился? — подняла упертые в пол глаза Арина. — Зачем душу мою развередил? Опять для своего только гонору, как тогда, чтобы, значит, удостовериться, как ты над бабьей мукой властвуешь? За этим?

Кривой выпустил плечи Арины и молча пошел к кровати. Стал перед ней спиной к женщине и уставил глаза в угол, где лежал скинутый Ариной мокрый от дождя бушлат. Смотрел туда долго. В тот же угол смотрела и Арина.

Вьюга медленно повернулся и еще медленнее повернул глаза на чуть заметный в темноте угла образ. Взял со стола немецкую свечку, поднял ее и умостил в пустую лампадку. Желтые блики стали разом розовыми и облекли ласковой теплотой выступивший из тьмы лик Чудотворца.

Арина взглянула на него и закрестилась. Перекрестился и Вьюга.

— Вот зачем, — сказал он глухо, — за этим за самым. На него взглянуть, — мотнул он головой к розовой ласке лампады, — ему поклониться, у него силы взять себе, как тогда Осип, когда меня, полюбовника твоего, от урядника скрывал на этой самой постели. К нему душу свою окаянную я нес от самого ледяного океана. Вот и принес, — усмехнулся кривой, подморгнув Арине своим единственным глазом, — принес душу свою и затеплил ее перед ним немецкою свечкой!

— И так бывает, Ваня, — неясно, по-матерински ласково усмехнулась в ответ Арина, — всякое случается по воле Господней. А что от масла, что от свечи — в лампаде-то свет один. Только бы теплилась она…

Вьюга порывисто шагнул к женщине и крепко обнял ее. Тряхнул головой и, коля небритой щетиной усов, прижал свои к ее губам.

— Ваня, Ванюша! — из груди, от самого донца ее, проворковала, простонала Арина. — Вот когда воротился ты… мой! Мой! Соколик мой! Вьюга моя сердешная! Мука моя…

И словно вырвавшаяся из земли сила снова растолкнула обоих. Кривой так же резко откинулся от Арины и, топнув каблуками, стал перед ней, как на выпляску. Голову задрал, разметал к вискам обе брови и кулаком в бок упер.

— Ваня! Ваня мой разудалый! Ты! Как есть ты! — только и смогла сказать Арина Васильевна, сведя на грудях отброшенные кривым руки.

— Ваня! — выкрикнул кривой. — Ванька я опять! Вьюга я опять!

Вот она жисть-то, Ариша! Обмела она труху, а под ней наново дубовина! Крепкая! Не уколупнешь ее! Вот как! На этой кровати постели мне сегодня, — повелительно сказал он замлевшей и засветившейся Арине, — в тот угол подушку клади, в тот самый, в который я, Вьюга, тогда, страха ради, лег. Из него, из этого угла теперь я, Вьюга, и восстану! Так? Поняла?

ГЛАВА 1

Спелое яблоко, падая, прошуршало по листве и звонко шлепнуло о землю. Сторожкие, нащупывающие шаги бредущего в темноте августовской ночи притихли.

— Что за человек? Отзовись!

Платон Евстигнеевич привстал с доски, прибитой на колышках у входа в шалаш, и всмотрелся в темень кленовой чащи, густо забившей окраину сада.

— Слыхом слыхать, а не видно. Отзовись, говорю! — прикрикнул он строже. — Видишь, сторожа не спят? Какие там могут быть шутки в ночное время?

— Черта он видит, — засмеялся Брянцев. — Это, наверное, Середа шляется. Комбайнер, ты? — крикнул он в темноту.

Осторожные, неуверенные шаги снова зашуршали уже вблизи самого шалаша и перед сторожами совхоза, садовым — Брянцевым и амбарным — Евстигнеевичем, явно выступила из ночи фигура шедшего от кустов.

— Что за человек? Откудова?

— С городу. В Татарку иду.

— Чего ж ночью? Какие могут быть по ночам хождения?

— А в городе, где заночуешь? С поезду я. Девять ден от Горловки ехал. Беда! Огоньком не одолжите? Курить смерть охота.

— Насчет огонька возможно. Он у нас не в кооперативе купленный, а собственного производства.

Платон Евстигнеевич пошарил во внешнем кармане бушлата, извлек оттуда железное кресало, потом полез в боковой внутренний карман и из него — свитый из пакли сухой жгут и кремень, завернутый в бумажку.

— Спичек мы не купуем. Своим обходимся, без электричества. Кресало грызнуло камень и выпустило из него пару желтеньких звездочек. Жгут затлел волчьим глазом. Платон Евстигнеевич покрутил им в темноте и протянул пришедшему.

— На, получай продукцию.

— Обожди маненько, — задержал его руку тот, — а может и самосаду чего найдется, а? У меня одна пыль в кармане. Уважь на цигарку.

— Э, ты, брат, вон какой жук! Дал веревочку — дай и бычка. Ну, отсыплю уж на тонкую, крути. Самосаду теперь и на базаре не укупишь. Тоже своего производства. Сам-то ты откудова?

Пришедший, нащупав в темноте щепоть с табаком и боясь обронить хоть крошку, свернул, прикурил от разрумянившегося

волчьего глаза, с хрипом, глубоко затянулся и, выдохнув дым, ответил:

— Татарский я и есть, домой иду.

— А работал в Горловке?

— Ишачил там на земляных последнее время. А до того на Урале был. В Сибири тоже.

— Из летателей, значит, легкого рублика искателей? Так. Нет, он, рублик, везде свой вес содержит. Не легчает, сколько ни летай. А дома что будешь делать?

— Как-никак, дома. Время такое, что к своему месту прибиваться надо. Горловка-то уже забрана.

— Взята? — переспросил молчавший Брянцев. — При тебе или только одни слухи?

— Какие там слухи. С последним составом выскочил. На поезде болтали: он уж в Кущевке.

Брянцев тихо присвистнул. Евстигнеевич, словно о чем-то очень далеком, его совсем не касающемся и не интересующем, вымолвил:

— Все может быть, — а затем по-деловому осведомился: В поезде-то, наверное, теснота? На тормоза, на крыши лезут?

— Нет, такого не заметно. Стоять, конечно, всю дорогу стоял, а состав классный. С самой Горловки мало кто съехал, больше дальние, с Украины, и такие вот, вроде меня, какие к своим местам продвигаются. А горловским чего же от своих домов отбиваться?

— Партийные, конечно, уходят? Администрация, начальство? — спросил Брянцев.

— Кто как. Они больше на машинах или в своих составах зараньше эвакуируются. Войска тоже своим маршрутом идут, кому какой приказ. А народу что? На какого хрена переть, своего последнего лишаться? Народ, как был, так и есть на месте.

— Насилия, расстрелов не боятся?

— Это про какие радио сообщает? Нет, не опасаются. Больше на слух полагаются. А солдаты говорят: ничего этого нет, одна пропаганда. Немцы, как немцы, очень даже обыкновенные. Ну, понятно, армия, как ей надо быть, строгость, а больше ничего такого.

От конторы совхоза, окно которого желто поблескивало сквозь ветви яблонь, кто-то шел. Шаги звучали гулко и уверенно. Чертыхнулся, зацепившись за сук, подошел к самому шалашу и пригнулся, вглядываясь в сидящих.

— Ты, комбайнер? Чего с собрания смылся?

— Сторожа на месте, как им полагается, сидят да покуривают в своем штабе, а на флангах ребята яблоки обтрясают. Все в

порядке. А третьим у вас кто? Не угадываю что-то.

— Это так, прохожий, — нехотя отозвался Евстигнеевич. — В Татарку идет, а к нам за огоньком завернул. Ну, докладывай, что есть в международном положении?

— Одна баба родила голого, то и нового. Окромя ничего.

— На собрании что объявляли?

— Прежнее: бдительность и трудовой энтузиазм. Чего тебе еще?

— Насчет войны ничего?

— А что тебе тут сказать могут? Ровно, как и мы, тот же самый патефон слушают.

— Ну, по партийной линии другие сообщения бывают, — возразил Брянцев.

— А что ж я сам не партийный, что ли? Везде один черт — правды не узнаешь. Политрук говорит, усилить бдительность, враг в сердце родины. А где сердце, сам дьявол не разберет. В сводке одни направления.

— Он вот говорит, — под Кущевкой.

— Очень даже просто. Раз под Ростовом сбил — вали до самого Сталинграда без пересадки. Ну, и нас правым флангом зацепит. Как в гражданскую. Одна стратегия.

— Так как же?

— А так, пойду сейчас спать. Пускай они там сами на собрании преют. Завтра посмотрю в окошко, какая власть будет.

— Пожалуй, что не угадаешь, — отозвался, раскуривая крупно крошенный, сыроватый самосад, прохожий. — Из окошка теперь власть не разглядишь.

— Не пойму, куда загибаешь? Положение определенное: прет немец без перебоев и припрет. Вот и все тут.

— А что он, немец, в себе содержит, тебе известно? Что он есть за власть, ты это знаешь?

— Ну, немец, фашист, капитал утверждает, собственность. Всем известно.

— Ничего не известно. Она и собственность разная бывает. Вот, примерно, по нашим местам, кто помнит, у барона Штейнгеля собственности двадцать тысяч десятин было, заводы разные, овец не счесть, а у казаков по десять десятин, ну, по пятнадцать. У иногородних и того меньше. Теперь рассуди, какую же собственность утверждать: Штейнгелеву, казачью или иногороднюю?

— Никакую. Немец по своему закону отмерит, и все тут, — веско отрубил комбайнер.

— А тебе от его закона что? Его закон, ему и полезный. А нам, русскому народу, что?

— Рассуждать не приходится.

— Это так, — подтвердил Евстигнеевич, — нас не спросят.

— А мы сами скажем. Черкани кресалом, хозяин, обратно загасла.

Газетная бумага цигарки вспыхнула желтым пламенем и на мгновение осветила заросший седой щетиной подбородок, рассеченную глубоким шрамом губу и круто клюющий ее загиб острого носа. Прохожий сплюнул и заговорил о другом.

— На новостройках теперь всякого народа много. Нужны люди, требуются. Паспортов теперь и не спрашивают. Даст человек какую-никакую справку, того и хватит. Ну, конечно, тем пользуются, что власть ослабела. Всякие теперь там люди. О кулаках и говорить не приходится — их полно, но есть и повыше, даже до архиерейского чина. Тоже случаются.

— И ты встречал? — ввернул вопрос Брянцев.

— Бывало. Не могу точно сказать, архиерей, али какого другого звания, только что видно высокого. От Писания во всем осведомлен, без книг все пророчества помнит и разъясняет. Даже и Апокалипсис-книгу.

— Ну и что ж он вам по Апокалипсису разъяснял? — еще с большим интересом спросил Брянцев.

— Разное. Про зверя там, про блудницу вавилонскую, про огонь с небес, про железную саранчу. Очень даже сходственно получается. Совсем подходящее на видимость.

Прохожий замолчал. От конторы доносились обрывки каких-то голосов. Там спорили.

— Это директор с главбухом за кассовую наличность соревнуются, — пояснил, прислушавшись, комбайнер. — Они еще утром качали: кому при себе ее держать. Ясно-понятно к чему вся эта петрушка. Ну их к дьяволам! Ты не про блудницу нам говори, этого добра у нас хватит, а что он про будущность разъяснял, вот что!

— Про будущность тоже. Говорил, положено России за всеобщие грехи страдать двадцать пять лет. Перестрадать гладом и мором, палиться огнем и иноплеменным нашествием, а после того восстать из пепелища. Для свершения этого надо всем по своим местам быть, на своих прирожденных положениях. Крестьянину или казаку, там, — на земле, в колхозе, значит, или в совхозе; купцу — при торговле; солдату — при своем полку. А как час настанет, — объявится Михаил, русского закона царь.

— Это какой же? Брат Николаев, что ли? — спросил комбайнер.

— Он.

— Хватил! В восемнадцатом году расстрелян.

— Значит, нет! Спасен милостью Божьей и скрывается до времени. Объявится и установит русскую власть.

— В земле скрывается, — рубил в ответ комбайнер, — на два метра вглубь, а может и боле. А с ним вместях и твоя русская Власть. Там же. В одном месте.

— Были такие люди, что сами его видели. Странствует он по чужому паспорту, по России кружит и верных себе выискивает, до конца перестрадавших высматривает, претерпевших. От верных людей слышал.

— Актив, значит, сколачивает. Правильно! Из себя каков же? Что тебе эти верные люди рассказывали? — упорно налегал комбайнер.

— Говорят, не старый еще человек. Лет не более в пятьдесят, ростом невысок.

— Вот и выходит — всё брехня. Я Михаила-то Александровича, может, раз двадцать видел, когда в гвардии служил в Петербурге. Он от меня старше. Значит, теперь ему много за шестьдесят перевалило и ростом высок. Тонкий только, худощавый, однако, очень отчетливый. Государь, тот попроще был, вроде маловат, мешковат, а Михаил, как свечка. Врут твои верные люди. Я-то знаю. Вся фамилия перебита. Вот тебе и русского закона царь! Нет, брат, два закона нам теперь предоставлены: немецкий или советский, всеобщий колхоз, так сказать. Других нету и быть не может.

— Так. Значит, выбор небольшой, — проскрипел, захватившись стариковским кашлем, Евстигнеевич, — вроде, как в нашем кооперативе.

— И выбора никакого нет, — рубил комбайнер, — тебя не спросят, чего ты желаешь. Кого сила — того и закон. Всё тут!

— Всё тут… — повторил Брянцев. — Прав ты, товарищ Середа. Тут — всё. Всё в силе. А чья сила крепче, по-твоему?

— Сам не видишь, что ли? Наши, что ль, под Берлин подошли или кто другой под Москву? В ту войну без патронов такого не было. С Карпатов ушли, а на Стыри стали. Так ведь, Стырь-то не Россия ещё, а так, пограничная зона.

— Дезики с фронта валом валят, — продолжал, ни к кому не обращаясь, прохожий, — и не укрываются даже. Ослабла власть. Почем зря ее армейцы лают. Никого не боятся.

— А кого им бояться? Я в ту войну сам в дезертирах побывал, еще до октябрьского поворота. Кого я боялся? Ровным счетом никого, — гудел Середа, — меня, нас все боялись. Так и теперь будет. Народ, он, брат…

Комбайнер не договорил. От конторы прикатился гулкий хлопок выстрела, а вслед за ним резанул темноту протяжный вой

боли и испуга.

— О-о-о-о-о!

— Чтой-то такое? — вскочил Евстигнеевич.

— Не иначе как из обреза ахнул, — спокойно разъяснил Середа.

— По звуку всегда определить можно.

— Надо идти.

— Иди и ты, Евстигнеевич. Узнаешь, — скажешь, — подталкивал старика Брянцев. — А я здесь побуду.

Комбайнер, а за ним Евстигнеевич скрылись в темноте. Их силуэты на мгновение показались на фоне окна и снова пропали. Шаги стихли. Упало еще яблоко. В конторе снова завыл примолкший было голос.

— О-о-ой! Ровней берите! Легче, легче, под спину подхватывайте! — слышалось оттуда.

— Эй ты, прохожий, — обернулся к шалашу Брянцев. Но там уже никого не было. В кустах слышались удалявшиеся шаги. Кто-то лез напролом сквозь чащу кленов и бузины. — Эй, ты, татарский! — крикнул в темноту Брянцев. — Тикаешь?

— Свидимся еще. Когда время означится, — донеслось в ответ из темноты.

ГЛАВА 2

«Когда переломы жизненного пути повторяются слишком часто, они перестают быть травмами, нарушениями нормы, а становятся чем-то вроде хронического вывиха. Ни боли, ни сожалений по утраченному. Каждый новый удар воспринимается не как катастрофа, а как что-то, закономерно и логично связанное с предшествовавшим, следовательно, не только неизбежное, но и оправданное этой неизбежностью».

Так думал доцент Брянцев, когда оставшуюся половину его педагогических часов учебная часть поделила еще надвое и отдала «излишки» прибывшему из захваченной немцами области беженцу, учителю средней школы. Половина часов первого дележа была уже отдана тоже беженцу, ловкому плановику-экономисту какого-то крупного учреждения.

— Однако простой арифметический подсчёт свидетельствует с абсолютной точностью, что жить решительно не на что. Вычеты остались теми же, а получение сократилось в четыре раза. Итак?

Это «итак» он произнес вслух уже за дверью кабинета заведующего учебной частью института, на этом его монолог оборвался. Дальше «итак» не пошло. Но когда это слово было повторено дома, то его продолжила Ольгунка, Ольга Алексеевна, жена Брянцева.

— Итак? Остается то, что неотъемлемо, неотрывно от человека, — без тени смущения или испуга сказала она, даже засмеялась.

— Что же? — с большим интересом спросил Брянцев, приученный опытом к недоверию всему, якобы неотъемлемому.

— То, на чем ты стоишь, я стою, мы стоим, дом стоит.

— Пол? Земля? — с недоумением спросил Брянцев.

— Земля. Конечно, она. Родящая, кормящая, вмещающая.

— Но, позволь, у нас с тобой нет ни сантиметра этой родящей и кормящей. Разве вон там, на окне в цветочном горшке.

— Колхоз, совхоз, племхоз. Какой угодно «хоз», но с землей. Там — паек. Проживем.

— Мнето что делать в этом колсов-племхозе? Что? — развел руками Брянцев.

— Всё, что придется. Как кавалерист в прошлом, ты можешь быть конюхом, как знающий арифметику, — учётчиком. Да мало еще чем, ночным сторожем, наконец. Не всё ли равно? Я что-нибудь буду делать. И еще одно соображение, очень важное, — голос Ольгунки снизился до шепота, — ты человек заметный, ты на учете, — она опасливо посмотрела на стену, — ты уцелел в

тридцать восьмом году, потому что был тогда нужен, почти случайно. Второй раз это не удастся: уходя, они хлопнут дверью. Все так говорят. И тебя прихлопнут. А где-нибудь в колхозе — проскочишь. Во всяком случае, там больше шансов проскочить.

Планировать дальше было уже легко. Не только планировать, но и претворять план в реальность. Агроном учебного хозяйства соседнего зооинститута был свой человек и к тому же любил выпить под хорошую закуску. За литровкой и сладились.

— Правильное взяли направление, Всеволод Сергеевич, — сказал он, выслушав просьбу Брянцева, — у нас вам только и быть. Сделаем! За большим не гонитесь. Лучше будет, коли потише. Назначим вас сторожем к парникам, хотя бы и сверхштатным, но паек тот же пойдет. Прокормитесь. Потом, летом, в сад можно будет перевести. Там полное раздолье. Природа! Витаминьтесь всеми буквами: А, В, С, Д. Этого добра хватит. Курорт, я вам доложу. С пчеловодом подружитесь. Он тоже свой парень, хотя и латыш, но человек русский. Бородку себе отрастил, а пузо само нарастает. Ишь, вы какой худокормый, — пощупал он ребра Брянцева, — ну, дернем очередную. Подпись и печать. Всё в порядке.

Институт тоже не протестовал против ухода доцента Брянцева. Там всё шло теперь турманом. Большинство студентов были мобилизованы, оставались почти одни лишь девушки, да и тех поубавилось: одних тоже мобилизовали, другие сами пошли в связистки, медсестрами, кое-кто даже в авиашколу. Расписания, графики, программы, учебные планы изменялись чуть не каждую неделю. Об их выполнении теперь никто не думал и никто не спрашивал. Секретарь учебной части сначала хватался за голову и пытался что-то кому-то доказывать, потом сам махнул рукой и так исчертил весь лист расписания поправками и заменами, что сам перестал понимать, кто, в какой аудитории и по какой дисциплине будет заниматься? А студенты перестали удивляться, встречая преподавателя диамата вместо ожидаемого профессора языкознания или математика вместо химика.

Кроме того, учебной части самой нужны были свободные педагогические часы. Различные организации то и дело требовали устроить то одного, то другого беженца. Протестовать было опасно. Кто их знает, этих беженцев? Может, и высокого полета, — неприятностей наживешь. Курсы кромсали, делили, перераспределяли, приспосабливали. Обалдевший так же, как и секретарь, заведующий учебной части отдавал кафедры точных наук — математики, физики — каким-то непонятных специальностей инженерам или бухгалтерам; литературные предметы — учителям, а порой и плановикам-экономистам. Не

все ли равно! Сегодня все кувырком летит, а что будет завтра — черт его знает! Может, ни института, ни студентов, ни самого города не будет.

— Не все ли равно? — думал и Брянцев, идя по степи. — В учхоз сторожем — так сторожем! Паек дадут, — сегодня сыт, и баста. Сегодня скверно лишь то, что проклятая веревка с узлом.

Он скинул с плеча переброшенные через него тючки с одеялом, подушкой и какой-то посудой.

— Эк, нагрузила меня Ольгунка! Всегда масса лишнего. А впрочем, не все ли равно?

Брянцев сел на уже просохший придорожный лобок и сбросил шапку на землю. Ее пушистый кроличий мех забивался в уши, глушил, душил. Робкий мартовский ветерок скользнул по его вспотевшему лбу, подкинул на нем прядь седеющих волос, побаловался ею и побежал по мерцающим в колеях рябоватым лужам. Снега в степи оставалось уже мало, но весенняя трава еще боялась вылезать, пробивать бурую прошлогоднюю ржавчину.

От кочки, на которой сидел Брянцев, тянуло влажным теплом, парным, весенним пригревом и еще чем-то. Чем? И не только от кочки, а от всей земли. Словно тот струистый, прозрачный парок, узкую ленту которого видел Брянцев вдоль всего горизонта, входил в его тело, заполнял в нем какие-то щели, трещины, пустоты, — скреплял, спаивал его.

«А ведь давно я настоящей земли не видел, — подумал Брянцев, — цемент и бетон — не земля. Черствая корка земли. Нет, даже не корка. Та сама от хлеба, из хлеба, родная ему, а бетон — оковы, насилие, как стены тюрьмы».

Серые стены одиночной камеры в Бутырках ясно встали перед Брянцевым. Серые, глухие. И двери с решетчатым окошком-глазком.

— К черту! — крикнул он во весь голос и замотал головой, вытряхивая непрошенное воспоминание. — К дьяволу!

Вившийся над ним жаворонок прянул в сторону от этого крика. Брянцев обвел глазами всю ширь степи, оперся о землю обеими руками, потом копнул ее и, набрав обе горсти влажного рассыпчатого чернозема, долго внюхивался в них.

«Так и тогда она пахла. Тогда. Далеко это „тогда“, словно совсем его не было. Ничего не было. Ни широкого парующего поля, ни серо-серебристой колосящейся ржи, ни самого гимназиста Всевы Брянцева, скачущего средь нее по проселку на ладном гнедом меринке Каштанчике. Ничего этого не было! К черту! Марево. Раз ушло из реальности — значит, нет его, исчезло, как круги на воде от брошенного камня. Разойдутся — и нет их. Даже и следа нет. К черту. Надо идти в учхоз, в паек, в

реальность, в жизнь. Она есть. Она не марево. Учхоз, паек, сторожевка. Точка».

Но найти себе пристанище в учхозе оказалось труднее, чем ожидал Брянцев. Жилищный кризис злобствовал и здесь.

— Придется вас к Яну Богдановичу, пчеловоду нашему, вселить. Вернее сказать, втиснуть, — басовито ответил полный, осанистый бухгалтер, приняв его документы, — человек он тихий, можно сказать, даже интеллигентный. Это дебет, — подвел он итог, произнося слово дебет с ударением на первом слоге, и загнул один палец на левой руке. — Но с другой стороны, пять человек малых детей. Меньшая еще в пеленках. Это кредит, — также ударил он на первый слог и загнул на правой руке один палец, — теперь сбалансируем, — свел он оба пальца, распрямив их. — Впрочем, и балансировать нечего. Или к пчеловоду или в холостяцкое общежитие. Там — мат, грязь, совсем из нее проистекающим и происползающим. К Яну Богдановичу. От конторы проулком четвертый дом. Здесь не город — всякий покажет.

— Но, а если я разом, как полагается садовому сторожу, в шалаше поселюсь, при парниках? — спросил Брянцев.

— Дело, конечно, ваше. Но пока у нас март месяц. По ночам еще заморозки, да и вообще морозы возможны. В целях сохранения здоровья — не советую.

— Ничего, я уроженец севера. Холода не боюсь, и одеяло у меня теплое.

— Ну, как вам желается. С нашей стороны препятствий нет. Только шалаш вам самим придется построить. Сумеете? — с сомнением оглядел он Брянцева.

Но в этом строительстве неожиданно нашелся дельный помощник, в лице Яна Богдановича, молодого белобрысого латыша из Псковской области. Он разом притащил каких-то слег, добыл снопов пятьдесят сухого ломкого камыша и, пошептавшись с зоотехником, объявил Брянцеву:

— Будет еще воз соломы. Через контору, конечно, невозможно, а по блату — в два счета. Теперь всем обеспечены.

Строительное рвение латыша не требовало объяснений: иметь еще одного и к тому же неизвестного жильца в своей набитой детворою небольшой комнатке, его ни в какой мере не привлекало. Шалаш, в котором можно было стоять не сгибаясь, соорудили в один день. Даже что-то вроде двери примостил ловкий Ян Богданович, оторвав несколько досок от старых ульев.

— Придет весна, будете сидеть и любоваться. Сад, надо вам сказать, неплохой, зарос только без присмотра, одичал, а садивший его хозяин знал дело. Я ведь тоже садовник. Мы,

латыши, все садовники.

Так и покатились дни, ровные, гладкие, как обточенные водой голыши — ухватить не за что. Сначала Брянцев не находил своего места в жизни учхоза. Чужим, случайным казался он и другим и самому себе. Устроив его туда, агроном Трефильев теперь явно его избегал. Это понятно: боялся обнаружить свой протекционизм. Случись что, — кумовство пришьют, а то и хуже. Директора Брянцев также знал раньше, но теперь сам избегал встреч с ним. Тогда они были равными, встречались в одном и том же институтском кругу, а теперь Брянцев — один из самых низких на социальной лестнице его подчиненных. Как-то фальшиво, несуразно. Плотный бухгалтер сидел день и ночь в конторе и четко, звонко отбивал костяшками счет. Даже ритмично, вроде какого-то джаза получалось, особенно эффектного при итогах. Брянцев и к нему не заходил. Бухгалтеры казались ему даже не людьми особого, сниженного вида, а лишь внешностью людей при цифровом дебетно-кредитном содержании. Зоотехник учхоза — молодой, очень веселый комсомолец Жуков, только что окончивший тот же институт, целый день носился по двору, коровникам, свинарникам, выкрикивал ходкие, навязшие в зубах лозунги или отпускал такие же замызганные советской «житухой» словечки. Он не «задавался», охотно и легко шел на мелкий блат, разрешал брать охапки соломы из неприкосновенного кормового запаса, манипулировал с удоями, нагоняя премиальные заигрывавшим с ним дояркам, списывал, как негодных, овец, шедших под нож в котел и, конечно, лучшими частями — администрации. Словом, он был «свой в доску», и это коробило Брянцева.

Путь к учхозной интеллигенции был закрыт, а другого, к «массам», Брянцев сам не мог нащупать.

ГЛАВА 3

Навел его на этот путь лысый Евстигнеевич — другой сторож; Брянцев — в саду, он — при складах, как назывались, теперь амбары, строившего их разбогатевшего тавричанина Демина, расстрелянного еще в девятнадцатом году. Евстигнеевич пришел к парникам в первую же ночь сторожевки Брянцева. Маленький, словно придавленный горбом сутулины, он вширь пошел, в сучья, как сам говорил. Корявыми сучьями были его непомерно длинные руки с ветвями буграстых в суставах пальцев; клочьями прошлогоднего моха рыжела не то борода, не то давно не бритая щетина. Позже Брянцев узнал, что Евстигнеевич не брился, а стриг себе подбородок большими тупыми портновскими ножницами. Неопределенной формы ушастая шапка сидела на голове у него вороньим гнездом, а под нею поблескивали хитроватые медвежьи глазки, прячась за выпирающими мослаками скул.

— Совсем леший, мужичок-лесовичок Коненкова, — подумал, увидев его, Брянцев, — и на «Пана» Врубелевского тоже похож, только этот на свирели не заиграет.

Оказалось потом — ошибся. Была своя свирель и у Евстигнеевича. Только не семиствольная, как по классическим образцам полагается, а вроде сопелки или погудки, на каких наши скоморохи зажаривали. Этим инструментом была его речь, на переливы которой он не скупился.

Придет Евстигнеевич свечеру к шалашу, сядет рядком с Брянцевым на лавочку, свернет козью ножку из собственного самосада и заведет. Про что? Про все. Тут и воспоминания о царском времени, и самые новейшие учхозские сплетни, и сарказм, и умиление, и вопросы, и поучения — все вместе, и все это связано, сплетено меж собой, наборные ремешки в любительском кнутике.

— Слышал, милок, — он, единственный в учхозе, с Брянцевым разом на «ты» заговорил. — Капитолинка-то, активистка-то наша стопроцентная, опять гомозит вещевой сбор на армию. Это, знаешь, подо что она подводит? Под мое одеяло. Даа, одеяло это я в прошедшем году знаменито себе справил. Мануфактура вроде как старорежимный рипс, кроме директора да бухгалтера только мне и досталось. Теперь она с меня хочет его стребовать, а в сдачу свое латаное вместо него сунет. Такой у нее план. Эх, народ! Куда свою совесть дел? Куда? Ты человек ученый, как это понимаешь? Молчишь? И правильно делаешь, что молчишь. О чем ином помалчивать лучше. Спокойнее. Я, милок,

так всю мою жизнь прожил, шестьдесят два годка. Когда с меня требуется — подам голос, а не требуется — помолчу, — наигрывал он на своей сопели. — Так и ты действуй. Худого не будет. Я-то знаю — шестьдесят два годка прожил.

Удивил Евстигнеевич Брянцева тем, что оказался партийным еще с восемнадцатого года и красным партизаном к тому же, а в учхозной иерархии — экспонатом почетного старика, на особом положении. Домик под железом, в котором он жил, считался его собственным, и к нему никого не вселяли. Евстигнеевич хвастался даже каким-то документом на этот счет. Ему принадлежали несколько ульев на учхозной пасеке и пяток овец в показательной отаре.

«Когда требуется, — голос подам, а не требуется — промолчу», вспомнил, узнав это, Брянцев.

Свой голос в буквальном смысле Евстигнеевич подавал очень аккуратно, всегда посещал все собрания и высиживал на них до конца.

— Отчего ж не пойтить, раз приказывают, — объяснял он Брянцеву, — за час-другой штанов там не просидишь. Вроде отдыха даже. Ну и послухать, что болтают, тоже можно, а велят голоснуть, — отчего же, извольте. Мне что? Руку поднять трудно, что ли? С нашим вам удовольствием!

Вслед за Евстигнеевичем к шалашу стал приходить комбайнер Середа, полная его противоположность, хотя тоже партиец и красный партизан. Этот не говорил, а обязательно «крыл» кого-нибудь или что-нибудь, «крыл» напролом, не заботясь об аргументации покрытия. Наружность для этого у него была самая подходящая: рост гвардейский, голос хриплый, но зычный, шаг широкий, решительный, уверенный.

Середа не ставил ноги на землю, а вбивал их в нее.

— Гады! — громыхал он. — График ремонта составили, выполнения требуют, а запчастей черт-ма. Не шлют и не чешутся! Директор этот, — следовала долгая малоцензурная характеристика, — гад, говорит, обойдись, преодолей трудности. Пускай он так сам без… со своей бабой обходится!..

Днем в сад заглядывал иногда еще кладовщик, с румяными лоснящимися щеками. Он был любезен, даже искателен, в разговор вставлял какие-то очень мало понятные намеки, но в первый же день, уходя, задержал руку Брянцева в своей потной, пухлой ладони.

— Вечерком придете с бутылочкой, — молока возьмете.

— Мне разве полагается? — удивился Брянцев.

— Что значит, полагается? Дернете там с парников редисочки да зеленого лука, вот вам и ордер. Иначе как проживешь? —

вздохнул он, — сами понимаете.

Так, различными, но переплетающимися между собой, тропинками входил Брянцев в новый для него быт. Не обошлось и без ухабов. Когда началась пахота, и мужчин на плужки не хватило, активистка Капитолинка, крикливая баба с острым, как у цапли, носом, потребовала на производственном совещании, чтобы и Брянцева поставили на плуг.

— Что же с того, что антилигентный? Мужчина он крепкий, молодой еще, должен выполнять свои обязанности перед государством!

— Дура! — громыхнул на нее комбайнер. — Тебе чего нужно? Чтобы землю как ей следовает быть подготовить или глотку свою подрать? Видишь, человек городской. Он, может, и плуга близко не видал, такого тебе наворотит, что вслед трактор пускать придется. Надо понимать, что к чему.

К плугам поставили двух стариков: Сивцова и Опенкина. Сивцов числился в учхозе конюхом, а Семен Иванович Опенкин не служил. Совсем, жил при сыне, теперь мобилизованном.

Агроном с сомнением посмотрел на обоих:

— С этой древности толку будет немного. Но делать было нечего. Война уже съела не только всех молодых, но заглотнула и пятидесятилетних.

Опенкин почесал давно небритый подбородок:

— Лошадкам овсеца добавить обязательно надо. С зимы сморены. Какая на них теперь пахота?

— И так из брони берем, — отмахнулся директор, — какой там еще добавок. На посевную бы только хватило. А так, — трава в степи подойдет.

— Насчет тракторов, значит, никак не выходит? — жалостно безнадежно спросил старик.

— Бабит… — многозначительно рыкнул магическое слово Середа. — Ремонт трактора стоял, не было нужных материалов и главным образом поглощенных войной металлов.

С этими стариками Брянцев почти не соприкасался. При встрече здоровался, пробовал втянуть в разговор, но оба они отмалчивались и как-то отчужденно, даже подозрительно взглядывали на него.

«Кто его знает, что за человек», — читал в их глазах Брянцев.

Посевного плана не выполнили.

На общем собрании активистка Калитолина попыталась найти виновников срыва, покричала, но тут же и осеклась. Очевидность была слишком ясна. Да и кого совать во вредители? Нету работников. Одна администрация осталась, а ее цеплять опасно.

Прошла весна — пришло лето. Борода у Брянцева отросла, и проседь стала заметней. Это разом состарило его. Нечищеные и неглаженные штаны висели теперь мешками, и сам он чувствовал, что утратил внешнее отличие от других обитателей учхоза, сравнялся с ними, приспособился к среде, как говорил он сам приходившей к нему каждую субботу Ольге. Даже речь его стала иной, час-то неправильной. Ее литературные формы выветрились, а на их место втиснулся советский жаргон.

— Совсем настоящим ты дедом стал, — говорила, смотря на него, Ольгунка, — даже дубинку себе вырезал дедовскую, с корневой булдыжкой.

— Надо же стиль выдерживать, — смеялся в ответ Брянцев, — да и удобней это. Дед так дед, сторож при саде, и больше ничего: орёт на ребятишек, баб выпроваживает, матерится, когда требуется — и ладно. А то глазеют, как на какое-то чучело, или еще того хуже — сочувствовать начнут. А теперь я в ансамбле, врос в него.

Недавно наших студенток сюда на полку прислали. Правда, не моего курса, но в лицо, конечно, знали прежде. Увидели меня и кричат:

— Дедушка, отец, пусти яблочек порвать!

— А закон от седьмого августа вам известен? — отвечаю, ехидно так говорю, — вы люди антиллигентные, — народно язык ломаю, должны социалистическую собственность понимать.

— Ну и что?

— Да ничего. Обругали меня «старым режимом» и ушли. Впрочем, я потом двум из них полные подолы падалицы насыпал.

— Хорошенькие были? Ретивое не выдержало? — поддразнила Брянцева Ольгунка.

— Нет, так себе. Но очень уж умильно на ту вон румяную розовобочку поглядывали. Даже вкус ее чувствовали — по глазам видел. Что ж делать, не выдержал, пожалел. Совершил социалистическое преступление.

— Утешься. Все мы теперь социалистические преступники в той или иной мере.

— В этом ты права, — засмеялся Брянцев. — Знаешь, у меня в Москве знакомая была, даже приятельница, американка, увлекшаяся коммунизмом, журналистка. Прекрасно выучилась по-русски, но всё же забавные у нее экивоки получались. Вместо уголовной ответственности ляпнула — поголовная ответственность в СССР. А с клубом имени Ленина того хлеще получилось: была, говорит, в публичном доме имени Ленина. Это она мысленно — publishing haus — с английского перевела. Слушавшие чуть не лопнули: и смех разрывает — очень уж в

точку попала, — и смеяться нельзя — влипнешь!

— Сошло?

— Ей сошло, конечно. Дружественная американка. А один из пересказывавших этот анекдот угодил, куда полагается.

— В страшное время мы с тобой, Севка, живем, — глухо, в себя, проговорила Ольга, срывая травинку.

— Открыла Америку! Конечно, в страшное. Только бояться его не надо. Самим себе тогда хуже.

— А как же, как же не бояться? За тебя, за себя, за папу? — подняла Ольгунка свои большие серые глаза.

— А так. Плыть по течению. Куда-нибудь донесет. Или…

— Или?

— Или найти упор, — твердо и четко сказал Брянцев, — чтобы ногами в него впереться, оттолкнуться от него, и — против течения пойти.

— А где этот упор? Какой он?

— В этом-то и беда, что ни ты, ни я, никто из нас его не знает и тем более не чувствует. А он есть. Должен быть. Обязательно должен.

Ольгунка осторожно сняла с травинки красную с черными пятнами божью коровку и посадила ее себе на палец:

— Хотел бы ты, Севка, быть букашкой? Вот такой, как эта, пестренькой? Смотри, как она спокойна. Беру ее, сажаю на палец. Она не улетает. И не боится. Ничего не боится. Что ей — жить или не жить, все равно? Ведь не даются же в руки мухи и комары?

Божья коровка расправила крылышки, попробовала их и медленно полетела.

— Видишь, и она боится.

— Нет, это она по своим делам отправилась, — убежденно сказала Ольгунка, — к деткам. Есть же у нее детки? А ты книги прочел, какие я тебе в тот раз принесла? Давай, переменить надо.

— Ни одной не прочел. Я и читать тут совсем разучился. Знаешь, сяду в тенёчке, открою книгу и с первых же строк бросаю.

— Ну и что? Что же ты делаешь? Ведь скучно же?

— Нет, — покачал головой Брянцев, — совсем не скучно. Сижу, смотрю, как трава растет, как облачка по небу бегут. Знаешь, я раньше всегда спешил. Всю жизнь спешил. Когда маленький был — скорее вырасти. Потом скорее кончить гимназию, университет. Потом война. Тогда спешил, торопился, как бы без меня немца не победили. Вот дурак был! — по-доброму засмеялся Брянцев, мысленно представив себя тогдашним. — Знать все торопился, познать, разрешить, любить. Заглатывал жизнь, даже не разжевывая. Все мы так жили и так теперь живем.

— Поживи по-другому, когда семью кнутами тебя в темпы

загоняют, — злобно огрызнулась Ольгунка, и лицо ее стало разом серым, сухим, даже нос заострился.

— Нет. Не это. Не только это, а жадность гнала. Ко всему жадность. К времени. Вот скорее бы да побольше заглотнуть его, «своего», моего времени. Потом умру, и времени больше не будет. Значит, хватай что попало.

— Всегда так было.

— Нет, не всегда. Когда люди верили в вечность своей жизни, в ад, в рай, в чистилище, тогда они не спешили. Незачем было спешить. Здесь на земле — не конец, а только этап. Зачем же торопиться, заглатывать, давиться? Поэтому и в пустыню уходили, чтобы там познавать себя, мир и Бога. Полностью познавать, а не клочки из знаний вырывать. Или наоборот — земными радостями наслаждались. Да еще как наслаждалисьто! Во всю ширь! Грешить, так уж грешить. Не по мелочам грешничать, не с оглядкой на милиционера. Оптом люди жили, а не в розницу. Поняла?

— А ты как жить хочешь?

— Никак. Сам жить, своей жизнью совсем не хочу. Нет ее, и добывать, трудиться не стоит. Хочу вот смотреть, как трава растет — и всё тут.

Ольгунка тревожно заглянула в лицо мужа. Внимательно осмотрела лоб, глаза, щеки, расправила сбившиеся брови и бороду.

— Плохо дело! Стареешь ты, Севка! Или просто устал, слишком измызгался. Седины у тебя сколько набилось, — выдернула она седой волос из его бороды, — и от глаз морщинки побежали. Вот откуда это «как трава растет». Седина в бороду, а бес в ребро?

— Какой там еще бес! Меня теперь и дюжина чертей блудить не потянет.

— Не блудный, нет. И даже жаль, что не блудный. А тот, которого великопостной молитвой заклинаем: «Духа праздности и уныния не даждь ми». Я всегда удивлялась, почему уныние — грех? А теперь понимаю. Ведь ты совсем другим недавно был. А прежде? Вспомни, и война, и контрреволюция, и свое внутреннее нарастание протеста?

— А теперь трава, — без грусти, даже с улыбкой кивнул Брянцев на куст разросшегося чистотела. — Пусть вот он растет, а я посмотрю. Вырастет — хорошо, засохнет — черт с ним. Знаешь, Ольгунка, были когда-то герои, люди подвига, змиеборцы, победители драконов. Кто они были? Вероятно, такие цельные, из одного сплошного камня высеченные куски жизни. Они не боялись. Ничего не боялись и добивали последних

птеродактилей. Но окружающих они так поражали, что и теперь о них помнят. О победах Зигфрида, святого Георгия, Добрыни. Они рождались тогда именно потому, что оптом люди жили, размашисто, во всю! А теперь в розницу живут, как в мелочной лавочке. Значит, теперь ни подвига, ни змиеборцев, ни победителей зла быть не может. Одно только и остается — смотреть, как трава растет, — снова засмеялся Брянцев.

— Заладил свою траву, — сердито отвернулась от него Ольгунка, — и вылезти из нее не может, запутался, завяз. Нет, мне не до травы, — повернулась она снова к Брянцеву, — у меня два толкача: ненависть и страх. Да, два! — почти выкрикнула она с таким напряжением, что подбородок задрожал, — и оба к одному толкают. Смотрю на людей и в каждом врага подозреваю, каждого боюсь, следовательно, ненавижу. Всё ненавижу! — ударила она по коленке своей загрубевшей, но маленькой рукой. — И яблоко, вот эту розовобочку ненавижу, потому что и она — советская! Смотрю на нее и вспоминаю, какие у дедушки в саду яблоки были. Его собственные, а это чужие, социалистические! Ненавижу их и сама этой ненависти боюсь. Прорвется — плохо будет. За тебя боюсь. За себя боюсь. Днем боюсь. Ночью боюсь. От страха еще сильнее ненавижу. Так вот и толкает страх и ненависть вместе с разных сторон, но к одному.

— Оттого и мучишься, — погладил Ольгунку по голове Брянцев, но она оттолкнула его руку, — а я, видишь, спокоен.

— Погоди, — совсем злобно прошептала Ольгунка, — погоди, и ты забеспокоишься. Это так сейчас на себя тишь да гладь напускаешь, сам перед собою позируешь. Ничего! Пройдет! Ведь не травоядный же ты, чтобы на эту красоту любоваться, — ткнула она в куст чистотела ногою в продранной сандалии. Ткнула, сломала мягкие стебли, с брезгливой ненавистью присмотрелась, как из них потек густой желтый сок, потом порывисто выхватила из земли пук травы, смяла, изорвала и с силой бросила о землю.

— Все ты врешь! Не трава ты! Не мог ею стать!

— Упора нет, Ольгунка, упора для ног нет, чтобы над травой подняться.

— Врешь! Сам его найти не хочешь! А есть он.

— Где?

Но такие споры бывали редки. Ни Брянцеву, ни Ольгунке их не хотелось. Лишняя нагрузка. Чаще она, приходя по субботам к его шалашу, вываливала разом целый короб новостей, главным образом военных слухов. Ими жил весь город. Официальным сводкам не верили, да и говорили они сжато и мало. То под Харьковом, то под Воронежем шли упорные бои с переменным успехом. Новых «направлений», как в прошлом году, теперь

сводки почти не обозначали. Но известие о взятии немцами Ростова всколыхнуло город до самых глубин.

— Близко! Значит, к нам идут, — шептали то со страхом, то с затаенной, но просачивающейся помимо воли надеждой.

— Ростов взят! — было первым словом Ольгунки в ее последний приход на хутор.

— Ты так сияешь, словно сама его брала! — обнял ее Брянцев.

Но и сам он при этом известии выпрямился, расправил плечи и дернул отросшую бороду, словно хотел ее оторвать. Потом крупными шагами прошелся по аллее.

ГЛАВА 4

Евстигнеевич долго не возвращался к шалашу. Брянцев слушал, как гомонили в конторе, как истошным голосом выкликала какая-то женщина:

— Всех их передушить надо! Диверсанты! В гепею надо дать знать! Какой ты после этого дилектор, когда у тебя в конторе спиёнов полно!

— Потише ты, потише, — гудел бас бухгалтера, — прибудут власти — найдут виновников. А на всех огулом валить разве возможно? Ты рассуди спокойно.

— Нечего мне рассуждать, — взвизгивал женский голос. Теперь Брянцев узнал его. Кричала жена профорга Матвеева, тупого, подслеповатого неудачника из партийцев, подолгу томившего всех на докладах о международном положении.

«Она, — решил Брянцев, — так же, теми же взвизгами она орала третьего дня у колодца на какую-то бабу, упустившую туда бадью. И слова те же: диверсанты, спиёны. От мужа нахваталась и козыряет ими, запугивает. Права Ольгунка — страх, всюду страх. Но что ж? Значит, в профорга кто-то выпалил?»

Из темноты неслышно выполз Евстигнеевич и уселся на лавочке.

— Ну, дела, — вздохнул он всею грудью и огляделся.

— Да говори толком, расскажи, что случилось? — дергал его за рукав Брянцев.

— Тут рассказывать надо с соображением, — снова оглядел темноту Евстигнеевич. — Наше с тобой дело — стрельнул ктой-то, — слышали, верно. На то мы и сторожа. А больше ничего не знаем.

— Кто стрелял? В кого стрелял?

— Вот то-то. Кто? Через окошко пальнул и прямо ему в пузо. Он в этот раз аккурат к окну повернулся.

— Да кто?

— Известно, Матвеев, профорг. Не узнал, что ли, по голосу? Черт его узнает, визжал, как резаный поросенок. Подумать на кого хочешь возможно, — продолжал, снова выдохнув из груди, Евстигнеевич, — на кого хошь. Он, профорг, на всех писал. Хотя бы и на директора. Все на него злобятся. Только тут с другого конца подходить надо. Кто осмелился, вот в чем вопрос? Молодых ребят, так сказать, рысковых, у нас не осталось. Все мобилизованы. А старики на такое дело не пойдут. Кровью весь залился. Как есть, прямо в пузо. Директор велел запрягать, чтобы разом в больницу везть, а сам с ним собирается. Для сообщения,

значит. Дело, конечно, серьезное. Ты, милок, вот что, о прохожем этом, какой закуривал, помалчивай, и Середе я тоже скажу. Молчок. Это не иначе, как чужой кто-то пальнул. Из наших некому. Ты помалчивай как черепаха. Черепахой-то спокойнее.

— Какая еще черепаха?

— Обноковенная. Не видал, что ли, в степу? Их там сколько хошь. А кто она есть, эта черепаха? Жаба, самонастоящая жаба, только костью обросла. Для того обросла, чтобы жить спокойнее. Жабу камнем пришибить очень просто или ужак заглотнуть может. А этой подавится. Кость.

— Обалдел ты, что ли, с испугу, Евстигнеевич? Чушь какую-то порешь?

— Нет, милок, — по голосу слышно, что старик уже снова повеселел, — не чушь это, а я жизнь свою так прожил в благополучии. Тоже кость, навроде черепахи себе нарастил. Думаешь, ужаков-то мало? Везде они, скрозть. Каждый тебя заглотнуть интересуется. И не убегёшь от них, некуда. А коли костью себя оградил, — живи спокойно и бежать никуда не надо. Сиди на своем месте с полным удовольствием.

— Да ты, Евстигнеевич, дарвинист, — засмеялся Брянцев, — даже больше того, сам вроде Дарвина.

— Дарвин там или дарвинист какой, — мне это ни к чему. А только считай. Вот Демина этого, который хутор наш устроил, разменяли в восемнадцатом годе, хотя не чиновник был и не офицер, так себе — крестьянин с деньгою. Тавричанами у нас таких зовут. Они нездешние. Ну, хорошо, обстроился он, думал жить-поживать, а кости-то себе не нарастил. Его — хлоп! — и нет ваших, а мне от его строительства домик тогда отвели. Понял? Живу себе тихо: пчельник, овечки, сыны при хорошей службе, дочка на докторицу обучается. Чего мне еще?

— А скажи, Евстигнеич, — тихо заговорил Брянцев и сам услышал в своем голосе какие-то давно не звучавшие в нем тона, — не бывало с тобой так, чтобы ты задумался? Вот такие же, как ты, крестьяне в колхозах живут. Живут они плохо, сам знаешь, а ты всем доволен. Прикрылся партбилетом и благоденствуешь.

— Как это прикрылся? Если без соображения, так тебя никакой партбилет не прикроет. Мало их, что ли, на моих глазах постреляли, партийцев-то, директоров, председателей? Потому — без рассуждения жили. То же и в колхозах. Живут там, конечно, очень даже плохо. А мне что? Я никому не вредительствую, не сообщал, не доказывал ни на кого. За мной такого сроду не было. Живи, пожалуйста, как тебе возможно — я не против, мне это спокойнее, когда ты хорошо живешь. А вот тот же профорг, к примеру, через что пострадал сейчас? Через свою личную

глупость: в чужую жизнь влезал.

— Кто все-таки его мог хлопнуть? — сам себя спросил вслух Брянцев.

— Не иначе, говорю, чужой, — уверенно ответил Евстигнеевич, по старой злобе. Таил в себе эту злобу до времени, а пришел часок, — подвел ее к балансу. Мало ли, что ль, такого по колхозам? У вас в городу, конечно, строже, там нагляднее, а тут вот пальнул в окошко и нет его. Ищи! Теперь самое время балансу сводить.

— Думаешь так? Время?

— А как иначе? Шаткое положение. Каждый свою думку таит.

— А ты Евстигнеевич, таишь?

— Мне что, — нараспев протянул уклончивый ответ мужик, — я при своем месте. На меня никакого указания быть не может. Та ли власть останется или другая какая установится, я, как был мужик, жук навозный, так и есть до скончания.

Окно конторы всё еще светилось, и там шумели. Кто-то приходил, что-то говорил, хлопала и визжала на блоке дверь. Было слышно, как прогремела поданная бричка. Потом свет потух. Стихло. Темнота сада посерела. Потянуло сы-ростью.

— Светает, — зевнул Евстигнеевич. — Ну, теперь готовься, завтра жди гостей. Всех прошерстят, это обязательно. Так ты насчет прохожего помалчивай. Оно так и пройдет: сторожили, слышали, а знать ничего не знаем.

ГЛАВА 5

Но ожидаемые гости — энкаведисты — наутро не явились, а, вместо них, совершенно неожиданно, в будний день, пришла Ольга, да не одна, а с Мишкой. Оба, особенно Мишка, были сверху донизу обвешаны узлами, узелками, мешками и мешочками, с чемоданом и корзинкой в руках. Брянцев, заснувший на рассвете и разбуженный окликом Ольги, выбрался из шалаша, ничего не понимая со сна, сел на лавочку и даже не поздоровался с пришедшими.

— Это что за великое переселение народов? — протер он плохо раскрывшиеся глаза.

Ольгунка стряхнула с плеча вязку узлов, опустила корзинку на плантацию чистотела и, сев на нее, вдохнула всей грудью, сколько смогла, свежего утреннего ветерка. Ответил за нее Мишка.

— Эвакуация. На полный ход. Еще вчера с утра началась: по учреждениям стали списки составлять, потом бросили, и кто куда на высшей скорости.

— У нас успели составить, — едва переведя дух, заторопилась выложить свои новости Ольгунка, — наверное, заранее подготовили. В здравотделе ведь большинство евреи. Они в первую очередь. Меня тоже вписали.

— Ну? — заволновался теперь и Брянцев. — Ну и как же? Ехать?

— Я сказала, что за тобой должна сбегать. Там ведь знают, где ты. Ничего, Вера Исаевна и тебя вписала, как члена семьи.

— Ну, как ты не сообразила?! — вскочил с лавочки Брянцев. — Куда ехать, зачем ехать?

— Говорю — ничего, — передохнула и засмеялась Ольгунка, — Вера Исаевна свой человек, поняла, конечно, что я от общей погрузки увиливаю. Ей что? Не все ли равно? Но сама застраховалась, как полагается — вписала.

— Вы не беспокойтесь, — вмешался тоже разгрузившийся от своих вьюков Мишка, — никто там о вас и не вспомнит. Такой шухер по всему городу идет, что вообще никто ничего не понимает. Только одно и слышно везде: эвакуация. В институте ни директора, ни завуча. Секретарь на всех чуть не с кулаками лезет, орет: «Что я, больше вас, что ли, знаю? В парткоме справляйтесь!» А в парткоме полная пустота: у столов ящики вытянуты и перерыты. Видно, всю ночь выбирали оттуда, что полагается.

— Ну, а кто же на секретаря наседает? Профессора? Они

эвакуироваться хотят?

— Какой там, — ухмыльнулся Мишка лоснящимися от пота щеками и стал разом удивительно похож на полнолуние, — тоже страхуются, видимость делают на всякий случай. Я нарочно по институтскому городку пробежал: везде туфта. Суетятся, новости выспрашивают, какие-то матрасы перетряхивают, а всерьез ехать даже и не думают. Не только профессора, но и из партийных. Кленов, например, срочно заболел. Его жена охает и трехтонку у секретаря требует. Явно для отвода глаз. Трехтонку-то уже обком забрал. Хватов остается, Бороденко, Аветьян. Марья Прохоровна мне сама потихоньку шепнула.

— Ну, так на какого черта ты все это барахло приволокла? — кивнул на узлы Брянцев. — Тут целый воз.

— Может и полтора, — задористо ответила Ольгунка, — все белье, вся одежда и вся посуда. Одни книги дома остались. Их никто не потащит. И все мы с Мишкой вдвоем доволокли! Ох, тяжело было! Ну, спасибо вам, Мишенька дорогой! Без вас пропала бы!

— Зачем все это?

— Вот увидишь зачем, — сделала знающее тайну лицо Ольга, — я, слава Богу, эвакуации гражданской воины помню, хоть и девчонкой тогда была. Все дочиста подрастеряли. Так и теперь без ничего остаться? И так голые. У тебя две рубахи только, обе старые, латаные.

— Правильно, правильно Ольга Алексеевна поступила, — подтвердил Мишка, кивая своей круглой головой с таким усердием, как будто вбивал лбом никому не видимый гвоздь. — Вы, Всеволод Сергеевич, здесь, в своей конурке обсиделись и от народа оторвались. Не слышите того, что люди говорят, особенно бабы.

— А что? — недоуменно спросил Брянцев. Но ответа не получил. Мишка прикусил язык, увидел подходящего к шалашу пчеловода Яна Богдановича.

Тот сделал вид, что не замечает наваленных у шалаша узлов, и скромно-вежливо пожал руку знакомой ему Ольги. Незнакомому Мишке только кивнул, но тоже очень вежливо и с улыбкой.

— Супруга навестить? Значит, правильно, как раз к случаю я подгадал, — заулыбался он, засовывая руку в боковой карман пиджака, — помните, про что я вам говорил, Всеволод Сергеевич? Медовое винцо, — вытянул латыш поллитровку с мутноватой бледно-желтой жидкостью. — Надо бы еще денька два дать побродить. Только разве утерпишь? Она так даже крепче. Вот и попробуем по случаю прибытия Ольги Алексеевны. Давайте

посуду, во что разлить.

Брянцев пошарил в соломе у входа в шалаш, нащупал стакан и протянул его пчеловоду, но Ольга перехватила.

— Какой ты! И сора, и муравьев набилось! Нельзя же так! — вытерла она стакан углом платка, которым был укручен узел. — Вот так. Сладкое?

— Рафинад! — чмокнул губами латыш и даже возвел к небесам свои оловянные глазки.

Ольга выпила налитый ей стакан и тоже смачно чмокнула.

— Хорошо! Сладенькое и вместе с тем кисленькое. Так всю дорогу пить хотелось. Ведь эдакую нагрузку волокла! А вы, Мишенька, прямо герои труда, — сколько на себя навьючили!

— Или ишак, — ухмыльнулся Мишка. — Разница невелика. Ишаки тоже на спинах черте сколько тягают. Как, по-вашему, Всеволод Сергеевич, кто — герой или осел?

— Вы, чем с ишаком себя сопоставлять, лучше нам городские новости сообщите, — вкрадчиво попросил, протягивая ему стакан, латыш.

— Я все их разом, оптом уже вывалил. В целом, — ничего не поймешь. Ясно только одно: немцы где-то совсем близко. Эвакуация объявлена, в учреждениях неразбериха и суета на все сто процентов, ну и точка, — хватил он залпом поданный стакан. — Первый раз медовое вино пью. Не вредное! Князь Серебряный с Морозовым должно быть тоже такие меды распивали? Как, Всеволод Сергеевич? Но за что же я, собственно говоря, выпил? Так, без лозунга?

— Второй глотните, тогда лозунг сам собой определится, — налил ему еще латыш, не скрывая своей цели подпоить парня и вызвать на интересный разговор. Даже подмигнул Брянцеву белесою бровью.

Мишка хлопнул второй, прошелся спинкой ладошки по пухлым едва запушившимся первым нежным подшерстком губам:

— Пока без лозунга. Лозунг сам выявится в процессе событий, — крякнул он, тоже подмахнув бровью Брянцеву. — А события ждать себя не заставят.

— Вы в контору сегодня еще не заходили? — спросил Ян Богданович Брянцева и, не дожидаясь ответа, добавил: — Все институтское начальство там сейчас в полном сборе: директор, секретарь парткома института, завуч. И с семьями, — добавил он тише, но значительнее. Потом еще значительнее, — и с багажом. На четырех подводах.

«А из профессоров кто?» — хотел спросить Брянцев, но его сердце вдруг болезненно сжалось, словно захваченное в железные тиски. Под горло подкатил тугой клубок.

— Пройдусь немного, — едва выговорил он, — что-то с сердцем неладно. Пить я, что ли, отвык.

— Это моя вина, — засуетился латыш, — недобродившего сусла отцедил, и на сырой воде. Не дотерпел до срока. Ничего, вы прилягте — сейчас же пройдет.

Но Брянцев уже шел по аллее. Клещи боли все крепче и крепче огрызались в сердце. Колени дрожали и подгибались. Едва дойдя до лип, он совсем обмяк, и кулем повалился на траву.

— На тебе лица нет. Выпей, выпей воды, — хлопотала над ним Ольгунка, поливая ему на голову из стакана.

Брянцев слышал ее голос откуда-то издалека, все тише и тише. Потом совсем перестал слышать.

— Вот они! Вот они! — первое, что донеслось до возвращавшегося к нему сознания. Это кричал Мишка. И надо было кричать, иначе его бы никто не услышал. Над садом крутился грохочущий стрекот. Что рождало его, Брянцев еще не понимал, но чувствовал, всем своим существом чувствовал, что этот грохочущий по небу вал возвещает что-то огромное, неведомое и новое. Совсем новое. Грохот ломал, рушил нависшую над садом застойную душную тишину давившего всю степь жаркого полдня. Равномерный, беспрерывно нарастающий, он необоримо приближался, сотрясая своим гулом ветви яблонь. Казалось, сама земля и сад и степь глухо урчали ему в ответ.

Брянцев вскочил на ноги. Боли в сердце — как не бывало. Колени не дрожали. Ноги твердо упирались в гудевшую землю.

Недопеченным блином перед ним желтело растерянное лицо латыша.

«Щеки в один цвет с бородкой стали. А глаз совсем не видно, будто растеклись», — запомнилось Брянцеву.

Рядом напряженное до последней возможности, заострившееся лицо Ольгунки. У нее вся кожа стянулась к скулам — так сжала она зубы и разметнула стрижиными крыльями обе брови.

Мозг Брянцева словно сфотографировал в этот момент ее всю, до мельчайших деталей. Ощупав объективом каждый мускул напрягшегося тела, сжатые так, что ногти впились в мякоть ладони, кулаки загрубевших маленьких рук, напружиненные для прыжка колени, воткнутые в зеленый свод аллеи глаза, такие горячие, такие накаленные скрытым под ними огнем глаза, каких Брянцев не видел у нее ни прежде, ни после.

Мишки ему не было видно, но его голос слышался отчетливо и ясно, несмотря на скатывавшийся с неба грохот:

— По звуку можно было безошибочно определить. Наши моторы совсем не так верещат — тише и чаще. Прямо на нас

идут. Сейчас увидим.

Все четверо выбежали из-под кленов на полянку, к высокому пеньку срубленной яблони. Отсюда был виден весь полог раскинутого над степью гладкого, отутюженного накалом летнего дня неба. Из-за обрамлявших сад деревьев опушки на эту безоблачную гладь выползла огромная, поблескивающая металлом стрекоза. От нее и из-за нее выкатывался грохот.

— Двухосный. Видите, шасси какое? — слышал Брянцев голос Мишки и ясно ловил в нем интонацию жгучего интереса, напряженного ожидания.

«А страха? Вражды? — спросил сам себя Брянцев. — Нет их. Совсем нет, ни на полтона».

— Теперь и опознавательные знаки видны. А за ним другой, третий. Низко идут. Метров на пятьсот, не больше. Четвертый. Пятый.

Пять громко урчащих машин, построенных неполным клином, всплыли над садом. За ними уступом еще двое. Снизу казалось, что они шли медленно, словно не сами своей силой, своим стремлением, а какое-то невидимое с земли воздушное течение несло их на себе, и в этом, именно в этом, было самое страшное. Страшное своей несокрушимой силой, неведомой, непонятной и неотвратимой, как судьба.

— Вот и новый хозяин пожаловать соизволил. А с чем — кто же его знает? — услышал Брянцев голос стоявшего под яблоней Евстигнеевича. Ему показалось, что старик над чем-то хитровато посмеивается.

ГЛАВА 6

На дворе учхоза сгрудилось в галдящую галочью стаю почти все его население, по крайней мере низший его слой. Высший, директор, бухгалтер и парторг, заседали, затворившись в канторе вместе с институтским начальством, подводы которого стояли нераспряженными под навесом, хозяйственно, крепко сложенного еще расстрелянным Деминым амбара. На бричках и тачанках — крытые горы беспорядочно наваленных узлов, ящиков, чемоданов. Из иных, незабитых, торчали свиными ушами полы пиджаков и лениво свешивали рукава зимние пальто.

Кучеров и конюхов при подводах не было. Лошади были взнузданы, и вожжи неумело обвязаны вокруг столбов навеса. Их петли путались в ногах у тревожно и суетливо копавшихся в барахле женщин — жен начальства.

Безбровый и безлобый, толстощекий директорский сын, точь-в-точь слепок с такой же, но уже заметно обрюзгшей матери, примеривался пустить камнем в удивленного необыкновенной суетой кирпичнорыжего петуха. Мать его тянула за угол из-под наваленной сверху клади какой-то узел, откачнувшись назад всем грузным телом. Узел вылезать не хотел. Руки директорши соскользнули, и она смачно шлепнула о притоптанную до глянца землю круто выпиравшим гузном. Слепок испустил крик восторга.

— Матери твоей черт! — метнула в него родительница. — Нет, чтобы помочь в такое время, а горлопанит!

— В кучу не сбиваться! — размашисто выкрикнул вышедший на крылечко конторы Середа. — Как раз по скоплению и ахнет! К стенам становитесь или под деревами маскируйтесь, как вам объясняли!

Кое-кто из баб торопливо перебежал к саду. Отрываться от кучи было страшнее, чем стоять в ней, хотя и на виду.

Шедший головным аппарат повис над самым двором и дал какой-то завывный перебой в реве мотора.

— Вот сейчас бросит! — взвизгнула Капитолинка, и вся толпа, давясь и спотыкаясь, метнулась под навес амбара, забила его выкликами, причитаниями, всхлипом. Директорша так и не встала с земли, а прямо переползла под воз на четвереньках.

— С нами сила Господня! — мелко закрестила там она, распиравшую платье-капот, полновесную грудь.

— В таких как раз завсегда и попадает, которые от своей дури лезут, — раскатился с крыльца хрип Середы. Сам он был спокоен и даже явно склонен к некоторому сарказму. — Овцы! Как есть

овцы на пожаре! Никакого различия.

Но рокочущий вал уже перекатился через хутор к видному с него, как на ладони, городу.

Сначала поодиночке, потом табунчиками вылезли из-под навеса спрятавшиеся там и снова затолпились на дворе, вглядываясь в затуманенный зноем город.

Из сада вышел Евстигнеич, за ним вразброд остальные, латыш последним, с таким же, как и там, облезлым лицом.

Над правым, прилегающим к полотну железной дороги, краем города вздыбился большой кудлатый столб черного дыма и рядом с ним два других поменьше. Взметнулись к небу и расползлись в верхах, как гигантские грибы-опёнки.

— Бросил! — увесисто объявил Середа с крыльца, и в ответ ему в городе ухнуло, а потом рвануло целой горстью сухих резких ударов.

В толпе закрестились. Босоногая девчонка в одних трусиках, с коричневым от загара телом и лохматыми, нечесаными мутно-желтыми волосами, завыла и побежала к дому. За ней — две женщины, но на краю двора стали, потоптались на месте и снова вернулись к табунчику.

— Бьет метко, — засвидетельствовал с крыльца Середа, принявший на себя обязанности, если не военного руководителя, то, во всяком случае, специалиста-комментатора начавшейся битвы, — в нефтехранилище при станции ударил. Вишь, как густо черный дым пошел! Значит, нефть загорелась.

— Что теперь там, на станции делается! Могу представить, — шепнул Мишка Брянцеву, — всю ночь шла погрузка, все пути составами забиты. Неразбериха была, что называется, на все сто. А теперь, надо полагать, еще процентов на двести повысилась. Перевыполнение плана!

Второй бомбовоз сбросил свой груз также над станцией, а остальные проплыли несколько дальше и раскатисто прогромыхали там.

— Выходит, будто по Архиерейской роще садит, по оврагам? — озадачился Середа. — С чего бы ему туда бить?

— Вчера и третьего дня там окопы рыли. По ним и бьет, — ответил ему теперь уже во весь голос Мишка.

Бомбовозы сменили курс и тем же строем пошли на север, а с запада, из-за сада, уже слышалось хриплое урчанье второй волны. Еще пять громоздких двухосных машин пророкотали над Деминским хутором, а над залитым полуденным солнцем городом поднялись новые столбы дыма, то серые, то черные. Поднявшись во весь рост, они растеклись под облаками, покрыв своею тенью полгорода. Под двумя из них заиграли языки

желтого пламени.

Через ровный промежуток прошла третья волна. За ней — четвертая и еще две.

Табунчик на дворе не расходился и не редел. Даже наоборот — загустел: из домов, подвалов, картофелехранилищ и силосных ям выбирались те, кто там сначала прятался. Страх почти растаял. В головах всех собравшихся ясно оформилась одна и та же общая для всех мысль. Вслух ее высказал Евстигнеич:

— В нас бить не будет. Никакого ему нет расчета нашу навозную кучу бонбой ковырять, — как всегда, несколько иронически проговорил он, ни к кому в отдельности не обращаясь, — знает, видно, куда следует ударить, в точности.

— С такой-то высоты и слепой попадет, — ответил ему Середа. Не более трехсот метров. Можно сказать, в упор. Ничего не опасается, а наша артиллерия молчит.

— Какая там артиллерия — ни одной зенитки в городе нет, — отозвался теперь уж совсем громко Мишка, — а пехота! нагнали до черта. Все, за последнее время мобилизованные, еще в городе. Оба института, музей, клуб совторгслужащих — всё ими забито. А винтовок нет. Сам видел: с палками их на учение водили.

— Наверно, и плант городской у него имеется, — продолжил свои соображения Евстигнеич.

— Спиёны, — взвизгнула по привычке Капитолинка, но огляделась кругом и скисла.

Две стоявшие рядом с нею бабы отошли в сторонку. Капитолинка еще огляделась и скинула на шею свою красную косынку.

Начальство высыпало из конторы при первой же волне, но держалось особняком, группируясь под старой корявой грушей возле крыльца. Тихо переговаривались между собой. Полноватый, медлительный директор института был, несмотря на жару, в заношенной кожаной куртке со слежавшимися складками, что сейчас же отметил Евстигнеич.

— Кожушок-то на нем, на дилехторе, должно с девятнадцатого года. Тогда на такие у комиссаров мода была, — подтолкнул он локтем Брянцева, — смотри, слежался, будто утюгом по нем пройдено. Приберег, значит. Вот и пригодился. Правильно, — одобрил он.

Зав учебной частью, читавший также в институте диамат, в шляпе и тяжелых роговых очках, придававших ему необычайное сходство с совой, весь такой же, как эта птица, серый и встопорщенный, прошел под навес к подводам и завозился около лошадей.

— Павел Павлович, — позвал он оттуда директора учхоза, — здесь, очевидно, упряжь не в порядке. Какие-то ремни болтаются. Пришлите, пожалуйста, конюха.

Сторожкая молодая гнедая кобылка переступила с ноги на ногу и брезгливо лягнула его.

— А, черт бы тебя с таким транспортом! — отскочил от нее завуч.

— Аккуратней с лошадьми надо бы, — наставительно сказал подошедший директор совхоза и сам перетянул ремни упряжки. — Не привыкли? Привыкайте. Для будущего не вредно. А к коню сзаду не жмитесь.

От города донеслось равномерное цоканье, а потом разом, перебивая одна другую, застрочило несколько равномерно отстукивающих машин.

Брянцев в первый раз за этот день ощутил страх. Этот равномерный, машинный, бездушно-неумолимый постук пугал его еще на полях Галиции. Давно. Теперь он, отраженный памятью, снова пробежал оторопью по его спине и коленям.

— Пулеметы в самом городе бьют! — уверенно объявил Середа и, словно удовлетворенный этим, пояснил: — Значит, кончено дело. Пиши в сводках новое направление «по стратегическим соображениям», — хрипанул он потише.

Начальство разом заспешило под навес. Там женщины уже громоздились на подводы, поверх наваленных на них тюков, и тянули к себе примолкнувших детей. Лица всех посерели.

Директор института первым распутал вожжи, тяжело плюхнулся на передок и выкатил из-под навеса, шаря правой рукой за бортом кожаной куртки.

— Деньги, что ль, щупает, — размыслил вслух Евстигнеич, — а может и крестится на путь предстоящий, хотя и партейный…

Завуч неумело задергал вожжами, подкрутил передок своей тележки и сцепился колесами с нагруженным горой возом худого, как жердь, страдающего язвой желудка, парторга Жукова. Жуков порывисто повернулся к нему, блеснув оскалом золотых зубов в провале безгубого, как у черепа, рта.

— Куда прешь, черт очкастый? — злобно выкрикнул он, осаживая задравших головы коней.

— На Темнолесскую повел, — проводил глазами выехавшего со двора директора Евстигнеевич, — значит, на Нальчик маршрут. Ну, что ж, с Богом!

ГЛАВА 7

Середа не ошибся. Большой областной город был занят немцами почти без боя, после сравнительно слабой бомбардировки с воздуха и атаки передового отряда легких танков.

Военное и партийное начальство даже накануне вечером лишь смутно знало о приближении немцев, но точно об их движении осведомлено не было. А передовая механизированная колонна наступавшей на Северный Кавказ армии генерала фон Клеиста ночевала всего в тридцати километрах от города, в опустевшей казачьей станице, заселенной теперь семьями раскулаченных из Средней России. Телефонный провод оказался порванным то ли немецкой разведкой, то ли самим русским населением. Военное командование узнало о близости врага лишь на рассвете от прискакавших из занятого немцами села партийцев. Тридцатитысячный гарнизон состоял почти целиком из незадолго перед тем призванных старших возрастов — ближних колхозников, не только не обученных, но даже не вооруженных и не обмундированных. Их тотчас же подняли по тревоге и стали толпами выводить за город, на опушку некогда густой, а теперь сильно поредевшей Архиерейской рощи. Там наскоро рыли окопы. Офицеры надрывно матерились, расставляя огневые точки и перегоняя с места на место серых, обросших седой щетиной, мужиков.

В успех обороны не верил никто, от самого начальника гарнизона, до одноногого пьяницы Володьки, в прошлом красного партизана, а теперь расклейщика афиш и административных объявлений. Он, наскоро опохмелившись, с восхода солнца шлепал на стены и телефонные столбы только что отпечатанные обращения к гражданам, требовавшие от них сохранения порядка и веры в победу. Шлепал и посмеивался уже созревшему в его кудлатой голове плану. Этот план был очень заманчивым и обещал полный успех: забраться в разгар паники в городскую аптеку и запастись там ведром-другим спирту. А то и побольше.

«Его там хватает», мечтательно улыбался Володька всплывавшему над Архиерейской рощей солнцу.

Побеги с передовой начались тотчас же при появлении первых немецких бомбовозов. Мобилизованные колхозники залезали в кусты как бы по своей надобности и там исчезали, уползая в гущу орешника. Командиры туда не заглядывали. Некогда, да и незачем — всё равно все побегут!

Повальное бегство началось при появлении на горизонте

первых танков.

— Танки, — сказал вполголоса смотревший в бинокль наблюдатель.

— Танки! — полным голосом повторили на командном пункте.

— Танки! — пронеслось волной по всей линии, а на флангах ее уже завопили:

— Танки!

Это и было командой, которую исполнили все. Фронт не дрогнул, как это принято говорить, а уверенно, даже четко обернулся к лесу и растекся по гуще орешника.

Начальник гарнизона выругался для порядка и махнул своему шоферу рукой с биноклем.

В лесу бросали винтовки и торопливо срывали знаки различия. Кое-кто из партийцев засовывал в дупла и под гнилые пни пачки документов. Коренастый, очень юный лейтенант, с по-детски оттопыренной, нетронутой еще бритвой губой, скинул совсем новенькую, ладно пригнанную гимнастерку, простовато, тоже с детским сожалением, посмотрел на нее и бросил в кусты.

— Черт с ней! В городе забегу к ребятам, найдут что-нибудь надеть. Барахло какое-нибудь, конечно. Чем рванее, тем лучше.

До города дошла лишь половина выведенных на передовую. Другую всосали в себя лес и поля с неубранной кукурузой. На улицах солдаты смешались с беспорядочно мечущимися кучками горожан, искавшие укрытия от бомб с воздуха. Кое-где уже горело. От высящегося на главной улице дома, принадлежавшего раньше первому богачу в городе, а теперь занятого обкомом партии, отваливали одна за другой разнокалиберные автомашины, то легкие эмки главков, то густо залепленные людьми и узлами грузовики. Перед горсоветом сваливали с дрог бочки ассенизационного обоза и спорили до драк за места. Потерявший фуражку милиционер махал наганом и визгливо матерился.

Растрепанная женщина с сухим от худобы интеллигентным лицом, вся запорошенная известковой пылью, почти несла повисшую у нее на плече очень похожую на нее девочку-подростка. Одна нога девочки волочилась и тянула по мостовой алую ленту свежей крови.

— Ах ты, беда, какая! В колено аль повыше? — подхватил подростка под другую руку пожилой солдат в латаных серых штанах. — Будто и знакомая? Я плотником при театре состоял. Будто и видел когда. Ну, вы, гражданка, не волнуйтесь, доведем ее до горздрава, там перевяжут. До больницы-то далеко. Наверное, в горздраве из докторов кто-нибудь есть. Вот дела-то

какие. Страсть!

Пулеметного огня, открытого немцами вслед бегущим, в городской сутолоке почти никто не услыхал. Его заглушали хрипы и гудки автомашин, сталкивавшихся с вырывавшимися из боковых улиц подводами, ругань шоферов и подводчиков.

Потом центральные улицы разом опустели. Лишь кое-где выскакивавшие из домов люди торопливо заволакивали во дворы валявшихся на улице раненых. Здесь их было немного, но перед вокзалом, у каменных столбов, на которых некогда гордо красовались двуглавые орлы, прямо на мостовой лежал целый ряд. Два врача — старик в золотых старорежимных очках и другой молодой, в одной майке, с обнаженными жилистыми руками, торопясь, обматывали бинтами раны, не смывая крови и прилипшей земли, — воды не было. Брезентовая сумка с красным крестом торчала углом из кучи выпавших на мостовую марлевых катышей.

От главной городской аптеки, петляя зигзагами по аллее бульвара, ковылял Володька. В каждой руке у него было по полному, поблескивавшему на солнце ведру.

— Не зевай! — орал он на обе стороны. — Успевай! Там его всего две бутыли, ведер на пять в каждой. С собой увезли сволочи! Пользуйся, кто успеет!

Из других магазинов тоже что-то тащили: одни выволакивали ящики, другие сыпали сахар и муку в захваченные из дому мешки, а неудачники просто рассовывали по карманам, что под руку попадется.

— Сахару-то, сахару-то, прямо горой в «закрытом»! — кричала грудастая ба-ба в окно полуподвала. — Нюська, Нюська, ты подушки вытряхни, а наволочки мне давай! Ну, чего стала? — заглянула она в окно, став на четвереньки.

От бывших Архиерейских прудов, по крутому подъему, медлительно и уверенно похрипывая, скребя мостовую гусеницей, выползал первый пятнистый, как саламандра, танк. Его башня была закрыта, и сквозь прорезы виделись чьи-то глаза. За ним, метрах в пятидесяти, полз другой с открытым люком, на борту которого сидел офицер в серо-зеленой куртке с серебряными жгутовыми погонами. Он курил и помахивал дымящейся в мундштуке сигаретой выглядывавшим из ворот девушкам.

ГЛАВА 8

Тавричанин Демин, строивший хутор — теперь учебное хозяйство зооинститута, — был хотя и малограмотным, но дошлым. Широкие планы рождались в его чубатой, вихрастой голове — стригся он сам овечьими ножницами перед осколком мутного базарного зеркальца.

— В городу-то за это баловство пятиалтынный отдай, а нам зеркала и ладиколоны ни к чему.

Свою усадьбу он поставил на развилке дороги, шедшей от города на восток. От него к пригороду, сохранившему еще от суворовских времен название «форштадт», шла одна широкая дорога. К востоку же, в глубь хлебородной степной целины — две: одна к непролазным горным лесам Зеленчука, другая к долинам бурного Терека.

— И с одной и с другой стороны на базар подвоз пойдет, — рассуждал Демин, — меня ни одна подвода не минует. Не зевай только, хотя бы и при малой наличности. Назад, кто не расторговался, опять через меня. Значит, за полцены отдавать будут, податься некуда, как лещу в вентиле.

Через несколько минут после донесшейся из города пулеметной очереди примолкший и еще теснее сгрудившийся табунок на дворе учхоза услышал фырканье нескольких быстро приближавшихся автомашин.

— Авангард социализма на полном газе пошел, — прислушался Середа и широко размахивая вихлястыми, как цепы, руками, почти бегом ринулся к развилку дорог. — Надо поглядеть, кто парадом командует.

Вслед за ним из дверей конторы выскочил директор учхоза и парторг, оба с туго набитыми портфелями. Жена парторга протолкалась из табунчика локтями и побежала за ним к конюшне.

— Вася! Васенька! — заливчато причитала она на ходу тонким голосом. — Васенька, может и мне с тобой?

— А коров на кого оставишь? — злобно прокричала ей из толпы худая, иссохшая, как старая коза, женщина, совавшая такую же иссохшую, вислую, с синими жилками, грудь в писклявый сверток тряпья. — Две у нее теперича: своя и дилехторова. Ей оставляет.

— Кладовщик, ключ давай! — кричал от амбара сам директор, в то время как парторг выводил из конюшни запряженную в тачанку пару.

— Под сало подкапывается. Там его с полцентнера

набрано, — зашуршали вокруг румяного кладовщика, — не давай, не давай ключа!

Сам он, стоявший в первом ряду толпы, попятился и юркнул в гущу.

От амбара отлетел смачный мат, и вслед за ним зазвучали глухие удары.

— Камнем замок сшибает. Чего глядишь, кладовщик? Твоя обязанность, Евстигнеич! Ты амбару сторож! Чего смотрите?

— У него наган. Вот тебе и чего! — огрызнулся кладовщик. Тачанка мягко прошуршала по накатному двору и скрылась за углом амбара.

— Обком в полном пленуме! — орал с края двора Середа. — Весь президиум налицо!

— Пойтить, посмотреть, — сам себе объявил Евстигнеич, и вся толпа нестройно потянулась вслед за ним к развилке. Навстречу ей от города валили густые клубы пыли.

Теперь, вслед за автомашинами, шли подводы. Они двигались волной в несколько струй, катились и по дороге и по жухлой неубранной кукурузе, обгоняли одна другую, сцеплялись упряжью и колесами. С возов падали мешки и узлы. Иногда с них же сваливались или сами спрыгивали люди, бежали рядом, давясь пылью и размахивая руками. На развилке волна разваливалась, растекалась на два русла, и по обоим, один за другим, катились серые клубы пыли.

До хутора долетали отдельные выкрики и ругань. Запоздалые автомашины, отчаявшись распугать толпу подвод ревом сирен, сворачивали в обход по кукурузе и фыркали в ней, обматывая колеса бахромой сухих будыльев.

— Поспешают очень, а куда? Это самим не известно, — рассуждал вслух Евстигнеевич. — Война теперь такая, что повсюду достает. Ничего положительного установить невозможно.

— Приперло под печенку — тут тебе и вся установка! Хошь не хошь, а беги, — бросил в ответ ему Середа.

На дороге завиднелись пешие одиночки. Изредка с узлами и мешками за спиной, но больше без клади, в какой-то смешанной, полувоенной одежде: на плечах пиджак или распоясанная блуза-толстовка, а под ней защитные полинялые штаны, обмотки, стоптанные брезентовые «танки». Редко кто в форме, с винтовкой. Такие больше в ладных гимнастерках, с темными квадратами от сорванных петлиц на воротниках.

— Вот они и главные силы идут, — рассмотрел в клубах пыли Середа быстро подвигавшуюся колонну всадников, — эскадрон войск НКВД во взводной колонне и в порядке даже, справа по три

идут.

Шедшая рысью плотная колонна всадников разваливала на обе стороны толпу пешеходов, как лемех плуга рыхлую пашню. Эскадрон двигался без окриков, но даже запоздалые одиночные подводы, увидев его приближение, сами переваливали с дороги на комоватую степную залежь.

В памяти Брянцева всплыли какие-то давно потонувшие, затянутые тиной многих мутных тоскливых лет, далекие, неясные образы.

— Крепко строй держат, — вгляделся и он в проходившую колонну. — Седловка, саквы. Все в порядке. Вот она, дисциплинато! И кони один в одного.

Всплывшие образы стали ясней. Отвердели и вырисовались в такой же строй таких же всадников, на таких же, но только не гнедых, а вороных конях.

Взвод. Его взвод. Корнета Брянцева. Марево. Был ли он когда-нибудь, этот корнет? А если б сейчас, вот отсюда, со двора учхоза, ударить со своим взводом им во фланг? В месиво, в крошонку вся колонна бы гробонулась.

Марево. Лезет чушь в голову.

Мутный людской поток стал заметно редеть. Подводы на сморенных, с набитыми холками лошадях тащились теперь поодиночке. На них сидели мелкие партийцы, часть которых Брянцев знал в лицо.

«Неудачники. И здесь в хвосте плетутся», — подумал он, и, словно угадав его мысль, на нее ответил Евстигнеич:

— Я эфтих коней знаю. Они с ветеринарного пункта. Ихний лазаретный выпас в овраге, как от фурштата к нам иттить. На таких конях далеко не уедешь. Значит, и здесь опять кому что достанется.

Солнце стояло еще высоко, но дорога уже опустела. Волна беженцев спала. Теперь и одинокие пешеходы двигались редкими, разрозненными группами, по три-четыре человека.

— Немного народу из городу-то ушло, — сделал свой вывод Евстигнеич, — какое-никакое, а у каждого свое добро есть. Куда от него иттить? Ну, разве что петля на шее, тогда, ясно-понятно, все для своего спасения покинешь.

Последней по улегшейся пыли дороги протянулась короткая цепочка раненых.

— Один, два, шесть, семь. Семеро явно из лазарета плетутся, видите — перевязанные, — просчитал Миша, — а последний хромает.

Этот, шедший последним, завернул к хутору, проковылял волоча больную ногу по колючему бурьяну и, не дойдя до

примолкшей толпы, сел прямо на землю.

— Пить кто-нибудь принесите, — махнул он рукой. — Смерть горло пересохло.

Две женщины тотчас побежали за водой. Остальные придвинулись к раненому и окружили его плотным кольцом. Все молчали.

Молчал и сидевший в бурьяне, размазывая по лицу пыль и пот рукавом накинутой на больничное белье шинели.

— С лазарета, милчеловек? — нарушил это молчание Евстигнеевич. — Нога, значит, у тебя повреждена? — кивнул он бородкой на торчавшую из заскорузлого ботинка грязную марлю. — Трудновато тебе иттить-то. Неужто и повозок вам не доставили? Лазарету, значит, как полагается.

Раненый безучастно и как будто даже бессмысленно, словно не поняв вопроса, уставился поверх головы старика и вдруг его изжелта-бледное, по-больничному отекшее лицо перекосила судорога нестерпимой для него самого злобы.

— … мать их в гроб, в переносицу! — бессмысленно выругался он и, привстав из бурьяна, набросился на Евстигнеевича. Злоба душила его, и он выплевывал все новые и новые ругательства: — Повозки? Повозки, говоришь? Они под начальство, под политрукову свинью пошли. Вот куда! Няньки, сестры — все к чертям разбежались. Одна докторшадевчонка на все три этажа осталась. Вот как, их мать… Защитников родины, — задыхался он сам клокочущей в горле ненавистью. Выхватил из бурьяна ком сухой земли и шваркнул его в стенку сарая. — Вот как… в черта… в гроб!

Подбежавшая женщина сунула ему жестяную кружку, и он, заливая водой отросшую бороду, давясь и хлюпая, жадно осушил ее до дна.

— Еще дай! — потянулся он к другой принесенной чашке. — Еще! Смерть, как пить хотца. С утра с самого… дьяволы… пропаду нет на них!

В городе снова глухо и раскатисто ухнуло. Середа и Мишка отбежали от сарая на пригорок. Оттуда весь город был виден вплоть до отдельных домов и улиц. Стрельбы уже не было слышно, но густо клубилось несколько раскидистых дымовых кустов, а над ними ширил в стороны черные ветви высокий ствол густого черного дыма. Он рос на глазах.

— Самолетов не видно. Опять же, бить ему теперь не к чему, раз город его, а ударил? — озадаченно произнес Середа. — И показывается будто на Гулиеву мельницу.

— Не ударил, а взорвана она! — выкрикнул Мишка, но его слов не расслышал даже Середа. Их заглушил гул второго

сильного взрыва. Рядом с первым густым столбом стал расти второй, несколько ближе к догоравшим уже нефтехранилищам.

— Так и есть! — стукнул себя в бедра сжатыми кулаками Мишка.

— Выполнили всё-таки задание партии: элеватор взорвали! — тряхнул он за плечо Середу. — Элеватор и мельницу — муку и зерно.

Комса наша болтала по дружбе: зернохранилища в первую очередь. Таково было задание.

— По радио, значит: «братья и сестры», — хрипел, повернувшись к толпе Середа, — а в практическом применении этим самым братьям и сестрам без хлеба теперь сдыхать! Эх, сволочь!

ГЛАВА 9

— Что ж теперь будет? — пронеслось по толпе. Вслух эти слова сказала только одна из женщин, но каждому казалось, что и он, и все другие повторили этот вопрос, который сейчас был не только главным, но единственным, заслонившим всё остальное:

— Что ж будет?

Что несет с собой этот свершившийся перелом? Его предвидели, многие даже ждали его нетерпеливо, надеясь на резкое изменение своей жизни к лучшему, некоторым это ожидаемое лучшее рисовалось даже в каких-то ясных, конкретных формах: в виде возврата в поневоле покинутый дом, возрождения к жизни без страха, к сытому, обеспеченному сегодня и завтра. Другие ждали, сами не зная чего. Как обернется к ним новая жизнь? Ждали и со смутным страхом перед неизвестным и с осознанным страхом перед возмездием, расплатой за совершенное. Искали уверток, способов укрыться от этой расплаты.

Ждали по-разному, но ждали все. И вот этот момент перелома пришел.

Что будет?

Брянцев стоял сбоку, шагах в трех от толпы, и видел краем глаза, как головы сгрудившихся в ней одна за другой поворачивались к нему. Он совершенно ясно чувствовал, ощущал этот, еще безмолвный, но устремленный к нему вопрос, и знал, что должен ответить на него, не имеет права не ответить. Но как и что сказать, — он не знал. Перед ним была та же, застилавшая завтрашний день, густая, туманная пелена, а за ней только одно: тот же вопрос — «что будет»?

— Вы, как человек образованный, — тронул его за рукав Евстигнеевич, — в каком виде располагаете наше общее теперешнее положение?

«В первый раз меня на вы назвал, — отметил в уме Брянцев, — тонкий старик. Шельма!»

— По опыту прошлых войн можно сегодня же ожидать к себе разведчиков. Хутор наш стоит как раз на пути отступающих. Разведка, безусловно, появится. Вероятно, мотоциклисты. Кавалерии теперь нет, — ответил он первое, что пришло на ум.

— За машинами на конях не угонишься, а жаль всё-таки, веселая служба была, — шумно вздохнул Середа всею широкой грудью. — Веселая служба, когда я в конвое у государя императора. Красота!

— Может оно лучше в подсолнух податься до времени? —

спросил Евстигнеевич.

— Какого тебе хрена в подсолнухе шукать? — прикрикнул на него комбайнер. — Сам беды наживешь и людей можешь подвесть под ответ. Обнаружат — за шпиона или за партизана посчитают. Находись в своем состоянии — и всё тут. Немец порядок любит. Я-то знаю!

— Какой может быть теперь порядок без начальства?

— Начальство, друг, завсегда найдется. На эти ваканции кандидатов невпроворот. Оно, к слову, бухгалтера нонче кто видел?

— С утра в контору проходил. Там он, наверное, и есть.

— Айда в бухгалтерию, — решительно шагнул к конторе Середа.

— При бухгалтере наличность должна быть. Он за кассу ответственный.

— За два месяца зарплата-то не выдана, — разом загомонили женщины. — А вчерашний день он в банк ездил.

— Ассигновка у него на руках была, сам видел, — рубил, не оборачиваясь, Середа, шагая вразмашку к конторе. — Вчера на собрании говорил: зарплата получена из банка. На сегодня выдавать обещался.

Узкий коридор конторы забили вплотную, и в нем тотчас же стало нестерпимо душно. Евстигнеич и Капитолинка оказались почему-то рядом с Середой, ввалившимся первым в контору, хотя никто их наперед не выталкивал.

В конторе — никаких перемен. Кипы пыльных, перевязанных веревочками папок всё так же лезли одна на другую, пытаясь добраться до подоконника, на котором сиротливой кучкой стояли какие-то пузырьки; обшарпанные пучки сухого овса и люцерны торчали из-за приоткрытого шкафа, а со стены щурился густо засиженный мухами Молотов, под ним же, неведомыми путями попавший в учхоз, стол в стиле ампир, за которым, как и прежде, восседал монументальный бухгалтер и пощелкивал на счетах.

При виде этой привычной картины Середа даже приостановил нараставший темп своего вторжения, а женщины замялись в дверях.

— Выходит, всё в порядке? — спросил он не то бухгалтера, не то прищуренного Молотова.

Монумент за столом ампир звучно подбил итог, накрыл счеты широкой простыней ведомости выполнения плана работ и, не спеша, выдвинул ящик стола, вдавив его в распиравший толстовку живот. Потом так же неторопливо бухгалтер достал из ящика две сколотых булавкой четвертушки бумаги и установил их рядом со своей румяной щекой.

— Читай.

Середа протянул руку, но бухгалтер отвел ее.

— В руки не дам. Документ. Так читай, — прихватил он бумаги другой рукой и через стол поднес их к глазам Середы, — вслух читай.

— Что я тебе — докладчик, что ли? — озлился комбайнер. — Оглашай сам свою бюрократию!

Бухгалтер солидно встал, так же солидно приосанился и одну за другой прочел обе бумаги. Первая была служебной запиской от директора института с приказанием ему, бухгалтеру, выдать немедленно всю наличность кассы под отчет директору учхоза «ввиду чрезвычайного положения». Вторая — распиской директора учхоза в получении наличными 37 645 рублей.

В тишине отчетливо прозвучали слова Евстигнеича:

— Расторговалась сучка бубликами! Значит, так.

Эта фраза, произнесенная в полном затишье, снова выразила то, что все думали.

— Того и ожидать надо было, — добавил он сам после паузы с каким-то даже удовлетворением.

— Я с ним всю ночь на эту тему дискутировал и не дал бы, если б из института не приехали, — поднял вверх обе бумаги бухгалтер. — А раз приказ и само начальство в полном составе налицо, — что я могу сделать?

— Пошли за мной! — рявкнул Середа, расталкивая сбившихся в дверях баб. — Бухгалтер, кладовщик, старики, Евстигнеич и ты, Всеволод Сергеич, айда на собрание всего актива, какой в настоящее время в учхозе имеется.

— Девчата, уплотнитесь на один текущий момент, — донесся из коридора голос веселого зоотехника, — дайте дорогу молодежи!

— Представитель от комсомола? Ты? Не сбег, значит? Ну, в таком разе пропускайте его, женщины.

Дверь в директорское помещение была заперта увесистым замком, но тотчас же слетела с петель при первом напоре костистого плеча Середы. В комнате густо висел табачный перегар. Оголенная кровать ершилась клочками сена, торчавшими из дыр матраса. Два стула беспомощно валялись, скрестив замызганные ножки, третий был придвинут к столу, на котором в беспорядке лежали корки хлеба, огрызки соленых огурцов и обглоданные куриные кости. Между ними стояла откупоренная, но непочатая поллитровка в компании двух пустых, и кругом них разномастные стаканы и стопки. В углу — горка скомканной бумаги, из которой виднелись корешки томиков Ленина, а портрет его висел вкось, цепляясь за стенку

одной уцелевшей кнопкой.

— Картина ясная, — Середа пропустил в дверь бухгалтера, Евстигнеевича, Брянцева и двух стариков-плугарей, отжал локтем хлынувших за ними баб, вытянув из них за плечо зоотехника, и приставил сорванную дверь на место. Брянцева вдавило, что после этого решительного жеста никто из толпы даже и не попытался проникнуть в комнату.

Комбайнер злобно смахнул со стола несколько корок, расчистил место и поставил на него стопку.

— Вот! Подходи теперь, получай зарплату за два месяца! — поднял он над головой непочатую бутылку. — Становись в порядке фактического старшинства. Пахари! Подходите первыми, вы всех нас старорежимнее.

На его предложение к столу подошел тот старик, что особенно сомневался в пригодности к работе изголодавшихся за зиму лошадей. Перемявшись с ноги на ногу, он принял протянутую ему Середой полную стопку, перекрестился и бережно вытянул ее мелкими глотками.

— Так… — одобрил внимательно следивший за прыжками его кадыка Середа. — Следующий!

— За кого ты, отец, Богу-то помолился? — подмигнул повеселевшему старику зоотехник.

— За нее, сынок, за советскую власть, — подморгнул в ответ старик, — за нее за самую.

— За здравие аль за упокой? — поинтересовался Евстигнеевич. — За здравие, годок, за здравие! — еще веселее заскрипел дед. — Пущай она себе укрепляется в каком ином месте, только к нам бы не ворочалась.

Выпили все, и последнему в очереди зоотехнику пришлось лишь полстопки.

— Ему и того достаточно, — солидно рассудил, похрустывая соленым огурцом, бухгалтер, — а то еще впадет в бытовое разложение.

— С этим покончено, Пал Палыч! — сбил на затылок свою кепку зоотехник: — Хочу — разлагаюсь, хочу — нет! И никто мне теперь «дела» не пришьет!

— Раскомсомолился, значит? Вали! А Пал Палыча теперь отцом Павлом зови. Или того подходящее — батюшкой. Да под благословение к нему учись подходить, — дернул его за вихор Середа.

— Внешнее обличье изменял по принуждению, но сана не снимал. На мне он и по сей день, — важно подтвердил сам бухгалтер, и никого, кроме Брянцева, это не удивило.

«Все они должно быть и раньше знали, — подумал он, —

знали, а мне не говорили. Вот она, толща»…

— А я и обличья не менял. И в анкетах и словесно службу в конвое Его Величества подтверждал.

— Врешь, — толкнул в бок распрямившегося Середу зоотехник, — прежде ты кричал: «Николкина охрана», а теперь Его Величества конвой. Это, друг, тоже две больших разницы в политическом отношении.

— Ну, давайте переходить к делу, — свернул свой распущенный хвост Середа. — Значит, товарищи, — замялся и еще больше смутился он. — Или как это теперь нас называть: граждане, что ли? Значит, по сути момента. Мы есть сейчас, в общем и целом неорганизованная масса. Однако же, с другого пункта, на нас ответственность за скот и весь учхоз в целом. Говоря по сути дела — за одну ночь растащат. С городу придут и свои тоже постараются.

— Что верно, то верно, — пробасил бухгалтер, — какая власть ни установится, а спрос с нас будет. Так или не так? — обвел он глазами стоявших вокруг стола и сам за них ответил: — Так, правильно.

— Сторожить надо, — подтвердил кладовщик, — хотя бы у меня в магазине сейчас.

— Сторожба сторожбой — перебил его Евстигнеевич, — своего посту мы не покинем. Ни я, ни они, — указал он на Брянцева, — не в том корень вопроса.

— А в чем?

— А в том, что каждый кобель своим хозяином крепок, вот в чем. Хозяин в доме — и он на двор никого не пустит. А оставь его, примерно, в степи одного — он там и от малого мальчонки подвернет хвост. Хозяина надо. Власть.

— А где же ее взять, когда она вся начисто сбегла? — развел пухлыми ладонями кладовщик. — Вот придут немцы, — установят.

— Нет, ты на это не располагай. Хотя бы и придет немец, так сейчас спросит, кто здесь старший? С ним и говорить будет. Пастух к стаду во всех случаях требуется.

— Тебя тогда и пошлем с немцем разговаривать, раз ты такой сознательный. Или товарища ученого зоотехника. Он один из всей администрации в наличности.

— Мою кандидатуру снимаю, — разом отозвался тот. — Неизвестно еще, как с комсомолом дело обернется. Ты, комбайнер, тоже свой партбилет подальше засунь, а лучше того — в печку. — Не стращай бабу… она… видала, — ответил смачной поговоркой Середа.

— Самое подходящее, — возвел свои медвежьи глазки к

потолку Евстигнеевич, — вот их в старшие назначить, — опустил он глаза на Брянцева, — они и в офицерах состояли и по-немецки говорить обучены.

«Откуда он все распознал, старый черт?» — спросил сам себя Брянцев, и Евстигнеич снова ответил на этот вопрос:

— Как человека снаружи не грязни, а он свое естество покажет. Видать, кем они были.

— Правильно! — громыхнул Середа. — Немцы офицерский чин уважают. Тов… — замялся он снова и снова, прорвав какую-то преграду, громогласно вытряхнул из груди: — господина Брянцева в старшие, в директора или, там, какой еще чин.

— Я, собственно говоря, человек города, пришлый, да и специальность моя иная… — начал обосновывать Брянцев свой отказ, но его прервал голос со двора. — Вот они! Вот они! От городу на машинах едут! Все видать: на трех машинах…

ГЛАВА 10

Все разом повалили на крыльцо. Кричала Анюта, первая из нескольких бежавших к конторе женщин. Рядом с нею, едва поспевая за ловкой, статной девушкой, подбрыкивал голыми ногами Молотилка, сын профорга. В загсе он был записан под чисто пролетарским рабочим именем Молот. В учхозе принял местный колорит — стал Молотилкой. В этот тревожный день мать забыла надеть ему штаны, но нехватка такой мелочи его не смущала. Добежав до крыльца, мальчишка схватил Анютку за юбку и выпалил с пафосом между двумя дыхами:

— Немцы! На трех… — а договорить «машинах» не успел. Анютка лягнула его босой пяткой и сама затараторила: — На трех машинах, дедушка Евстигнеич! С бугра всё видать. Мноо-о-го их! Сейчас к нам подъедут! — частила она с каким-то почти радостным любопытством, но, опомнившись, смахнула с лица это чувство и пустила на него чью-то чужую, чуждую ему тень. Пригорюнилась: — Ох, боязно…

Три мотоцикла с прицепами въехали во двор и стали у первых строений. На каждом густо, человека по четыре, сидели запыленные солдаты в разлапых, низко надвинутых шлемах. Виднелись висевшие поперек груди автоматы.

С передней машины сошел молодой, цибастый немец в коротких, выше колена, штанах и в сапогах, не в ботинках. Он неторопливо размял затекшие ноги, скинул через голову ремень автомата и бросил оружие в кабину. Потом, так же не торопясь, оглядел весь двор: мужчин на крыльце конторы и отбежавших от этого крыльца женщин, крикнул что-то по-немецки и призывно замахал рукой.

— К себе зовет. Надо вам иттить, — подтолкнул Евстигнеевич Брянцева.

Тот и сам понимал, знал, что идти к немцам надо именно ему, а не кому другому. Это логично: он один говорит здесь по-немецки, он сможет тактично вести себя с оккупантами. Но нелогично было то, что он сам ощущал себя не только центром, но главой этой кучки жмущихся к нему людей, придавленных неизвестностью твоего «завтра» и даже своего «сегодня». Он ощущал и то, что за это «сегодня» и «завтра» этих людей несет ответственность именно он, Брянцев, укрывавшийся в садовом шалаше, «подозрительный и ненадежный в политическом отношении» доцент советского вуза, а в далеком, заваленном тусклыми серыми годами, прошлом еще более «подозрительный» для советских людей золотопогонник, «закамуфлированный враг

народа».

Он ответственен.

За кого? За этот советский народ? За подозрительно, опасливо косившихся на него мужиков? За этих подглядывавших за ним визгливых вороватых бранчливых баб? За грязных, сопатых ребятишек? Он ответственен? Всеволод Брянцев?

Вот тут тонкий мостик логики обрывался. Ее ясность терялась в каком-то сумбуре глухих, напиравших на него снизу сил. Именно снизу ощущал Брянцев их грузный, стихийный, непреодолимо нарастающий напор. Снизу. От земли. Это он стряхнул его с крылечка конторы, он понес его на себе, укрепил его поступь и гулко, одобрительно отзывался на каждый его шаг:

— Ты должен! Ты должен! Ты должен!

— Молотилка! Молотилка! Куда ты, гад, сатаненок, — донесся до него придавленный шип, — вертай назад! Сейчас он с пулемета резанет!

Брянцев оглянулся. За ним вприпрыжку бежал голоногий Молотилка, и вся его густо разрисованная темным соком тутовника морда горела таким жадным предвкушением чего-то нового, невероятно интересного и заманчивого, что совсем несозвучная моменту улыбка шевельнула губы Брянцева. Он успокаивающе махнул бабам и взял мальчишку за протянутую к нему руку. На душе разом стало светло, даже весело, и окрепшие ноги четко, по-молодому, по-строевому сами зашагали к патрулю.

— Добро пожаловать, — сказал он по-немецки выдвинувшемуся к нему долговязому и, заметив белые шнурки погон на его плечах, добавил: — господин офицер.

— Ах, вы говорите по-немецки? — радостно удивился немец. — Как это приятно. Где вы научились? — протянул он Брянцеву руку и тотчас полез в карман за сигаретами.

— В гимназии, — пожал плечами Брянцев и про себя добавил: «Думаешь, одни свинопасы в России?»

— Вы, вероятно, здешний школьный учитель? Но об этом потом, а сейчас, — вы разбираетесь в карте? — перебил он сам себя и взялся за планшет рукой, в которой был красненький пакетик сигарет. — Ах, да, вы курите?

«Четко ведет разведку, — мысленно оценил немца Брянцев, взяв предложенную сигарету, — пользоваться опросом населения, устанавливая с ним дружеские отношения. Наверное, и у них такая же инструкция. Ну, ладно, что дальше будет».

— Мы, приблизительно, здесь в этом квадрате, — нажимал немец на карту твердым, сухим пальцем, — но ваше селение, очевидно, не обозначено. Где оно? Покажите. Как оно называется?

— Карта устарела. Это, очевидно, копия нашей русской

двухверстки, то есть съемки, сделанной до 1914 года, — медленно, примеряя в уме формы сложных глагольных времен, ответил Брянцев и сам удивился: не забыл всё-таки языка. А ведь тридцать пять лет ни одного слова на нем не сказал.

— Мы здесь, — подвинул он палец немца своим, — здесь, где расходятся две дороги. У вас обозначены только деревья, строений тогда, вероятно, еще не было.

— А-а-а? Вы знаете и топографию? Вы были офицером? — еще добродушнее заулыбался немец. — Это совсем хорошо. Gans gut… — похлопал он по руке Брянцева.

— Одна идет на Темнолесскую, вот она, — указал Брянцев на левую дорогу развилки. — Вот та. Другая, эта — на Барсуки.

— Скажи, на Невинку, — послышался сзади хрип Середы. — Барсуки — что? Кто их знает, а Новинка — переправа, на нее направление надо взять.

Брянцев оглянулся и увидел позади себя всех наличных мужчин учхоза. За ними кучились женщины и дети, но напирать не решались. Молотилка впереди всех, рядом с Брянцевым, делал осторожные попытки, обогнув немца, пробраться к мотоциклам, но, вероятно, всё же побаивался внеочередного подзатыльника от стоявшей невдалеке матери.

— Вы им закусить предложите и… по рюмочке… — дергал Брянцева за рукав кладовщик. — Это обязательно надо. Литровка у меня найдется. А бабы уж за сметаной, за салом побегли.

— Я тоже жену за медом послал, — дергал его за другой рукав Ян Богданович. — Мед свежий, первокачественный.

Брянцев снова оглядел все лица: «Любопытства много. Искательность, подхалимство тоже есть. Вот хотя бы у кладовщика. А враждебности нет. Ни у кого нет»…

— Наши крестьяне предлагают вам и вашим солдатам немножко закусить. Мед, сметана, по стаканчику русской водки. Вы разрешите?

— Благодарю. Но сначала я должен выполнить приказ. Через сорок-пятьдесят минут мы вернемся той же дорогой, и тогда можно будет сделать остановку. Значит, Невинномис-кая, — с трудом выговорил немец, — там? Прекрасно, — протянул офицер руку Брянцеву. — Теперь всё ясно. Мы еще увидимся и не позже как через сорок минут. Нам нужно лишь проконтролировать эту дорогу на двадцать километров.

Немец впрыгнул в кабину, и мотоциклы без команды зафыркали по шоссе. Молотилка провожал их восхищенным взором, продолжая все же придерживаться за полу пиджака Брянцева.

— Обращение вроде деликатное, — пробасил спустившийся с

крыльца конторы бухгалтер, он же теперь и отец Павел. — Сообщения газет о зверствах и насилиях подтверждения не получают. Однако осторожностью пренебрегать не следует, равно как и выявлением дружелюбия и покорности. Посему же вам, женщины, надлежит взять из директорской комнаты стол, очистить его от всего непотребного, — явно впал он в церковно-учительский тон и даже волосы на затылке оправил, словно они были длинными, — покрыть его чистой скатертью или чем иным соответственным. Стульев тоже набрать и посуды, коей хлебное вино вкушать полагается, по преимуществу стеклянной и по возможности не побитой и не выщербленной.

— Правильно плануешь, отец бухгалтер, — перебил Середа, не подававшую признаков близкого конца речь отца Павла. — Бабы! Живо! Одна нога здесь, другая там! Тащи, что у кого найдется. Помидорчиков, огурчиков соленых. Да на блюдцах, как полагается, а не в навал! А ты, кладовщик, за полками у себя пошукай, чего там из директорской брони завалялось.

— Без тебя знаю.

— А знаешь — так действуй!

Женщины мигом разбежались по домам. Анютка, кликнув ребятишек, повела их табунчиком в контору. Оттуда, цепляясь за притолоки ножками, выплыл стол, а за ним потянулась вереница стульев. Отец Павел внимательно осматривал каждый предмет, а стол даже пальцем поковырял.

— Не мыли, выражаясь конкретно, с самого дня совершения октябрьской революции. По размерам же его, пожалуй, достаточного покрова во всем здешнем поселении не отыщется, — всё увереннее и увереннее вкладывался он в стиль семинарского красноречия.

Но эти опасения отца Павла не оправдались. Едва стол был обметен и установлен в тенечке у крыльца, как, словно выросшая из-под земли, активистка Капитолинка покрыла его слежавшейся, слегка пожелтевшей, но широкой, с узорной каймой добротной скатертью.

Евстигнеевич, щурясь своими медвежьими глазками, присмотрелся к ней и тихонько шепнул Брянцеву:

— Эту самую скатерть я помню. Признаю. Деминская она. У него на праздничный стол постилали. И меточка его с угла вон виднеется. Значит, вот еще когда заграбастала. Ты старайся, — подмигнул он самой Капитолинке, — твоя статья в текущий момент очень даже сурьезная.

Активистка и сама понимала «сурьезность» своего положения. Она торопливо разгладила слежавшиеся складки скатерти и метнулась назад к дому.

— Сейчас еще салхветок к ней представлю. Куда я их забельщила, никак не припомню. Из ума вон.

— Ума твоего не хватит, чтоб упомнить всё, чего нахватала, — раскатисто пустил ей вслед Середа.

— А твое на собственном чердаке помещается? — незлобно подцепил его веселый зоотехник.

— Мое дело иное, — ощетинился на него бывший конвоец. — Верно, забирал добро от буржуев в гражданскую. Так то война была. Значит, трохвеи. Я за них жизнью своей рысковал. А чтоб от чужого разорения пользоваться, такого я себе не допускал. Или чтоб писать на кого. Этого за мной нет. Кого хошь спроси.

— Что было, то было и травой поросло, — распевно протянул Евстигнеевич, — у кажного свое было, — посмотрел он по очереди на перекорявшихся. — Его и поминать теперь нечего. Кто Богу не грешен? Время такое стояло, что и нехотя все безобразили. Так, отец Павел?

— Истинно, — подтвердил, как с амвона, бухгалтер, — Господу Богу ответ каждый сам даст, мы же ближним своим не судьи. «Кто без греха, тот первый брось камень» в Евангелии сказано.

— Правильно сказано, — помягчел Середа, — умная это книга. Я ее всю в точности знал, когда в хоре церковном пел.

— Да ведь и я тоже пошутил только, — оправдывался зоотехник, — какая тут может быть обида.

— Что было за каждым, это теперь подлежит забвению, — огладил рукой сверху вниз бритый подбородок бухгалтер, — предадим забвению личные распри и злобствования.

— Бородку-то, отец бухгалтер, теперь опять отрастить надобно, а то не по форме получается, — деловито посоветовал Середа, — служение-то свое восстановите ведь?

— Всенепременно. Но сие обсуждению здесь не подлежит, а на повестке дня стоит вопрос общего продовольствования. Обмолоченное зерно у нас имеется, но куда теперь на размол его вести, раз Гулиевская мельница взорвана, это никому не известно. Также и по части скота, то есть бывшего показательного стада, отары овец породы Рамбулье, молодняка и прочего. Всё это подлежит учету и сохранению. Но одновременно встает вопрос пользования, ибо хотя и не единым хлебом сыт человек, но без оного хлеба сему человеку обойтись невозможно.

— Это дело первейшее, — поддакнул Евстигнеевич, — пускай вот они, — указал он на Брянцева, — у офицера спросят, как и что. Разрешение какое там возьмут или как иначе.

«Действительно, кроме меня, этого сделать некому, — подумал Брянцев. — Вот и попал самотеком в „народные

избранники“. Жрать-то ведь надо. И какой-то регулятор экономики нужен. Значит — власть. Вероятно, она и всегда так зарождалась: не сверху, а снизу. Не от стремления повелевать, но от необходимости быть подвластным».

— Спросить я, конечно, спрошу, — сказал он громко, — но вряд ли получу точный ответ. Ведь это только разведчики, передовой разъезд, какой-то случайный младший офицер. Что он знает?

— Это мы понимаем, что разъезд, а всё-таки спросить надо, — поставил точку Середа. — Бабы, готово у вас?

Вокруг стола шла суетливая толкучка. Каждая хозяйка что-нибудь принесла, то на тарелке с каймой из розанов, то в глиняной чашке. Ольгунка распоряжалась, перекладывала, расставляла. Ее никто не ставил на это дело, но тоже как-то само собой вышло, что все женщины, в обычное время завзятые спорщицы и «протестантки», теперь молча и беспрекословно подчинились ее авторитету, лишь изредка подавая сами советы. И то неуверенно, даже просительно.

— Зеленым лучком, а не репкою помидоры-то посыпать было бы антиллигентнее?

— К творогу сахар нужен, а нет его. Значит, мед к творогу ставьте.

Полчаса пролетели незаметно, и по дороге, но теперь уже в обратном направлении, снова задымились клубы пыли.

— Вертаются! Ишь, на машинах как быстро скатали!

Завернув на двор, офицер что-то крикнул. Передовая машина сделала заезд и стала. Солдаты упруго спрыгнули с седел и из кабин.

— Смотри, пожалуйста, — удивился Середа, — оружие в корзинки кидают.

Солдаты действительно сбрасывали ремни автоматов и, расправляя затекшие ноги, шли гурьбой к столу.

Долговязый офицер прошагал прямо к Брянцеву и представился:

— Зондерфюрер Шток. Мы можем пробыть здесь не более пяти минут. Пусть солдаты съедят что-нибудь, но не садятся, — сказал он громко, обращаясь уже к ефрейтору.

— Могу вам предложить? — пододвинул к немцу налитую рюмку Брянцев.

— А вы сами? Давайте выпьем вместе за скорое окончание войны, за мир, за дружбу!

«Отравы боится», — подумал Брянцев, наливая себе в чашку. Но немец, не дожидаясь его, вытянул свою рюмку мелкими глотками и потянулся к рдевшим на большом блюде помидорам.

— У русских хороший обычай: сначала выпить, а потом съесть. Это усиливает аппетит. Впрочем, на войне аппетит не всегда приятен, — засмеялся он.

«Удобный момент заговорить о продовольствии», — подумал Брянцев. — Как поступить с выдачей населению продуктов питания? — начал он. — Ведь вы знаете, что мы жили в системе государственной экономики. Скот, например, государственный, да и хлеб тоже, — завел он издалека.

— Война ломает все системы, господин учитель, — перебил его эондерфюрер. — Ваш вопрос излишен, но русские нам часто его задают. Конечно, берите, что надо, и пользуйтесь. Это совершенно ясно.

— Можно ли получить от вас письменное разрешение?

— Квач! — засмеялся офицер. — Какое разрешение? Как могу дать вам его я, не имея на то приказа? Берите и ешьте! Это — война. Потом прибудет гражданское управление и всё войдет в норму, порядок. А пока — война, война, господин учитель, и в прошлом, кажется, тоже офицер. — Но что это? Пожар? Смотрите! — указал он на дом, занимаемый Капитолинкою, от крыльца которого вздымались змеями огненные языки. — Распорядитесь тушить!

Но Брянцев не успел сказать ни слова, как Середа, зоотехник и Мишка разом понеслись к огню. Однако, столкнувшись с бежавшей оттуда Анюткой, и поговорив с ней, повернули назад. Все они чему-то смеялись.

— Вот стерва, как в один момент обернулась! — грохотал Середа. Ну, и ловка! Своего не упустит!

Обогнавшая мужчин Анютка повалила, как из мешка:

— Что делает, что делает — сказать невозможно! — сыпала она, поправляя сбившийся платок.

— Да кто она? Говори толком! — прикрикнул на нее Брянцев.

— Она же самая, Капитолинка…

— Она огонь запалила?

— И валит и валит в него, как попало.

— Чтоб тебя черт, — рассердился Брянцев. — Что валит? Зачем огонь?

— Книжки валит и патреты. Прямо ворохом насыпает! А сама все причитает. Разбойники, кричит, людей обманывали и других себе пособлять заставляли! Всякие там слова.

— Ничего не понимаю.

— Не сразу и поймете, — хохотал подошедший зоотехник, — активистка наша стопроцентная на сто градусов, то есть даже на все сто восемьдесят переворачивается. Что, думаете, там горит? — махнул он рукой на разраставшийся дым. — Все

основоположники во главе с самим «хозяином». Горючего хватает! У нее ведь все подписные издания были. Ишь, Марксы-Энгельсы как полыхают!

— Патрет Сталина на самый верх установила, — перебила его Анютка, — прямо в рыло ему плюет. А сама…

— Не то еще увидим. Она, глади, опять в начальство словчится проскочить, — хрипел Середа. — Только мы теперь по-иному дело повернем.

— Это население сжигает книги Маркса и Энгельса, — коротко объяснил немцу Брянцев.

— И хорошо делает. Ну, до свидания, — протянул немец руку и одновременно резко выкрикнул команду.

— Пропуск в город у него попросите, — теребил Брянцева сзади Мишка. — Пропуск мне очень нужен.

— Может ли получить у вас пропуск в город вот этот студент? — догнал немца у машины Брянцев. — Он живет там.

— Какой пропуск? Зачем? — крикнул тот с зафыркавшей машины. — Пусть идет домой. Но лучше до темноты, иначе может быть задержан патрулем! — кричал он уже с ходу.

— Значит, я потопал, — подтянул пояс Мишка, когда Брянцев перевел ему ответ. — Времени терять нечего, а то не добегу до захода — на самом деле зацепят.

— А зачем вам в город, Миша? — вмешалась Ольгунка. — Оставайтесь здесь. Сейчас и мы есть будем.

— Да, будем, — подтвердил и Брянцев, разом ощутив сжигавший его желудок голод. — Вот видите, сколько на столе осталось. А мы весь день не ели. Ешьте, — угощал он Мишку, набив и себе рот.

— Некогда, Всеволод Сергеевич! Вот разве на дорогу кусок хлеба прихвачу. Некогда! Надо.

— Зачем надо? — допытывалась Ольгунка. — Ничего вам там не надо.

— Надо, Ольга Алексеевна, — решительно заявил Мишка и вдруг густо покраснел до самого верха оттопыренных ушей. — Надо. У меня там неотложное дело.

— Знаю я это дело, — хитро засмеялась Ольгунка. — Оно в малиновом берете ходит. Ишь, как покраснел! Никуда не убежит ваше дело. Его папа-мама от своего домика не двинутся.

— Вы уж выдумаете, — совсем смутился Мишка. — И ничего не это. А другое дело. Пока! — торопливо зашагал он к дороге.

ГЛАВА 11

Знакомство и даже дружба Миши Вакуленко с Брянцевыми начались совсем незаметно и для него и для них.

Во дворе жакта, где жили Брянцевы, в углу между колодцем и мусорной свалкой, стояла какая-то развалюшка, должно быть остатки дровяного сарая бывшего владельца. Крыта она была железом, положенным на обрезки каких-то тоже железных прутьев, почему эту крышу и не растащили на дрова в течение всех двадцати пяти лет счастливой жизни под солнцем коммунизма. Окон в ней не было, дверь же, конечно, сгорела в чьей-то печке в какую-то морозную зиму.

Вот этот буржуазный пережиток и привлек к себе внимание первокурсника Вакуленко, когда он, окончив колхозную десятилетку, переселился в областной университетский город. Получить разрешение на ремонт за свой счет веселому Мишке было нетрудно, тем более что председательница домкома — крикливая баба лет за сорок — благоволила к юнцам, особенно круглолицым и кудреватым, а Миша обладал обоими этими качествами.

Ремонт производил он единолично и закончил его в одну неделю. Как и откуда добывал студент нужные материалы, какие-то обрезки фанеры, сучковатые слеги, ржавые, погнутые гвозди было известно только ему самому, но все это снабжение протекало без перебоев, и лишь с известью для штукатурки получилась некоторая неувязка. Едва начав штукатурить, Мишке пришлось прервать работу и проследовать с пришедшим милиционером на стройку близлежащего маслозавода. Однако и этот этап был им пройден, очевидно, благополучно, так как вернулся он уже в одиночестве и в самом радужном настроении, а, проходя мимо окна домкомши, даже подмигнул ей:

— Ничего! С каждым человеком можно договориться. Главное — психологический подход! К тому же всего полмешка, да еще извести, а не цемента. Точка!

В дождливый осенний день, когда Ольгунка, чертыхаясь, тянула на ослизлой веревке ведро из колодца, Мишка в одной рубашке выскочил из своего обновленного пережитка буржуазных времен и выхватил у нее веревку.

— С чего вы? — ощетинилась на него Ольгунка. — Сама вытяну. Чертова жизнь проклятущая, — попыталась перехватить у него веревку, но Мишка легонько отвел ее руку, ловко выхватил ведро из почти развалившегося сруба и, шлепая по грязи, понес его к дому.

— Дайте! Сейчас же поставьте, — забегала сбоку Ольгунка, — я сама. Кто вас просит?

Но студент не отдавал ведра, а только набавлял ходу.

— Идите к себе, — постепенно смягчалась Ольга, — я в калошах, а у вас ботинки худые. Вон дыра какая! Да еще в одной рубашке. Зачем вы выскочили?

Когда Миша водрузил ведро на полагающийся ему по рангу ящичный постамент, Ольгунка совсем помягчала и звонко рассмеялась.

— Вот еще кавалер отыскался! Теперь женщины равноправны, и все галантности отменены.

— Не для галантности, а для уважения, — внушительно ответствовал Миша, — я на литфаке. Всеволод Сергеевич у нас читает.

— Вот, значит, как, — в тон ему согласилась Ольгунка, — значит, уважение. Ну, уважитель, выпейте стакан чаю, как раз горячий.

— Это можно, — распустил во всю ширь свое полнолуние Мишка, — чаи, если с сахаром, это…

— Даже с оладьями, — не дала ему договорить Ольга. Так у колодца, как в седые библейские времена, завязалась дружба между недоверчивой к людям и всегда готовой ощетиниться интеллигенткой уходящего в прошлое типа и пришедшим в вуз из колхоза юнцом.

Самого Брянцева эта дружба сперва удивила.

— Ведь ты, Ольгун, вся полна протеста, то скрытого и подавленного в самой себе, то частично прорывающегося. Протеста против всей современности в целом, всего течения жизни. Тебя даже вот этот фонарь около нашего дома злит, потому что он в советское время поставлен.

— Потому что занавесок нет, и он спать мешает.

— А занавесок нет, потому что советская власть, — смеялся Брянцев, — от нее все качества. А Миша современный студент, продукт этой власти, колхозник, пришедший в высшую школу пешком, с котомкой за плечами.

— И совсем не продукт, — ершилась Ольгунка, — и раньше Ломоносов черт знает откуда пешком шел с такой же котомкой. А в Мише есть то, чего ты не хочешь или не умеешь увидеть: старое, настоящее, вечное, от земли. У него все просто и все от сердца. Он людей любит, уживается с ними не потому, что так надо, так ему кем-то предписано, а потому, что ему самому хочется ужиться, по-хорошему со всеми быть. Где ж тут современность, товарищ доцент? Современность — борьба. Борьба, грызня со всеми и против всех. Все и везде грызутся. В комнате, в очереди, в

трамвае, в литературе, в учреждениях. Все теснят друг друга, давят, травят, подсиживают. Это подлинная современность, чтоб ей черт!

В установившихся и окрепших отношениях Миши с Брянцевыми, между ним и Всеволодом Сергеевичем всегда лежало какое-то пустое пространство. Они дружили, порою откровенно разговаривали на серьезные темы, но смотрели друг на друга словно через стекло. А между Мишей и Ольгой этого стекла не было. От каждого из них к другому шло тепло. От Ольги — смешанное с неизжитым в ней материнством, а от Миши — с чуть уловимым отсветом романтики, влюбленности пажа в королеву. Ольга была для него отражением какого-то иного, необычного мира, но не враждебного, а, наоборот, влекущего к себе и вместе с тем недостижимого и непонятного. Но она была сама по себе все же реальна и близка ему. Ей он выкладывал все, что попадало на сердце, даже то, чего он не говорил самым близким своим друзьям-сверстникам. Он знал, что ей можно сказать и о том, как улыбнулась ему сегодня утром Мирочка Дашкевич, его однокурсница, дочь самого популярного в городе доктора, и о том, какая морковь выросла в прошлом году на приусадебном участке его семьи.

— Вы не поверите, в полметра длиной! Да красная! Да сочная! Толщиной с руку мою.

Теперь, торопясь поспеть в город до темноты, Мишка мысленно подводил итоги впечатлениям дня. Некоторые фразы он произносил даже вслух, особо подчеркивая их, как привык делать, задалбливая в школе нудные физические и химические формулы.

«Вот они, какие немцы оказались в натуральном виде. Положим, судить по одному только передовому разъезду нельзя. Но всё-таки»…

— Значит, газеты и здесь врали. Всё равно как про колхозы, — выговорил он вслух и даже помахал сверху вниз указательным пальцем, как это делал физик в десятилетке, выведя конечную формулу, — и здесь обратно врали.

Вспомнил: Ольга Алексеевна не велела «обратно» в смысле «опять» говорить. Плюнул три раза налево и три раза вслух повторил:

— Не говорить обратно. Не говорить. Не говорить.

Так бабка научила делать, если что-нибудь запомнить нужно. Очень верный способ.

«Однако чтобы на ночь патрулей по городу не посылали, этого быть не может. Надо поторапливаться, — посмотрел он на скатившееся к самому горизонту солнце, — ничего! Тут только

эту балочку перевалить, а там спуск, под горку пойдет».

В самом низу балки, у каменистого русла, по которому весною бежит ручей талых вод, кто-то сидел на обочине дороги.

«Наверное, тоже какой-то из города сбег в панике, а теперь раздумался и обратно возвращается. Здесь можно сказать „обратно“, — подумал Мишка, глядя на поднявшегося при его приближении человека. Вроде колхозника, судя по одежде. А может, возчик или сезонник, — вглядывался в него Мишка. — К тому же кривой. Эк, фотография у него разработана! По-стахановски потрудился кто-то!»

Вставший сделал пару шагов навстречу студенту, поравнявшись, повернулся и пошел рядом с ним.

— С Деминского учхоза идешь?

— Оттуда, — охотно вступил в разговор Мишка, — а ты туда, что ли, топал?

— Немцы, что по саше проезжали, к вам заворачивали? — не отвечая на Мишкин вопрос, спросил встречный.

— Оба раза даже, — ответил студент, — и когда туда ехали и когда возвращались.

— Ну, как?

— Обыкновенно, — повел плечами Мишка с видом бывалого человека и даже подчеркивая свое превосходство уже осведомленного о немцах, — как и полагается, расспросили про дорогу, по карте сверились. Разведка.

— А ваши как с ними обходились?

«Э, друг, ты вон куда заворачиваешь, — подумал про себя Мишка, приглядываясь к кривому, — ты, наверное, по заданию оставлен!» вслух же ответил:

— Тоже обыкновенно. Что ж, бабам с ними воевать, что ли?

— Это, конечно. Про хождение по городу не спрашивали?

— Как же, в первую очередь. Сказали, пожалуйста, до наступления темноты. Видишь, сам туда иду.

— Ну, значит, вместях шагаем. Ты сам-то, из каких будешь? Где работаешь?

— Студент, — отрезал Миша. «Вот навязался черт в попутчики», добавил он про себя и, должно быть, помимо воли отразил это на лице.

Кривой оглядел его сбоку своим единственным глазом и дружески толкнул кулаком под ребро.

— Ты, пацан, меня не опасайся. Я по своему делу тебя пытаю, по своей, единоличной, нуждишке. У меня в городу семейство оставлено. За ним и иду теперь.

«Может и не врет, — решил Миша. — Даже, наверное, не врет. Мало ли сегодня таких, что свои семьи разыскивают». В

попутчике было что-то располагавшее к себе студента, и он сам спросил его, уже с искренним участием:

— А где жили? На какой улице?

— Коло станции. В том и корень дела.

— Тогда правильно, тебе поторапливаться следует, — посоветовал уже с полным участием Миша, — туда здорово садили. Можно сказать, центр удара был на станционный район.

— То-то и оно, — покрутил головой его спутник, — там теперь, надо полагать, крутая каша заварена.

— Значит, нажмем, — прибавил шагу студент. — Ты через Варваринскую площадь вали, а не по Красной, так ближе будет.

ГЛАВА 12

На Варваринской и разошлись. На ней же увидели и первые разрушенные бомбами дома и первые трупы. Людских не было. Или не убили никого несколько сброшенных сюда бомб или мертвых уже убрали, но перед большим зданием лучшей в городе школы, бывшем гимназии торчали раскинутые врозь ноги нескольких лошадей и три колеса опрокинутой тачанки. Сама школа горела. Из ее больших окон густо валил багровевший в закатных лучах дым. На противоположном краю площади стояло в ряд несколько пятнистых грузовых машин. Около них неторопливо двигались немецкие солдаты, а невдалеке стояла кучка русских, с любопытством на них смотревших. К ней и завернул Миша, простившись уже по-дружески со своим случайным спутником.

— Мишка! Мишка! — Услышал он крик, проходя еще средину площади.

Кричал и махал ему рукой однокурсник Петя Лушин, по прозвищу «Тасс» или попросту Таска. Это, известное во всем мире сокращенное название телеграфного агентства СССР, он заслужил своей поистине замечательной осведомленностью обо всех явных и тайных событиях и происшествиях в жизни института. Как он узнавал всё, что было не только решено при закрытых дверях служебных кабинетов начальства, но и говорено в деканатах всех факультетов и даже за строго охраняемой дверью спецотдела, можно было объяснить только его необычайной интуицией, но на проверке его сообщения оказывались почти всегда правильными. Сам он, когда его спрашивали об источниках информации, только хвастливо взбивал русый вихор и прищелкивал языком.

— Это дело наше, хозяйское! А ведь правильно оказалось! Слушайте старика и оказывайте ему причитающийся по званию почет!

— В точку! — обрадовался, увидав его, Миша. — Как раз ты мне и требуешься! Ну, сыпь сначала сводку основных направлений, а потом перейдем к мелким сообщениям, как в «Известиях». Институт разбомбили?

— Целехонек. Ни одного стекла не выбито и весь городок без потерь, если не считать без вести пропавших, то есть сбежавших утром. А низу досталось: станции, железнодорожному поселку и прилегающим улицам.

— Элеватору с мельницей тоже?

— Нет, туда не попало.

— А — горит?

— Это, браток, свои уже постарались, энкаведисты или наш брат, комсомол, по заданию. Не разберешь — кто, а только они взорвали и зажгли. Видишь, как дымит?

— Что было! — оживленно зачастил он. — Как грохнули первые бомбы, все — кто куда! Конечно, дурдом. По большей части на улицу высыпали и в парк культуры побежали. У Колосова от испуга разрыв сердца. В ящик сыграл.

— Он и раньше сердцем болел. Помнишь, как часто лекции пропускал?

— Единственная жертва из состава всей профессуры. Да, надо полагать, и из всего института в целом. У нас, в общежитии, как ты знаешь, убежище было заготовлено, но не понадобилось. Да и не полез туда никто. Смысла не было. Противовоздушная оборона наша полностью не явилась на свои посты, как того и надо было ожидать. Какой дурак на крышу полезет! А вот директора маслозавода свои убили, — перескочил он на другую тему.

— Как свои? Кто? — даже остановился от удивления Мишка.

— Его же рабочие, маслозаводские. Немцы уж в город вошли, а он, дурак, стал лузгу бензином поливать для поджога. Увидели и пристукнули тут же. Может быть, только бока бы намяли, тем бы и отделался, да он наган вытащил. Ну, и в момент! Нет ваших!

— Ты, словно радуешься этому? — еще больше удивился Мишка.

— Не я один. Многие сейчас радуются. Ты когда из города ушел?

— До солнца. Я на учхоз зооинститута бегал.

— Значит, и утренних сообщений не знаешь? Так вот, в ночь из НКВД всех арестованных куда-то перегнали. То есть не всех, а видели, как с собаками их ночью из города вели. Однако кое-кого оставили на их несчастье.

— Чье это ихнее?

— Тех, конечно, какие остались. Всем крышка.

— То есть, как?

— Очень просто: гранаты в камеры через окна покидали, ну и в крошонку всех.

— Что ты говоришь? — откачнулся всем корпусом Мишка.

— Новое дело! Чего корежишься? Всё, как полагается: по радио «братья и сестры», а на деле вот как этих братьев и сестер — гранатами. Что сейчас там делается — смотреть страшно!

— Где?

— Да опять в том же НКВД. В главном здании. Туда сейчас вход свободный. Пожалуйста, без пропусков. Набежали родственники арестованных, особенно тех, что за последние дни были взяты. Ревут, мертвяков по частям собирают. Кровищи,

кровищи! И на полу и на стенах! А немцы ходят и аппаратиками пощелкивают. Фотосъемка. Им что? — пожал плечами Таска и добавил с нескрываемым удовлетворением: — Ну и тем, кто эвакуировался, тоже попало. На станции два состава застряли, так один бомбой гробонуло — тоже в кашу. И болтают, что ушедшие поезда не то на Пелагиаде, не то на Изобильной тоже в переплет попали.

— Ты не знаешь, — прихватил за рукав Таску Миша, — доктор Дашкевич эвакуировался?

— Понимаем ваш вопрос по существу, уважаемый товарищ, пояснений не требуется, — засмеялся Таска. — Будьте покойничком, здесь она. Сам доктора видел. На станции раненых обслуживает. Да и зачем ему уезжать? Из здравотдела одни «привилегированные» выехали: Конторович, Маргулисиха наша, Вейзер из мединститута, ну и прочие. Русские доктора сейчас все на работе. Однако здесь нам больше делать нечего. Айда в общежитие! Там теперь, наверное, уже все собрались, вернулись с «сезонных работ». Значит, пожрем!

Студенты быстро зашагали вдоль стены городского парка культуры и отдыха. Его массивные, поставленные еще владевшим когда-то этим парком вельможей решетчатые железные ворота были раскрыты настежь. Сквозь их пролет виднелся ряд тяжелых немецких автомашин, расставленных в знаменитой на весь край аллее развесистых вековых каштанов — гордости города.

— Вот это, брат, техника! — хлопнул себя по ляжкам Таска. — Смотри, кухня-то походная: прямо фабрика на колесах. Это я понимаю, — восхищался Таска, тяготевший ко всему механическому.

— Идем скорее, — тянул его за плечо Мишка, — вон, должно быть, часовой стоит. Заберут еще!

— Ни в жисть! — отмахнулся от него Таска. — Я уж туда до самой беседки пролазил. И ничего. Не по-нашему: «Отходи, стрелять буду», а никакого внимания не обращают. Один даже, по видимости повар, лопотал мне что-то и по плечу все хлопал. Эх, не учил я немецкого в десятилетке! Ни слова не понял, а интересно было бы поговорить. Ну, ладно, двинулись.

Но двигаться пришлось недолго. Пройдя шагов сто, студенты снова остановились, на этот раз без опаски: причина остановки была вполне законной, нужно было прочесть объявления, которые лепил на стенку полуразрушенного бомбой дома в доску пьяный Володька. Работа ему давалась трудно. Кисть вместо ведра с клеем попадала в канаву, шедшую сбоку тротуара. А когда удавалось метко направить ее в гущу клея, то возникала новая трудность: мазнуть ею по стене, от которой Володьку отталкивала

какая-то неведомая сила, и подобный взмаху меча мазок рассекал лишь воздух, засыпая мутными брызгами и стену, и самого Володьку. В данный момент расклейщик держал обеими руками лист объявления и, раскачиваясь всем корпусом, нацеливался влепить его на стену.

— Я честно, понимаешь. Тружусь честно, по-советски, — разъяснял он кому-то невидимому. — Ты говоришь, пьян? А я работаю. Вся, вся типо… — тут язык Володьки как-то неудачно повернулся, и ему пришлось, тяжело вздохнув, повторить: — вся типография работает по-советски…

Пробежав глазами уже наклеенное объявление немецкого коменданта, призывающее население города к спокойствию и порядку, Таска бесцеремонно полез в сумку расклейщика.

— Нам дожидаться некогда, пока ты тут развернешься. По паре вот этих дай, что на зеленой и что на желтой бумаге.

— Я говорю, вся типография, — ухватил его за плечо Володька и, найдя эту точку опоры, единым духом докончил фразу: — работы не прерывала, да! По-стахановски! — выкрикнул он и, совершив этот подвиг, беспомощно рухнул на тротуар.

— Так, — бормотал Таска, пробегая по строчкам еще пахнувшие свежей краской бумаги, — приказ о сдаче всего оружия, даже охотничьего. Ну, это как водится. Посмотрим другое. Всем, желающим получить работу, командование германской армии предлагает явиться завтра, четвертого августа, к восьми часам утра в помещение комендатуры и заявить бургомистру… Вот это ловко! — выкрикнул он, суя листок под нос Мишки. — Читай! Читай! Всеми буквами: «бургомистру инженеру Красницкому». Здорово?

— В чем «здорово?» — озадачился Мишка. — Ты этого Красницкого знаешь? Откуда он?

— Я-то да не знаю! — ухмыльнулся с видом превосходства Таска.

— Я всех и всё по всей области знаю. Красницкий — главный инженер ближайшего к городу участка на строительстве канала. Понял? Значит, вчера его там подхватили и сюда готовенький аппарат управления привезли. К тому же он — кандидат партии. Интересно! Вот это я понимало — организация! План выполняется на все двести процентов. Четко?

— По-стахановски! — проревел Володька, став на четвереньки. — Жми! Гони! Бесперебо… — уткнулся он снова носом в землю.

— Ну, так и мы гоним скорей к ребятам со свежими новостями, — потянул теперь Таска Мишку, попав снова в сферу своего всезнайства.

ГЛАВА 13

Студент четвертого курса Василий Плотников был известен всему институту своими вопросами. Когда преподаватель, закончив лекцию, согласно требованиям советской педагогики, спрашивал студентов:

— Нужны ли какие-нибудь пояснения?

Плотников неизменно отзывался с самым глубокомысленным видом:

— У меня есть вопрос.

Знавшая эту его особенность аудитория выжидательно притихала, так как вопросы Плотникова обычно служили темами для рождавшихся в стенах института анекдотов. Так, например, прослушав лекцию об организации Великобритании как мировой колониальной империи, Плотников деловито спросил профессора истории:

— А какую зарплату получает английский король? — чем поставил его в чрезвычайно затруднительное положение.

Но подшучивать над Плотниковым при нем самом было опасно. Он был членом бюро институтской организации комсомола, и судьба каждого студента, особенно тех, у кого не ладилось с пролетарским происхождением, была в значительной мере в его руках.

Другою институтской знаменитостью того же порядка была Галина Смолина, математичка. Природа, не поскупившись, одарила ее редкостным безобразием. Между двух выпиравших свекольного цвета щек гнездилась чуть заметная пуговка носа, а под ней растягивался от уха до уха всегда раскрытый, широкий, но безгубый рот. К этим природным качествам сама Смолина добавила отталкивающую неопрятность и нечистоплотность. На лекциях студенты избегали садиться с нею рядом — дух шел тяжелый.

Не мудрено, что при таких «показателях», как говорили студенты, «жилплощадь сердца Смолиной оставалась беспризорной», несмотря даже на видное ее положение в институте — секретаря контрольной комиссии, в засекреченном шкафу которого парки наших дней пряли нити студенческих жизней.

— Что это такое, — заявила однажды Смолина на заседании бюро комсомола, — где у нас чуткость, где внимание к человеку, как того требует лично товарищ Сталин? Я, например, нуждаюсь в индивидуальной жизни, — а никакого внимания со стороны организации! Это саботаж, хвостизм, расхлябанность, —

перечислила она все социалистические грехи, — коллектив должен обеспечить мне потребности личной жизни!

— Принять к сведению заявление товарища Смолиной, не занося его в протокол, — изрек в ответ ей Плотников, вероятно, самую умную за всю его жизнь фразу.

Но приняли к сведению это требование Смолиной сами студенты и «реализировали» его, когда к этому представился подходящий случай.

Шла очередная чистка института. Третьекурсник-биолог, Коля Виноградов, по всем признакам должен был стать первой ее жертвой. Он был разоблачен, и грехи были тяжкие. Скрыл, что отец его священник, расстрелянный в первые годы революции, утаил, что старший брат участвовал в белом движении и эмигрировал и, что тяжелее всего, письмо этого брата было перехвачено и хранилось в секретном шкафу Смолиной, о чем одному ему ведомыми путями ухитрился разузнать Таска. Он же на тайном совещании близких друзей Виноградова подал совет:

— Одна лишь возможность спастись тебе, Колька. Один только способ есть дотянуть до диплома.

— Какой? — безнадежно спросил Виноградов.

— Огулять Смолину. «Личной жизнью» ее обеспечить.

— Ох, трудно. — вздохнул Коля.

— Знаю, браток, что трудно. А ты крепись, нажимай. Нет таких крепостей, которые… По партийному действуй. Перестрадаешь один только годик, а там получишь диплом и стрёмь куда-нибудь подальше, чтобы она тебя не нашла. Потрудись годешник и на всю жизнь себя обеспечишь.

— Не знаю, как это… — слабо протестовал Коля. — Сразу так нельзя. В кино ее, стерву, всё-таки надо сводить, а у меня и на вход монеты нет.

— Это соберем! Хоть на три сеанса! Может, даже и на ситро найдется, — бодро решил бывший сам на подозрении в кулачном родстве словесник Самойленко. — Выворачивай карманы, ребята! Внеочередной сбор в пользу Мопра особого назначения!

Несколько затертых желтых рублевых бумажек перекочевали в карман Виноградова, и вечером того же дня он со Смолиной смотрел «Веселых ребят» в кино «Красный октябрь».

Чистка прошла для него благополучно.

— Товарища Виноградова мы все знаем. О нем и говорить нечего, — безапелляционно заявила на общем собрании сидевшая в президиуме Смолина. Ей никто не возражал.

А дальше?

— Давлюсь, а ем… — сумрачно отвечал Коля на нескромно-шутливые вопросы приятелей. — Еще на три месяца этого

рациона осталось. А там государственные и диплом.

— Крепись, брат, крепись, — сочувствовали друзья.

Когда Мишка и Таска, взбежав по замусоренной лестнице, влетели в самую большую — на 15 человек — комнату общежития, Плотников и Смолина были там. Она поджаривала на коптящем примусе что-то вроде пышек, а он глубокомысленно молчал, насупив белесые, клочковатые брови. Вокруг сидело и лежало на деревянных топчанах еще пять-шесть студентов.

— Таска! — разом выкликнуло несколько голосов. — Внимание, товарищи радиослушатели, начинаем передачу последних известий!

— Ну, сыпь без задержки!

— А что это у вас на примусе? — деловито осведомился тот.

— Мука, где сперли? На мельнице?

— На черта в такую даль таскаться? Сегодня, товарищ дорогой, по всему городу выдача без карточек. Успевай только. Гляди, даже на масле!

— Значит, жрем. Выношу одобрение выполнению плана работ и премирую ударников снабжения радиоприемниками. Итак, по порядку. Первое, в городе организована новая власть. Бургомистром назначен Красницкий…

— Имею вопрос, — веско прервал трескотню Таски Плотников, — какой Красницкий? С канала?

— Он самый, с руками, с ногами и даже с орденом трудового красного знамени.

— Кандидат партии, облаченный полным ее доверием? Тот?

— Ну, говорю же, что тот. Какой же может быть другой? Всеми буквами пропечатано. Володька-партизан объявления расклеивает.

— Володька? — так же глубокомысленно переспросил Плотников.

— Принять к сведению, — приказал он невидимому секретарю. — Больше вопросов не имею.

— Постановление там или объявление, как их черт называть теперь, — сам не знаю. А Володька-подлец пьян в доску. Вы спиртного не раздобыли? — осведомился он, прервав сообщение. — Нет? Расхлябанность. Надо было в аптеку кому-нибудь смахать! Прогуляли, лодыри, просмотрели? Два объявления особого значения не имеют, — продолжал он, не изменяя тона, — ну, конечно, приказ о порядке, другой — о сдаче оружия. Это все ясно-понятно, а вот третий важен по своему значению: предложение службы всем желающим.

— Какой службы?

— Военной?

— На кой она им черт? Ну, обыкновенной, разной, в учреждениях, на производствах. Понятно?

— По специальности или как?

— По специальности понятие растяжимое. Это кто как сумеет словчиться. При всех режимах одинаково.

— А ты что? К захватчикам-фашистам на службу собрался? — уперла руки в широкие бедра Смолина, поднявшись от чадившей масляным перегаром сковороды.

— А ты что, жрать в дальнейшем собираешься или нет? — отпарировал ей также вопросом пожилой, лет за тридцать, студент Косин, самый старший из всех, оставивший в колхозе жену и двух ребят.

— Враги народа, двурушники, выполняющие задания агрессора, — забубнила Смолина.

— Перемени пластинку, — повернулся к ней лежавший на койке студент с тонкими, мягко очерченными линиями рта и носа. — А еще лучше, если вообще прикроешь свой патефон.

— Что?! — взвизгнула Смолина. — Что?!

— А вот то! Вот что! — вскочил лежавший. — Плевательницу свою заткни. Вот что!

— То есть это как? — шагнула к нему Смолина и растерянно оглядела всех бывших в комнате.

— А так! Кончилось твое время, Смолина! Истекло по регламенту. Всей твоей власти крышка! Хватит, поцарствовала, комсомольская держиморда!

Гриша Броницын, так звали этого студента, злобно усмехнулся.

— Конец фильма. Завтра, нет, даже сегодня, — новая программа!

— Товарищи! — снова оглянулась на все стороны Смолина. — Вы слышали? Все слышали? И это говорит советский студент, всем обязанный партии и правительству? Что мы должны вынести по этому поводу?

— Сказал тебе, — заткнись или лучше убирайся ко всем чертям, — наступал теперь на нее Броницын. Казалось, вот-вот ударит. Напрягся, натянулся весь, как струна. — Обязан? Вот этим колченогим топчаном, клоповником этим, гробом мы им обязаны! Вот чем! Говорю, кричу тебе Смолина. Всем вам, комсомольцам, кричу: кончено! Кончено, мать вашу… — грубо выругавшись, он снова плюхнул на свой топчан.

— Товарищ Плотников? Что же ты молчишь? — упавшим голосом обратилась Смолина к продолжавшему неподвижно сидеть студенту. — Ты — член бюро. Стукнуть по столу надо на подобное выступление!

— Отстучались, — подал со своего места голос Косин. — Достаточно постучали. Ты сама, одна, скольких застукала?

— При таких условиях… — совсем растерялась Смолина. — Плотников? Товарищ Плотников?

— По данному пункту вопросов не имею, — изрек тот и сосредоточенно воззрился на наваленные горкой на ящике дымящиеся пышки.

— Правильно, Плотников, — похвалил его Мишка, — поддерживаю твою резолюцию. В данном случае на повестке дня вопрос всеобщей жратвы. Разбирай, ребята, продукцию смолинского производства! — выхватил он самую большую пышку, откусил ее, ожег губы горячим тестом и, не разжевывая, проглотил кусок.

За ним похватали себе пышки и все остальные. Минуты три в комнате были слышны только звуки жующих ртов: Смолиной — с причавкиванием, Кожина — с каким-то нутряным бульканьем его выпиравшего из ворота рубахи крепкого мужицкого кадыка, Броницын неторопливо обламывал куски непрожаренного теста, дул на них и медленно пережевывал.

— Посолить забыла, — вытолкнула сквозь набитый рот Смолина.

— Это на данном этапе неважно, — добродушно усмехнулся Броницын. — А в целом при сложившейся ситуации многое тебе, Галка, предстоит еще позабыть.

— То есть что, например?

— А хотя бы свою принадлежность к орденоносному ленинскому союзу коммунистической молодежи! — взмахнул головой Броницын, откидывая упавшую на лоб прядь мягких волнистых волос. — Ты забудешь, и другие тоже забудут, — пренебрежительно процедил он, продолжая улыбаться.

— И вообще позабыть, кто ты была, — упористо проговорил, не находя какого-то более точного слова, Косин, — была, понимаешь? А понять тебе надо, кто ты теперь есть.

— Какая была, такая и есть, — огрызнулась Смолина, дожевав лепешку. — Коммунистка. Ну?

— Ты на меня не нукай. Я тебе не мерин, — злобно ощерился Косин. — Понукала. Хватит.

— Всегда знала, что ты подкулачник, прихвостень фашистский, враг народа.

— А знала, так чего ж в подвал меня не упрятала? Теперь поздно.

— Агрессия захватчиков есть явление временного порядка. Мы, советская молодежь, представляем собой… — бубнила заученные слова Смолина.

— За себя за одну говори. А про молодежь лучше помолчи. Эта самая советская молодежь помнит, как куски у нее изо рта рвали, — стукнул по ящику волосатым кулаком Косин. — Крепко помнит! Я, вот я сам помню полностью, как ваша комса из материной укладки муку выгребала. Животом, брюхом своим это помню. И не забуду! До самой смерти не забуду!

— Социалистическую собственность вы, подкулачники, расхищали. Саботировали. Потому и отбирали у вас.

— А вот ты сама сейчас, Смолина, чью собственность пережевываешь? — иронически усмехнулся Броницын. — Конкретный факт: жрешь ты сейчас именно эту социалистическую собственность, государственный хлебный фонд, расхищенный советской молодежью.

— Не расхитили, а свое взяли, свое добро, — глухо, как молотом стенку, долбил Косин, — у нас отнятое. Это ты врешь, Броницын, что расхитили. Нет, своего только малость вернули.

ГЛАВА 14

Миша ночевал в общежитии на одной из пустовавших коек. Таких было достаточно — почти половина населения комнаты куда-то исчезла.

— Вот дурни, — рассуждал вслух Миша, укладываясь рядом с Косиным и стягивая одеяло с соседнего пустующего тапчана, — неужели они всю эту пропаганду про зверства всерьез приняли? Или бомбежки испугались?

— Сам ты дурной, — отозвался Косин между двумя зевками. — Ни от кого они не бежали, а по своим надобностям разошлись. Молодцы ребята. Уяснили себе ситуацию и использовали.

— В чем же они ее использовали? Скорее наоборот.

— А ты смотри, кого нет, Клименки, Желтобрюхова, Дунькина, — тыкал Косин в направлении пустовавших коек своим узловатым мужицким пальцем, — Семакова, Репкина. Все ближние: с Ольховатки, из Михайловки, с Пелагиады… Мазурина тоже нет. Ну, он, положим, из-под Москвы откуда-то. Так у него отец с матерью в городе.

— Ну, а в совхозы зачем сейчас переть? — продолжал недоумевать Миша. — Здесь интереснее. С чего же в дыры-то забиваться?

— Голова у тебя умная, а дураку досталась. Вот зачем, — приподнял Косин свисающее с его тапчана одеяло. — Видишь, два мешка и оба доверху. Я завтра с одним к себе попру. Оба зараз не донести.

Мишка присвистнул.

— Ловко! Действительно использовал ситуацию.

— Сахара мне не пришлось. Не захватил, — с сожалением покачал головой Косин, — в момент его бабы разобрали. Через них не пробьешься. Почитай, одна мука у меня. Зато двухдюймовых гвоздей кил десять, а то и больше… На них в колхозе чего хочешь наменяю. Будут мои пацаны сыты.

— А я всё-таки не стал бы грабить, — поежился под одеялом Мишка. — Совестно как-то. Хотя, конечно, учитывая наше жизненное положение.

— Грабить? — озлился Косин. — Это пусть Смолина про грабеж своим поганым языком шлепает. Мы свое брали! — выкрикнул он, приподнявшись на локте. — Свое, кровное. За наш труд, за наш пот недодаденное… Отнятое, с кровью у нас вырванное! Вот что! А ты — грабеж, — не мог он затолкнуть внутрь себя клокотавшую и бурлившую в нем злобу, — а ты —

грабеж. Не мы грабили — нас начисто ограбили! Вот что!

— Рассудить, оно, конечно, так и выходит, — согласился Миша, — только… все-таки… стыдно…

— Никакого тут стыда нет. Но, однако, давай спать. Я завтра с зорькой дерну. Выход из города, говоришь, беспрепятственный?

— Пропуска никто не спрашивал, — натянул на голову одеяло Мишка. — Только ты всё-таки лучше коммунальными огородами выходи, — посоветовал он сонным голосом.

Утром его разбудило крепкое покряхтывание того же Косина, прилаживавшего на плечах два туго набитых, латанных обрывками солдатской шинели, серых мешка.

— И забрать охота и не донесешь, боюсь, — рассуждал вслух пожилой студент, — как-никак тридцать пять километров. Дело не шутейное. Ну, пока, — бросил он Мише. — Завтра, наверное, взвертаюсь.

Косин ушел, когда все еще спали, а солнце уже протирало густым снопом золотистых лучей пыльные стекла окон общежития. Мишка всё еще лежал на топчане. Он обдумывал сложный план предстоящих действий, учитывал каждую деталь, каждое возможное препятствие.

«Доктор встает всегда ровно в семь и садится к окну чай пить. Ультра-фиолетовые лучи поглощает. Для этого поглощения будит всю семью, но встают они, конечно, только к восьми. Сейчас, надо полагать, шесть с небольшим. Значит, так: встаю, бегу и буду там как бы по своему делу проходить. Доктор, конечно, в такую погоду окно откроет. Тогда подойду с каким-нибудь вопросом. А там дальше сама обстановка покажет. „Подъем!“ — вскочил он разом с койки. — Ботинки почистить бы… У Плотникова всегда гуталин имеется. Только вот где? Ну, черт с ними, — обтер он рукавом залепленные грязью, бывшие когда-то желтыми полуботинки. — Побриться тоже следовало бы, — ощупал он подбородок, — но дело не выйдет. Ладно… Может, она и к окну не подойдет?»

Улица, когда студент на нее вышел, уже жила полной жизнью. Немецкие солдаты умывались в брезентовых тазах и брились возле стоявших сплошным рядом вдоль тротуара автомашин. Они перекликались, выкрикивая что-то веселое, то друг другу, то выбегавшим на крылечки женщинам. Те в ответ махали руками — ничего, мол, не понимаем, — но тоже смеялись и одергивали складки слежавшихся в сундуках платьев.

«Принарядились для агрессоров, — отметил в уме Мишка, — хотя так и правильно. С чего лахудрами себя выставлять? Эх, мне бы боты почистить!»

Краснолицый рыжеватый солдат, с которым поравнялся

студент, как раз только что закончил операцию, о которой платонически мечтал Мишка, и, положив щетку на подножку грузовика, удовлетворенно оглядывал блестящий лоск коротких и широких голенищ как-то неладно на русский взгляд сшитых сапог.

«Была не была, — неожиданно для самого себя решил студент, — чем я, собственно говоря, рискую?»

Он стал перед немцем, ткнул пальцем в банку с сапожным кремом, потом им же указал себе на ноги. Немец сначала недоуменно взглянул в лицо Миши, похлопал рыжими ресницами, потом перевел глаза в направлении его пальца и понял.

— Битте! — кивнул он головой, протянул Мише щетку, хлопнул его по плечу и залопотал что-то, из чего студент понял только одно слово «гут». Относилось ли это к сапожной мази или к чему другому, он себе уяснить не пытался, но все-таки для придания себе веса ткнул в грудь и сказал:

— Студент.

— Штудент? — переспросил немец. — Ausgezeichnet Ich bin auch Student, — и дальше целый поток слов. Но Миша уже не слушал, а с ожесточением тер щеткой по густо намазанным кремом ботинкам. Теперь на все сто! Спасибо тебе, немец! Бите. Нет, данке надо сказать. Данке, камрад. А то, знаешь, семья эта старорежимная. На каждую мелочь внимание обращает. Ну, спасибо, — помахал он рукой так же, как видел делали это немцы. — Теперь переключаюсь на предельную скорость!

Обстоятельства слагались благоприятно. Мишке сегодня явно везло. Окно аккуратного, просторного домика на прилегающей к бульвару тихой, в зеленых садиках, улице открылось как раз в тот момент, когда к нему подходил Миша. Из окна выглянула лысеющая седая голова, блеснули на солнце старомодные золотые очки. Доктор Семен Иванович Дашкевич точно, как всегда, до секунды, начал поглощать очередную порцию ультрафиолетовых лучей.

Студента он заметил еще издали и, приложив ко рту поставленную ребром ладонь, прохрипел вглубь комнаты громким театральным топотом:

— Мирок! Мирок! Твой Ромео шествует. Спеши к окну, Джульетта, а то он еще серенаду затянет. А, как ты знаешь, я музыки по утрам не приемлю.

Потом, хитро подмигнув не скупившемуся на ультрафиолетовые лучи солнышку, старый доктор взял из стоящей на окне корзинки румяную булочку, прикусил ее и запил чаем. Старомодные очки благодушно съехали к синим прожилкам

на кончике стариковского носа, одна из седых бровей резко подпрыгнула вверх, потом постепенно опустилась на прищуренный глаз.

— Разумный студиоз совершает утреннюю прогулку, — приветствовал доктор Мишу, — как врач, одобряю. Ультрафиолетовые лучи как нельзя более благоприятствуют деятельности нервов.

Ультрафиолетовые лучи были пунктиком любимого всем городом доктора. За глаза его так и величали ультрафиолетовым.

Миша молча поклонился и пожал протянутую из окна, покрытую сетью синих прожилок, руку.

— Ну, как? — хлебнувши чая, спросил доктор. — В городе спокойно? Пожары потухли? — и, не дожидаясь ответа, продолжал сам. — В общем, критический момент перехода из рук в руки обошелся нам очень дешево. Пожаров не так много, артиллерийского обстрела в городе не было, убитых с воздуха, по вчерашнему подсчету, 87, раненых — 163. Для города с населением в сто пятьдесят тысяч это пустяк.

— Профессора Колосова убило, — сообщил, чтобы что-нибудь сказать для завязки нужного ему разговора, Миша.

— Не убило его, а он сам умер, — строго поправил доктор, — разрыв сердца, как и следовало ожидать при его болезненном состоянии. Берегите свое сердце, студент, никогда не перегружайте его. Перегрузка любовью, конечно, в счет не идет. Она даже полезна в вашем возрасте. Мирок! Мирок! — закричал он, обернувшись. — Довольно тебе спать, вылетай из гнездышка, птичка! На солнышко! Под лучи! Они бьют сейчас как раз в нашем направлении.

— В северокавказском направлении упорные бои с переменным успехом, — неожиданно прохрипело радио и снова замолкло. Доктор поднял вверх указательный палец.

— Каково? Электростанция возобновила работу. Вчера тока не было. Пробуют, должно быть.

Из-за плеча старика выглянула повязанная крымской чадрой головка, а из-под чадры неприбранные еще влажные после умывания каштановые локоны.

— Здравствуйте, Миша. Что в институте? Вы были там после бомбежки?

— В самом институте не был, а в общежитии номер один даже ночевал. В общем, ничего особенного, — переминаясь с ноги на ногу, ответил Миша.

— У вас всегда так: ничего особенного, — капризно опустились уголки наскоро подкрашенных пухлых губок Мирочки Дашкевич, — никогда ничего рассказать толком не можете. Даже

и говорить не умеете. Зачем только на литфак поступили? Вам, Миша, надо было на математический идти. Писали бы цифры — вас на это хватит. Ну, я иду одеваться. Пока! — Головка исчезла, оставив студента в полной растерянности.

— Суровый, суровый вынесен вам приговор, студиоз, — утешал его доктор, — но вы не печальтесь. И Пушкина тоже сурово Булгарин критиковал. Однако, мне пора на новую службу, — заторопился старик, — или вернее на старую службу. Меня ведь, студиоз, новое начальство назначило руководить здравоохранением. И я принял это назначение. Что? Удивлены? Осуждаете? Врач, дорогой мой, обязан лечить всех и всегда. Медицина вне политики. Я это утверждал в прошлом, утверждаю и теперь. Ну, я иду…

— И я с вами в комендатуру, Семен Иванович, мне тоже туда надо, — засуетился Миша, подумав про себя: «Теперь она больше не выйдет. Ну, ничего, по крайней мере, лично удостоверился, что она, не уехала. А могла… Комсомолка ведь. В порядке партдисциплины».

За всю дорогу в комендатуру Миша не сказал двух слов, зато доктор ораторствовал, как великобританский парламентарий. Начал он, конечно, с влияния ультрафиолетовых лучей на организм гомо сапиенс, но потом перешел к декламации:

«Блеснет наутро луч денницы…», и дойдя до «Что день грядущий мне готовит», — перескочил на злободневную тему — смену власти и режима, а с нее, увидев немца, расставлявшего дорожные указатели с названиями немецких штабов и управлений, — на точность германской организационной системы. Но докончить этой темы он не успел. Пришли в комендатуру, разместившуюся в полностью уцелевшем здании обкома.

Вся улица перед ним была забита толпой. По привычке теснились, давили, жали друг друга, стараясь пробиться ближе к открытым дверям, в которых стоял немецкий солдат с палкой, к концу которой была привязана взятая, вероятно, из клуба обкома перчатка для бокса. Время от времени он спускался со ступеней крыльца и расчищал дорогу к дверям, звучно хлопая этой перчаткой по головам теснившихся, и громко выкрикивал что-то. Но как только он воз-вращался на крыльцо, толпа снова смыкалась и затопляла расчищенную им дорожку.

Доктор, не пытаясь протиснуться, издали помахал над головой зеленой карточкой «аусвайса»:

— Эй, мейн герр! Как тебя там величать? Дейтшер золдат! Их доктор! Сделай милость, проведи цу герр оберет… — махнул он карточкой вправо и влево. — Раздвинь!

Немец заметил, кивнул головой, и перчатка часто захлопала по головам столпившихся.

— Могу и вас, студиоз, с собой провести. Иначе не попадете.

— И меня, Семен Иванович, — послышалось из ближних рядов.

— И ты здесь! — радостно удивился Мишка, увидев пробивавшегося к ним из толкучки Броницына. — Тоже решил поступать?

— Я это решил, когда они еще к Ростову подходили, — тяжело дыша, отвечал покрасневший от натуги Броницын. — Обе пуговицы начисто отлетели, — помял он борт ловко сидевшего на нем, по мнению студентов, пиджака. — Здравствуйте, доктор. Проведете?

— Целая свита. Ну, что ж, скажу — санитары. Занитарен, — указал он на студентов, пробившись к немцу. — Мейне ассистенте.

— И здесь опять блат, — прозвучал мрачный голос из оттиснутой немцем толпы. Но грузный парень в спецовке, сказавший это, был тотчас же одернут прижатым к нему соседом.

— Не видишь, что ли? Это доктор Дашкевич.

В первой комнате, где прежде беспрерывно трещали шесть обкомовских машинисток, теперь сидела только одна, а глаголем к ней, за сдвинутыми столиками поблескивал круглыми, тяжелыми очками экономист плодоовоща Мерцалов и, тоже в очках — другой, с резко очерченным, выдающимся вперед воловьим подбородком, инженер Красницкий. Перед ними стоял плотный широкоплечий мужчина в чистой белой толстовке. Еще несколько человек ожидали конца их разговора, сгрудившись у дверей.

— Ну, я прямо к коменданту насчет помещения для лазарета, вам — туда, к бургомистру, — указал студентам на Красницкого доктор.

— Господину доктору, Семену Ивановичу, привет и уважение, — упирая на слово господин, повернулся стоявший у стола.

— А-а-а! Шершуков! — заулыбался ему доктор. — Ну, как? Печень теперь не ноет? Ишь, какое пузо себе нагулял, — ткнул он в живот тоже смеющегося бывшего своего пациента. — Водки, водки, брат, поменьше пей!

— В меру, Семен Иванович, в меру.

— Мера, знаешь ли, разная бывает. Это понятие растяжимое. Вы с ним теперь не шутите, — тоже засмеялся из-за стола Мерцалов, — он теперь директор типографии. И даже по заслугам. Успел уже! Во время бомбежки всех рабочих на

производстве удержал и тотчас же объявления командования отпечатал. Вот как!

— Прямо на том же рулоне, на котором «Кубанскую правду» крутили! Без перерыва, — широко размахнул руками Шершунов.

— Так… Значит, — смахнув с лица улыбку, по-деловому, договорил, обращаясь к нему Мерцалов начатую перед приходом доктора фразу, — значит, газету ты полностью обеспечиваешь. Нам — с плеч долой. Ты соберешь сотрудников и редактора разыщешь. Намечаем, значит, Брянцева? Так?

— Точка! К завтрему — полностью. Сегодня — экстренный выпуск на одном полулисте. — Решили. Текст сами немцы дадут. Полковник Шредер. Кстати, он полностью русский. Вали! Вы по какому делу? — обратился Мерцалов к студентам, но ответить они не успели.

— Вы, господин доктор, — снова упирая на слово господин, обратился к Дашкевичу Шершуков, — с профессором Брянцевым в близких отношениях состоите и, надо полагать, знаете, где он сейчас находится?

— Они должны знать, — ткнул пальцем в сторону ребят доктор, — его студенты, словесники.

— В учхоэе зооинститута, садовым сторожем, — отрапортовал Мишка.

— Все в порядке, — поймал его за борт пиджака Шершуков. — А вы, ребята, сюда за работой пришли? Лучше не может быть! Давайте их мне, господин бургомистр. Без промедления! У меня корректор ранен.

— Раздробление обеих голеней, — подтвердил доктор, — сегодня ампутировать будем. Сложная операция.

— Фьюить! — присвистнул Шершуков. — Кончился, значит, наш Петр Васильевич! Жалко, человек хороший. Значит, вали прямо в типографию, ребята, — повернулся он снова к студентам. — Я вас за полчаса знакам обучу. Один корректором, другой подчитчикам. Сыпь! Или нет, — поднял он вверх крепкий, зачерненный свинцовой пылью палец, — за три часа на Деминский хутор смахаете? К Брянцеву? Гоните! Отношение к профессору Брянцеву они снесут, — повернулся он к бургомистру, — провернут дело в два счета. Я сейчас сам машинистке продиктую, вы подпишите, — зашагал он вразвалку к сидевшей за одиноким столом поджарой девице в голубом сарафанчике.

— Каков? — взмахнул вслед ему подбородком Мерцалов. — А? Доктор? Какие работники выявляются! Энергия! Деловитость! Чем не директор? А ведь был простым наборщиком или чем-то вроде. Великую силу таит в себе русский народ!

— Некогда мне с вами философию разводить, меня больные и раненые ждут, — отмахнулся старик и засеменил к закрытой двери коменданта.

Студенты, получив подписанное письмо к Брянцеву, тоже двинулись к выходу.

— Есть, капитан? Ловко? — встряхнул за плечи Броницына Мишка, когда они выбились из осаждавшей комендатуру толпы. — За пять минут все устроилось. А то бы давились бы здесь до вечера. К тому же, можно сказать, по специальности работу получили.

— А зарплаты своей не знаем.

— Это мелочи жизни. Меньше советских ставок, я думаю, не получим, Значит, живем. Смотри, смотри, кто стоит! — с удивлением воскликнул он.

— Где?

— Да вон же, рядом с девахой в белой косынке.

— Плотников. — Еще более удивленно протянул Броницын. — Вот уж никак не ожидал его здесь увидеть. Неужели он тоже к немцам на службу?

— Дело темное, — покачал своей круглой головой Мишка, — может быть, в самом деле, переметнулся, и выслужиться у новой власти хочет. А, может, и по заданию, для диверсии. Или просто наблюдателем, чтобы на заметку брать тех, кто здесь. Это вернее всего. Значит, и мы будем в его списке. Ну, черт с ним, все равно узнается. Да я и скрывать не хочу. Ну, сыпем сейчас в учхоз полным ходом. Придется поднажать!

— Скажи, — обратился к Мишке Броницын, когда они, промахнув быстрым шагом улицы пригорода, вышли в степь, — по чести, верно, скажи, — обнял он за плечи друга, — вот мы с тобой поступили сейчас на службу к врагам. То есть… Не так, не совсем так. Вернее, к тем, кого привыкли называть врагами…

— Мало ли кого мы врагами-то называли, — засмеялся Мишка, — с чужого голоса. То одни, то другие врагами народа оказывались. И голосовали мы, и клялись, а ты сам-то в эту вражду верил?

— Я — дело иное. Я тебе говорил ведь, что я не советский. Я сам враг. Сын врага, помещика, офицера. А вот ты — крестьянин, мужик по рождению?

— Совсем не мужик, — обиделся Мишка, — а природный казак станицы Полтавской. Это две большие разницы.

— Одна разница бывает, дурень. А еще словесник.

— Одна ли, две ли… Не в том дело. А только не мужик, а казак. Иногородние, Косин, например, те мужики, а мы нет, — сердито настаивал на своем Миша.

— Ладно! Казак! Не спорю. Но на душе-то у тебя все в порядке? Гладко? Или цепляется что-то?

— За что там цепляться? — пожал плечами Мишка. — Все ровно, без задоринки. Я своего врага знал, когда еще без порток бегал. Когда нас со станицы согнали. И то еще в милость, — бедняками признали. Не в Сибирь и не в подвал. Все семейство цело. Наш враг нам очень хорошо известен. А кто против него, тот выходит нам другом. Я знаю, чего хочу. Однако подбавим, подбавим ходу! Этот Шершуков или как его там, велел обязательно к обеду стать на работу. Жмем, Броня! — потянул он за плечо друга, но тот не двинулся. Широко открытыми глазами смотрел Броницын на простор осенней побуревшей степи, раскинул руки, сжав кулаки, так что кости хрустнули, напрягся до боли в плечах.

— И я знаю. Жить! Жить я хочу! Просто жить! Полно! Всем своим существом, всей кровью, всеми фибрами, — свел руки, сжал их, сплел в тугой узел хрустнувшие пальцы.

Я мало жил,
Я жил в плену,

— не то выкрикнул, не то простонал он.

ГЛАВА 15

Дележку небольшого запаса имевшейся в совхозе муки начали с восходом солнца. Женщины, кто с мешком, кто с ведром, толпились около кладовой и дружно наседали на румяного кладовщика.

— Без бухгалтера не отопру, — твердил тот.

Бегали в контору. Отец Павел сидел там, но благоразумно заперши и дверь и окно.

— Ведомость составляет, — обнадеживали нетерпеливых вернувшиеся от дверей конторы. Тут же, в сторонке, стоял Евстигнеич.

Наконец, когда солнце уже высоко поднялось над дымившейся утренним паром степью, дверь конторы раскрылась, и осанистый бухгалтер, держа перед собою широкий лист ведомости, неспешно сошел с крыльца.

— Погоди еще отпирать, — распорядился он, — сначала я зачту список. Если недовольство какое или у меня самого получилась неточность, заявите. К примеру, Кудинова Мария, сколько у тебя едоков в наличности? Трое? Колька-то у тебя в городе?

— Пятеро! — выскочила вперед бойкая, ладная, как спелое яблочко, и такая же румянистая бабенка. — Пятерых считайте в наличности, отец Павел!

— Вот это здравствуйтепожалуйста, — поклонился ей бухгалтер, выражая этим жестом одновременно удивление и недоверие. — Считаем: ты, две девочки — трое. Положим, Кольку еще из города вернешь. Будет четверо. А кто пятый?

— Андрей Иванович тоже едок. Вот и пятеро, — с долей ехидства тоже поклонилась ему бабенка.

— Ты бы еще дедов и прадедов присчитала! Андрей-то Иванович с год, как мобилизован.

— Аккурат годочек, — еще ехиднее заулыбалась Марья Кудинова. — Что ж тут такого? А он в наличии.

— Что ты мне голову задуряешь! — даже плюнул с досады отец Павел. — Всякому нахальству предел имеется. Раз человек в армии, возможно даже, что и не жив, как его в наличии показывать?

— А вот удостоверьтесь сами. Вот он, как есть, в полном виде! — торжествуя одержанную победу указала Марья на подходящего к кладовой чисто и аккуратно одетого человека. Шел он медленно, несколько смущенно и вместе с тем хитровато улыбаясь свежевыбритыми губами. Подойдя, поклонился

бухгалтеру, потом шарахнувшимся от него на обе стороны женщинам. Кладовщику протянул сложенную дощечкой руку.

— Андрей Иванович! Ты ли это или душа твоя неприкаянная? — патетически возгласил отец Павел, подняв над головой лист ведомости.

Евстигнеевич бочком подобрался к пришедшему, осторожно пощупал полу его пиджака и ответил за него отцу Павлу:

— Вполне вещественный. Своевременно из армии смылся, надо полагать.

— В ней и не был ни одного дня, — пожал руку старику подошедший, — год и четыре дня имел подземельное местожительство.

— Ну, дела! — развел руками отец Павел. — Как же тебя, Андрей Иванович, теперь числить?

— Едоком, — услужливо подсказала заскочившая перед мужем Марья, — живая душа питьесть хочет.

— Значит, перерасчет, всю ведомость ломать, — недовольно пробасил священник-бухгалтер.

— Не стоит. Там у меня кой-какой резерв есть, — успокоил его кладовщик, — из него и выделим. А ты где же обретался всё это время, Андрей Иванович?

— Говорю, — в подземельном местожительстве, вроде как бы крота в зимнюю пору или сурка.

— Под печкой погребок вырыли, а поверх сухого будяку навалили, — бойко затараторила, распираемая желанием рассказать все в подробностях, Марья, — там и находился.

— То-то ты и выглядишь бледноватым.

— Кашель одолевать стал, — сыпала Марья.

— Сырость, конечно, — посочувствовал Евстигнеевич, — как-никак, земь. Хотя бы и под печкой.

— Так и сидел весь год? — продолжал изумляться отец Павел. — Без выхода? Чудеса! — Ночами иной раз выходил. В юбку мою и в кофту обряжался, не унималась Марья, торопясь поскорее высыпать весь ворох сенсационных новостей. — Всеволод Сергеевич, — закричал отец Павел подходившему вместе с Ольгой Брянцеву, — полюбуйтесь, какие у нас тут чудеса происходят. Вы этого человека знаете? — В первый раз вижу, — оглядел Брянцев Андрея Ивановича.

— Да что я на самом деле. Конечно, знать вы его не можете. Он до вашего поступления в затвор уединился. Рекомендую: Андрей Иванович Кудинов, огородник нашего учебного хозяйства. Замечателен же в настоящее время тем, что лишь сегодня на свет Божий выполз из подземного пребывания, в коем он провел ни мало, ни много один год.

— И четыре денечка, — вставила Марья.

— И четыре дня, — добавил отец бухгалтер, — укрываясь от призыва в ряды красной рабоче-крестьянской армии. Дезертир, можно сказать, особого вида.

— Нет, не дезик, — согнав улыбку, с сердцем возразил подземельный человек. — Я, извиняюсь, не из армии сбег при военном положении, а идти в нее не схотел. На какой она мне черт сдалась? Кого мне в ней защищать? Опять же, ихнюю власть? Гепею или эту самую сицилизму? Кого?

— Упорный характер. Твердый, — указал на него Брянцеву отец Павел.

— Настырный, ох, и настырный! — с чувством подтвердила Марья. — Всех пересамит. — Ну, приступим к проверке и выдаче одновременно, — возгласил бухгалтер, — отомкни! Андрюхина Елизавета со чадами, всего пять едоков. Сначала муку разберем, а потом обсудим и решим о зерне: на руки из закрома или сначала в размол. По алфавиту вычитываю: Брянцев Всеволод Сергеевич, два едока.

Получив свои тридцать кило серой, не отсеянной муки, Ольга выволокла мешок из толкучки и хотела уже взвалить его на плечо Брянцева, но мешок оказался у Евстигнеевича.

— Зачем вам себя утруждать, — ловко вскинул его на плечо старик, — замараетесь только. Наше дело привычное.

Брянцев не спорил. Хочет услужить, так и мешать ему незачем. Значит, другой теперь ветер дует, а, кроме того, Евстигнеевич никогда спроста не действует. Вероятно, и теперь у него что-нибудь на уме, поговорить втихомолку, может быть, хочет. Хитрый мужик!

— К шалашу нести? Вам бы теперь в подходящее помещение перебраться надо, в директорскую, хотя бы, — наставительно советовал Евстигнеевич.

— Ну, пока в шалаше еще поживем, — решительно заявила Ольга. — И жить будем недолго. В город надо возвращаться.

— Вам здесь спокойнее будет, — дипломатично ответил ей Евстигнеевич, — опять же, питание. Какое в городе снабжение окажется — неизвестно.

— Какое бы не оказалось, а вернемся в город, — твердо отчеканила Ольга.

— А зачем? — поднял брови Брянцев. — Институт, несомненно, закрыт.

— А здесь оставаться зачем? Смотреть, как трава растет? Да? Насмотрелся, голубчик! Хватит!

Горячность и решительность Ольгунки радовала Брянцева, но чем — он и сам понять не мог. Привычная, повседневная Ольга,

та, которую он знал до мелочей, до каждого движения губ, бровей, оттенка голоса, Ольга, с которой было прожито девять тусклых, не отличимых один от другого лет, уходила куда-то в прошлое, расплывалась, растворялась и меркла в нем. А вместо нее всё яснее и отчетливее проступал другой облик, иной, еще неведомый ему и непонятный.

«Сводные картинки такие были, всплыло в его памяти воспоминание детства, на бумажке тускло, неясно, а когда намочишь и сдернешь бумажку — заблестит. Так и она теперь. Тоже бумажку сбрасывает».

— Дело, конечно, ваше, — политично рассуждал Евстигнеевич, — в город ли вертаться или здесь оставаться, а только, по моему соображению, вам здесь даже антиреснее будет в общем смысле. Смотрите, дела-то как поворачиваются! Хотя бы Андрея Ивановича взять.

— Что ж в нем особенного? — повел плечом Брянцев. — Обыкновенный дезертир. Мало ли таких.

— Вот и не так рассуждаете, — хитровато посмотрел сбоку на него Евстигнеевич и тотчас же спрятал свои медвежьи глазки под брови, — обыкновенный дезик от своего дому подальше оказаться старается. Бежит от него, чтоб на след не навести. Как лиса. Только бы самому сохраниться. А этот под собственный дом закопался. На какой предмет, спрашивается? Как вы об этом располагаете?

— Чтобы борщ хлебать, какой ему жена наварит, только и всего.

— Он этого борщу вдосталь уже нахлебался. В другом тут дело. Он свой дом старается не упустить. Каждому свое мило. Времени он своего дожидался. Опять же, профорг.

— Думаешь, он в него и стрелял? — осенила Брянцева внезапно пришедшая гипотеза.

— Всенепременно. Кому другому быть? Промеж них издавняя злоба была. Пришло время — подвел ей счет.

— Верно! — блеснула глазами Ольгунка. — Погоди, не то еще будет. Это только первая ласточка, зарница грядущей грозы. Погоди, погоди.

— Ты и сама словно сводить счеты собираешься.

— А почему бы и нет? — вскинула голову Ольга. — Думаешь, у меня должников таких нет? А кто мою молодость съел? Кто? Была она у меня? Детство было? Все сожрали, сволочи! — звонко выкликала она, блестя глазами. Ее как лихорадка била.

«Одержимая, подумал Брянцев, никогда еще ее такой не видал».

— В город! В город! — хваталась Ольга то за один, то за

другой мешок. — Сама всё поволоку. А то и здесь брошу.

— Зачем нужные вещи бросать? Всякое барахло пригодится. — А мы вам его донесем.

Раскрасневшийся от быстрой ходьбы, блестящий потом и широко раскинувший в улыбку свой рот с мелкими, крепкими зубами, Мишка стоял перед шалашом. От конторы подходил, вытирая лоб платком, Броницын.

— Мы за вами, Всеволод Сергеевич!

— За мной?

— В город вам перебираться надо. В самом срочном порядке! Вот, читайте! — протянул студент Брянцеву не вложенное в конверт отношение бургомистра. — И вот еще записка от Шершукова.

— Дай! — выхватила у Брянцева обе бумажки Ольгунка, быстро пробежала их и протянула ему. — По-моему, по-моему выходит! К черту растущую траву! — рванула она куст ни в чем не повинного чистотела. — Молодцы, ребята, — махнула студентам выпачканной в его желтый сок рукой. — Сейчас оладьи вам за это напеку!

— Кто такой Красницкий? Почему Шершуков пишет? И кто он сам, собственно говоря? Почему он меня знает? — допрашивал Мишку Брянцев, прочтя оба письма.

— Красницкий — бургомистр города, новая власть, а Шершуков теперь директор типографии, старое начальство всё разбежалось, он выдвинут. Ну, а знает, вероятно, вас по вашим статьям в газете или по общественным докладам. Да кто вас в городе не знает! — и Мишка стал сбивчиво, торопливо выкладывать все городские новости.

— Вам, только вам и быть редактором свободной газеты, беспартийной, нашей русской, понимаете, русской газеты, — наскакивал он на Брянцева.

— Так, не обдумав, нельзя, — уклончиво отвечал тот, хотя было видно, что предложение бургомистра и Шершукова его взволновало.

— Вам, только вам! — страстно вторил Мишке Броницын. — Ведь вы старого императорского университета старый интеллигент. И ваши статьи всегда…

— Тебе! — кричала сквозь шипение примуса Ольга.

— Постойте, постойте. Тут много еще недоговоренного: немцы, их цензура, их пропаганда…

— Немцы — немцами, а мы сами собой, — уверенно выпалил Мишка.

— Пацанок еще, а сказал правильно. Лучше и не надо. Немцы немцами, а мы сами собой, — послышалось со стороны кустов.

Все обернулись. Между разросшимися по рубежу сада кустами серебристой полыни и густо-зеленого чернобыла стоял кривой и посмеивался, морща паутину шрамов вокруг выбитого глаза. За его плечом виднелось руно спутанной, непомерно длинной сивой бороды, а над ней опаленное солнцем до черноты буграстое, безволосое темя.

— Ты, дружок, откудова взялся? — с нарочитой слащавостью в голосе спросил Евстигнеевич. — Как кот подобрался. Не слыхатьне видать, а он тут.

— Что же удивительного? За семейством в город сходил, а теперь с ним вертаюсь. В тенечке передохнуть присели. Супружница наша при вещах тамочко находится, — мотнул головой кривой за кусты полыни, — а я вас послухать по-интересовался.

— А это при тебе кто? — указал Евстигнеевич на бородатого. — Отец твой, что ли?

— Отец, да не мой. Всеобщим отцом допреж был — попом. Теперь же просто человек Божий. Ума решился. Христа ради его при себе блюдем.

— Так, так… — неопределенно промуслил Евстигнеич. — С Татарки, ты говоришь? Ближний? Я там кой-кого знавал. А тебя вот никак не припомню. Чудно.

— Что ж чудного, я там не природный, а вроде как приблудился. Проживал всё же немалое время и приятельство имею. Вот и теперь к дружкам прибиваюсь.

Напряженно смотревшая на пришедших Ольга взяла с тарелки только что испеченную парующую оладину и медленно, продолжая неотрывно вглядываться в лицо бородатого, подошла к нему. Перекрестилась и протянула оладину:

— Прими, Христа ради, человек Божий!

В тусклых, выцветших глазах старика промелькнул теплый свет. Промелькнул и снова погас. Взяв лепешку, он тою же рукой широко перекрестил Ольгу.

— Благословенна будь, дщерь сионская, в путях тебе предначертанных.

Потом проурчал еще что-то, увязшее в его бороде, и закусил подаяние.

Ольгунка опустилась на колени и в землю поклонилась старику. Смиренная, тихая вернулась в шалаш. Все молчали, и в наступившей тишине было слышно, как чирикал прыгавший по аллее воробей:

— Жив-жив! Жив-жив!

— Звать-то тебя как? — словно невзначай спросил Евстигнеевич кривого.

— Поп Иваном крестил, а люди Вьюгой от себя докрестили.

— Посеявшие ветер пожнут бурю. Возвратися ветер на круги своя, — прошуршало в сивой бороде так тихо, что услышало эти слова только напряженное ухо Ольги.

— Жив-жив! Жив-жив! — ликующе чирикал воробей.

ГЛАВА 16

В типографии, куда Брянцев пошел тотчас же по возвращении в город, он разом попал в распростертые мощные объятия Шершукова. До того они не были знакомы. Шершуков знал Брянцева в лицо, как большую часть сотрудников краевой газеты и просто часто бывавших в редакции. Видал в ней и Брянцев Шершукова, но теперь лишь смутно вспоминал его выделявшуюся среди рабочих крупную, осанистую фигуру.

— Ну, теперь все в порядке, — тряс чуть не до вывиха в плече руку Брянцева Шершуков, — к вечеру экстренный выпуск отстукаем на американке! За нами задержки не будет. В момент наберем и сверстаем две полосы. Гоните только материал! Заголовок пока афишными наберем. Как назовете новорожденную, — вытянулся во весь рост Шершуков, — русскую свободную беспартийную газету?

Последние слова он произнес тем же торжественным, высокопарным тоном, каким еще так недавно заканчивал свои выступления на рабочих собраниях, провозглашая имя гениальнейшего, мудрейшего вождя народов.

— Позвольте, позвольте, — Брянцев даже на шаг отступил перед этим бурным натиском. — Как же так. Сразу. Ни сотрудников, ни помещения, ни машинистки. Ничего еще не организовано…

— Темпы! Темпы, господин профессор! — особо подчеркивая титулование, выпалил, как из пушки, Шершуков. — Темпы решают все, как говорит товарищ… А, черт бы его побрал! В общем же и целом, переживаемый нами момент глубоко революционный.

— Но, прежде всего, нужно утверждение меня в должности редактора.

— Утверждение у меня в кабинете сидит и сводку с немецкого переводит. Идемте! — подхватил Брянцева под руку Шершуков и столь же стремительно повлек к низенькой двери в глубине канцелярии. Оглушенный Брянцев успел лишь заметить, что за всеми столами сидели бухгалтеры, счетоводы, кассир. Они что-то записывали в разостланные полотнища ведомостей, щелкали костяшками счетов, — словом, все шло обычным, установленным порядком рабочего дня в советском учреждении. Это его поразило и запомнилось. Остальное ушло в туман. Запомнился еще осыпанный осколками битого стекла подоконник подслеповатого маленького кабинетика зава типографии, где за едва помещавшимся в нем письменным столом сидел пожилой

немецкий офицер с коротко подстриженными, переходящими в лысину седыми волосами.

— Вот ваше утверждение в должности. Оно же и непосредственное начальство, — подтолкнул к нему Брянцева Шершуков, — а вам, Василий Васильевич, честь имею представить главного редактора газеты, профессора Брянцева, — снова подчеркнул он ученое звание.

— Только временное и даже очень кратковременное начальство, — протянул ему руку офицер и назвал себя: — Полковник фон-Мейер. Кратковременное, потому что я — офицер штаба дивизии, а не абтейлюнг-пропаганды, отдела, говоря по-русски, который прибудет потом. Тогда и организуете работу, как надо. А пока мы, то есть штаб дивизии, будем давать вам лишь краткие сообщения, чтобы внести успокоение в среду населения. Ну, и сводки, конечно. Вот вам первая, — протянул он Брянцеву три листа, исписанных мелким, бисерным, но очень четким почерком. — И еще там, что сможете и найдете нужным, печатайте, конечно, но коротко. И, пожалуйста, первый выпуск сегодня же. Успеете?

— Не беспокойтесь, Василий Васильевич! — ответил за Брянцева Шершуков и приложил ладонь к виску, как бы отдавая честь.

— К пустой голове руку не прикладывают, — засмеялся немецкий полковник, — так в русской армии раньше говорилось. И ладонь нужно распрямить и довернуть, — поправил он растопыренную пятерню Шершукова. — Вот теперь настоящее русское отдание чести. Ну, я ухожу. Вернусь в пять, нет, даже в четыре тридцать. Тогда просмотрим корректуры и поговорим подробнее.

— Будьте покойны-с. Точно! — уже вслед ему рапортовал Шершуков.

— Кто это? — только и нашелся спросить его Брянцев.

— Видите теперь, как немцы дела делают? — спросил его в свою очередь Шершуков вместо ответа. — Безо всякой волокиты и бюрократизма. На слово. Полное доверие. Раз, два, — и в дамках. Вот это действительно темпы! — упер он руки в бока.

— Нет, кто этот полковник? По-русски он говорит без малейшего акцента.

— А зачем ему этот акцент, когда он, Василий Васильевич, родом из Крыма. Теперь, понятно, эмигрант. Ну, его автобиографию сами потом узнаете, а сейчас, не теряя минуты, начинаем. Где будете работать? В редакции? Тогда пошли, там уже кто-то есть.

Редакция краевой газеты занимала два этажа в том же доме,

над типографией. Шершуков уверенно взбежал по лестнице, шумно вздохнул, отдулся и покрутил головой.

— Склерозец. Ничего не попишешь, — хлопнул он себя по широкой груди и с удивлением осмотрелся, — ничего не поперли! Даже занавески на месте. Удивительно! — протянул он. — А вы видели в крайкоме? Все дочиста растащили. Да, впрочем, вас в городе не было. Тут такое вчера творилось, больше, правда, по части продуктов питания. Ну, и мануфактуры, конечно. Вот и ваш кабинет, — растворил он плечом обе половинки двери и театрально расшаркался. — Ну, я смываюсь. Жду материала. Не задержите.

Оставшись один, Брянцев оглянул знакомый ему редакторский кабинет. Все, как было. Все в полном порядке, только серый налет пыли на большом, покрытом зеленым сукном столе редактора, на массивном письменном приборе с бронзовым бюстом Ленина, да разбитые стекла в окнах говорили о прерванной внутренней жизни, размеренно протекавшей в этой комнате.

«С чего же начать? Как начать», силился связать в плотный узел беспорядочно клубившиеся в его голове мысли Брянцев? «Была четко налаженная, действовавшая без перебоев машина, ее агрегатами, винтами, шестернями, валами были десятки людей. Теперь их нет. Значит, нет и машины?»

— Сейчас я только со стола обмету и с подоконников уберу, а вечером полный порядок наведу. Сегодня уж как-нибудь так поработайте.

Оглянувшись, Брянцев увидел незаметно вошедшую широколицую, широкобедрую уборщицу Дусю с ее неизменными атрибутами — ведром, метлой и тряпкой. Увидел и обрадовался ей, как родной. Даже метле и грязной тряпке обрадовался.

— Дуся! Вот хорошо, что вы здесь!

— А где ж мне быть? — просто, по-домашнему ответила техничка. — Комната-то моя при редакции. Я все эти дни, когда самый грабеж шел, в ней и сидела с ребятишками. Нижнюю дверь заперла. Застучат, а я им в ответ: «Немцы здесь, занято». Этим только и отбилась, а то бы все начисто растащили.

— Вот какой вы молодец. Только вы одна здесь и остались? Зачем одна? С нашего двора никто не эвакуировался. Надя-стенографистка здесь, Мария Гавриловна — в библиотеке. Куда им с детьми ехать? А из сотрудников только один Котов два раза приходил. Он и сейчас здесь. Позвать?

Дуся поставила ведро на пол и, раскачивая бедрами, выплыла в коридор.

— Вот он сам идет! — крикнула она оттуда, снова заглянув в

дверь.

В кабинет вошли двое. Брянцев знал обоих. Впереди прямой и высокий, похожий на англичанина с иллюстрации к Жюль Верну, сотрудник редакции Котов, всегда удивлявший Брянцева своей исключительной сдержанностью, резко выделявшей его в среде шумных, торопливых и размашистых работников газетной кухни. За ним — хорошо знакомый — студент-выпускник Зорькин, всегда ловивший Брянцева в коридоре института с дополнительными вопросами, в которых неизменно чувствовалась недоговоренность, боязнь самому поскользнуться.

— Слышал от Шершукова, редактором назначены вы. Очень рад, — пожал протянутую Брянцевым руку Котов. Фразу он выговорил медленно, тихо, раздельно и без улыбки. — Кстати, ваше имя и отчество? Простите, я не знаю, а «товарищ», надо полагать, навсегда отменен. Вот очерк городской жизни за последние дни. Трудно, конечно, писать, не зная требований и цензурных условий. Однако факты говорят сами за себя. Осмотр подвалов НКВД — ужас. Стены забрызганы кровью и мозгами. На полу разорванные в клочья трупы.

— Гранаты в окна кидали, — не утерпел вставить, захлебываясь сенсацией, студент. — Что там сейчас творится — уму непостижимо! — схватился он за голову. — Родственники сбежались! Плач! Крик! Дети!

— У вас о том же? — протянул руку к листку студента Брянцев.

— Нет, у меня повеселее. Хроника. Уличные сценки. Но тоже очень интересно. Директора маслозавода рабочие убили при попытке поджога.

— Это, по-вашему, весело? — покосился на студента Котов.

— А как же? — наивно удивился тот. — Всем интересно. Пожар элеватора тоже. — Рылся в своих листках студент. — Еще — реестр запасов продовольствия, обнаруженных в закрытом распределителе. Целый «Гастроном», — прищелкнул он языком с завистью голодного человека. — И сейчас еще оттуда таскают. Я только у зава выборку из складной книги взял. Не все, конечно, но самое главное, — частил Зорькин, — масла две тонны, сыр, ветчина дальше, вот и ещё… Только почерк у меня аховый.

— Пошлите Дусю за машинисткой Надей и передиктуйте, — посоветовал Котов. — Вашу куриную скоропись в набор не примут, — брезгливо приподнял он со стола один из листков. — Дуся!

— Разместимся пока здесь, господа! Всем вместе в одной комнате удобнее. И начинаем работу, — чувствуя как с каждым словом крепнет его голос и уверенность в себе, распорядился

Брянцев. — Итак, в экстренный выпуск, две полосы, у нас есть уже сводка, три объявления от немцев, ваш очерк, хроника. Теперь моя передовая и, пожалуй, будет уже достаточно. Перья вот все острые, — порылся он в мраморной вазе, стоящей на редакторском столе, — досадно. Привык к рондо. Ну, сажусь, — опустился Брянцев в кресло и придвинул к себе большой блокнот с бланком главного редактора. Оборвал с него несколько верхних исписанных красным карандашом листов и обмакнул перо в загустевшие чернила.

«Вот и двинулась в ход машина, — думал он про себя. — Агрегаты появились сами собой. Как все легко получилось! Ну, — сдавил руками виски Брянцев, — первые слова первой передовицы первого номера первой в нашем крае свободной русской газеты. Как прозвучат они?»

Брянцев еще сильнее сжал виски, словно прессуя в них хаос клубившихся мыслей, и с каким-то внезапным порывом схватив перо, уверенно написал первые слова Великого Манифеста:

«Осени себя крестным знаменем, православный русский народ».

ГЛАВА 17

Рабочая жизнь редакции быстро налаживалась. Брянцеву казалось, что и он, и сотрудники, число которых с каждым днем возрастало, разом вливались в какое-то, уже проложенное когда-то и кем-то, русло, шли по проторенной дороге, открывавшейся им самим шаг за шагом, без поисков и усилий с их стороны. Немецкий цензор не мешал. Он аккуратно приносил переводы сводок, приказы и оповещения комендатуры, а от просмотра корректур в большинстве случаев отказывался:

— Мне некогда. В немецких штабах много работы. Но ведь не будете же вы помещать статьи, направленные против Германии? Остальное же — городские новости, беллетристика и прочее их не интересует.

— Вы всегда говорите о немцах в третьем лице: они, их, — сказал ему как-то Брянцев. — Но ведь вы немецкий полковник, да и по крови, по крайней мере, по фамилии, немец?

— Не только немецкий, но и русский полковник, — с осветившей его лицо бледной и несколько грустной, но вместе с тем теплой улыбкой ответил фон-Мейер, — да и по крови. Кто подсчитает, сколько ее во мне, русской и сколько немецкой. Не в том дело.

— А в чем же?

— Вот в том, что родился, вырос и прожил лучшие годы жизни в России, — совсем уже грустно, без улыбки ответил старый офицер, — в том, что позже телом жил в Германии, а душой вот здесь где-то.

— Счастье ваше, что не наоборот, а то, пожалуй, вашего тела не было бы теперь ни в России, ни в Германии.

— Счастье или нет, — не знаю. Но в эмиграции, особенно в первые годы, это не было счастьем. Скорее мукой. Я чувствовал себя тогда беглецом, изменником, дезертиром, трусом. Это было тяжело. Особенно для тех из нас, кто был воспитан в традициях служения родине.

Брянцев понял, что коснулся каких-то сокровенных, запрятанных в глубь души струн, что расспрашивать дальше фон-Мейера неделикатно, нечутко, но не смог удержаться от вопроса:

— А теперь?

— Теперь нет, — твердо ответил фон-Мейер, — теперь я снова служу ей.

— Даже в этом мундире?

— Мундир — условность, неизбежный тактический маневр. Впрочем, и у меня были видимо волнующие вас теперь сомнения,

пока я воочию не насмотрелся картин современной России, вернее того, во что ее превратили. И еще другого…

— Чего?

— Того, что населяющие ее люди — такие же самые, каких я видел, прощаясь с Россией, остались теми же самыми, а не превратились в уродов, какими мы их представляли себе, живя за рубежом.

Но подобные разговоры, в которые Брянцев часто пытался втянуть фон-Мейера, были все же редкими. Полковник явно избегал их и после двухтрех вырвавшихся у него фраз круто менял тему.

Брянцева это удивляло и даже обижало. В уклончивости Мейера он видел недоверие к себе, но Ольгунка, когда Брянцев рассказал ей об этом, посмотрела с другой стороны.

— А как иначе? Не забывай, что он состоит офицером германской армии. Мундир обязывает ко многому, а его — к еще большему, чем природного немца. Вероятно, на него там если не косятся, то, во всяком случае, смотрят несколько недоверчиво, не как на вполне своего. А двойственность в его душе чувствуется — те же сомнения в своей правоте, как у тебя. Но разве ты болтаешь о них каждому встречному? Эх, ты, интеллигент мой российский! — дернула Брянцева за волосы Ольгунка. — Не можешь обойтись без рефлексии, без нудных противоречий с самим собой. Бери лучше пример с Мишки: у него все просто и ясно. Стал на дорогу, так идет по ней, не озираясь по сторонам.

— А что он, кстати, делает?

— Об этом сам тебе расскажет, — загадочно ответила Ольга. — Лучше ты мне расскажи, как идет работа в редакции.

— Там все гладко, — разом повеселел Брянцев. — И знаешь, странно, редакция стала каким-то русским центром, особенно в первые дни по занятии города. Кто только ни приходил и с какими только вопросами не обращались! Для прямой работы времени не оставалось. Ибрагимова и еще какая-то учительница приходили о своих мужьях справки наводить. Этих мужей арестовали перед самым приходом немцев и, конечно, куда-то угнали, раз среди трупов их не нашли. А об этих угнанных самые печальные сведения: половину или больше того в глубокой балке из пулеметов ликвидировали. Немцы там около сотни не зарытых трупов нашли. Я и направил их туда: неизвестность еще тяжелее. Стасенко, помнишь, такой длинный, в прошлом году институт окончил, этот прибежал узнавать, где ему получать разрешение на открытие ресторана. Не пропадет парень, — разом врос в капитализм.

— Не он один. Ты посмотрел бы базар — кого и чего там

только нет. И спекулянтки, эти, конечно, всюду поспеют, и пригородные колхозницы, и городские интеллигентки — все за торговлю взялись! Кто чем! Колхозницы овощами, картошкой, мукой из разбитых амбаров, городские — добытым со складов распределителей. Конечно, и те и другие награбили. Впрочем, зачем это глупое слово? Не награбленным, а своим, конечно, своим, недоданным им, у них выхваченным!

— Интересно! Надо туда репортера послать.

— Как важно, — репортера! А у тебя их много?

— С каждым днем прибавляется. Первый номер делало нас трое, а теперь уже за дюжину перевалило.

— Ого! Кто же? Знакомые есть?

— Почти все знакомые. Неожиданные скрытые таланты в них открылись.

— Даже таланты!

— Да. Таланты. Бухгалтер плодовоща Крымкин такие фельетоны пишет, что и Дорошевичу не стыдно было бы. Помнишь его? С бородкой, вид уездного Мефистофеля и псевдоним себе избрал «Змий». Наших студентов человек пять во всех жанрах упражняется. Стихов, конечно, непрерывный поток. Но главное интересно то, что все стали хорошо писать: искренно, доходчиво.

— Потому что много на душе накипело, паров в ней накопилось. Знаешь, Всевка, — Ольга замолчала, подошла к окну, посмотрела на залитую осенним солнцем пустую улицу, по которой деловито разгуливало две курицы, и досказала: — Знаешь, я думала, если бы найти такой способ, чтобы все эти накопившиеся в человеческих душах за советское время пары пустить разом в дело, в творческую работу, что б тогда было?

— Мечтаешь ты, как всегда. Тебе бы Гербертом Уэлсом быть.

— Нет, ты послушай. Я знаю, что будет, — постукала Брянцева по лбу Ольгунка, — смотри, после бегства советов едва лишь неделя прошла, а как, разом все ожило! Все начали что-то делать. Одни на базаре торгуют, другие рестораны открывают. Профессор Гриценко забегал сегодня, думал тебя утром застать. Он брошенные по учрежденским библиотекам книжки собирает. Что-то задумал: то ли книготорговлю, то ли библиотеку, а может и то и другое вместе. Об этом он и хотел с тобой поговорить.

— Не люблю его: хитрый, двуличный хохол.

— Это неважно. Сволочи были и будут. Всегда будут, всегда! — уверенно повторила Ольгунка. — Но надо так, чтобы и они делали дело. А хороших людей тоже достаточно. Мария Васильевна, например. Она с бабами какими-то собрала беспризорных коров в Архиерейском лесу и теперь «Каплю

молока» для больных детей организует.

— Знаю. Была у меня. Свел ее с немцами. Те тотчас же за неё схватились, во всем пошли навстречу: помещение ей отвели, дали ордер на получение кормов, сепаратор и еще что-то там. Одним словом, все имущество советской «Капли молока».

— От которой населению ни одной капли не приходилось? — злобно вставила Ольгунка.

— Да, она молодец, деятельная, — пропустив мимо ушей реплику Ольги, продолжал Брянцев. — Кроме того, церковь ремонтирует в бывшем клубе Спартака. Тоже все своими силами. Вот никогда не подумал бы, что в этой скромненькой, тихой, безличной, как казалось, машинистке окажется столько инициативы и энергии.

— А главное — воли к добру. Вот я и твержу тебе все время про это. Это тот самый сдавленный советами пар рвется наружу. К добру. К свету рвется.

— Ну, и к злу тоже, моя дорогая! В редакцию достаточно этой дряни тащат. Форменные доносы под видом фельетонов и корреспонденций. Сведение личных счетов или просто пена кипящей злобы.

— Что ж, и ее накипело достаточно. Это естественно. Разве могло быть иначе? Но ведь и злоба, Всевка, и ненависть могут быть тоже направлены к добру, если они вступают в борьбу с другою, сильнейшей ненавистью.

— Опять зафилософствовала!

— Никакой тут философии, а самая обыкновенная, вот такая повседневная, обывательская жизнь, — обиделась Ольгунка, но тут же снова вспыхнула изнутри, выкрикнула: — Вот Мишка, например! — выкрикнула и тотчас же прикусила язык. — Не могу еще пока сказать, это его тайна. Он сам тебя в нее посвятит.

— Посвятит, так посвятит. Будем ждать. А вот с обедом ждать не буду. Мне нужно опять в редакцию бежать.

— Ждать не придется, все готово. Да еще что готово-то! Угадай! — сняла Ольга с примуса прикрытую тарелкой сковородку. — Ни за что не угадаешь. Твоя любимая рыба! Свежая! Сегодня утром в озере еще плавала. А к ней — грибной соус.

— Откуда такие деликатесы?

— От свободы, дорогой мой, все от нее. На Сенгилеевском озере, помнишь, охрана всегда стояла. Черт их знает, что там чекисты оберегали, границу аэродрома, что ли. Но ловить рыбу никому не давали, да и вообще гоняли всех с берега. Теперь ребятишки побежали туда, конечно, раков ловить. А там уже немцы гранатами рыбу глушат. Крупную себе взяли, а мелочь

отдали мальчишкам. Те два ведра на базар приволокли. Тоже предпринимательством занялись, и, кстати, грибов по дороге набрали. Говорю тебе, Всевка, изо всех этих сдавленный пар прет.

Ольга сняла со сковородки тарелку и, как фокусник, наслаждалась эффектом, весело смотря на втягивавшего носом запах любимого кушанья Брянцева.

— Дары свободы!

— Добавь — желудочной. Ну, пожалуй, еще по наполнению карманов. А о прочих ее видах пока помолчим. Я, знаешь, вчера смотрел карту будущей Восточной Европы по немецкой планировке. Весь юг России — Украина, отдельное государство под германским протекторатом. Русская граница проходит к северу от Курска. Одесса — румынская. Крым, кажется, полностью германский. На Кавказе какая-то неразбериха: федеративное казачье царство, еще какие-то лоскутные союзы, но в целом тоже немецкая сфера.

— Начертить на бумаге что угодно можно, — спокойно и даже несколько презрительно откликнулась Ольгунка, но потом разом помрачнела, — чушь все это. Ничего подобного никогда не будет!

— Немцы иначе думают. И знаешь, что особенно интересно: показывает мне зондерфюрер эту карту и уверен, глубоко уверен, что она должна мне очень понравиться! Расплывается в самой благожелательной и вполне искренней улыбке. «А вам», говорит, «мы предоставим Персию с выходом в Индийский океан. Колоссально! Какие необозримые перспективы! Вы станете великой азиатской страной, владеющей двумя океанами. В этом ваша историческая миссия».

— Как раз! — стукнула о стол опустевшей сковородкой Ольга. Здорово выдумал! Азиаты! Никогда этого не будет! Не дадим!

— Кто это «не дадим»? Какие силы? — усмехнулся Брянцев. — Ты, что ли, с Мишкой?

— Сила опять тот же пар, — уверенно и спокойно проговорила Ольга. — Это земля парует. Русская земля. Понимаешь?

Брянцев не ответил.

Возвращаясь в редакцию, он завернул на базар. Несмотря на поздний час — было уже около трех — вся площадь кишела народом. С въезда, там, где в нее вливались две главные улицы, что-то строили. Брянцев рассмотрел два свежеотструганных толстых столба, к которым стоящие на лесенках плотники прилаживали перекладину с ввинченными в нее большими железными кольцами. Сомнений в назначении этой конструкции

быть не могло.

«Виселица!» — передернуло Брянцева. «Вот тебе и свобода, о которой твердит Ольгунка. Пар земли русской. Плотники-то русские ставят, немецкий унтер лишь распоряжается».

— Всеволод Сергеевич! — окликнули его сзади.

Отдельной группой, не смешиваясь с толпой, позади Брянцева стояли три студента. Двух из них он узнал — Броницына и Мишку. Лицо третьего ему лишь смутно припоминалось.

— Идите к нам, Всеволод Сергеевич, — звал Мишка, — разрешите наш спор. Вот Таска, — указал он на незнакомого студента, — протестует и возмущается этим сооружением, а Броницын говорит: так и надо.

— Надо! — горячо, почти раздраженно выкрикнул сам Броницын. — Надо! Слишком много всякой сволочи развелось. Нельзя иначе! Надо! Надо! Надо!

— Что же получается, — так же горячо возразил ему тот, кого Мишка назвал Таской, — то в подвал тащили и там шлепали, а теперь на базаре на перекладину вздергивать будут. Прежде вниз, а теперь вверх. В этом только и разница. В двух этажах.

— А вы, Миша, как думаете? — спросил Брянцев, вспомнив недомолвки Ольги. — Надо или не надо?

— Сам не могу этого решить, Всеволод Сергеевич, — почесал себе вихры Мишка, — и надо… Прав Гришка, много сволочи, и… обидно. То обидно, что эту хоть и сволочь, а все-таки нашу сволочь, чужие вешать будут. Если бы мы сами, — тогда другое дело. Тогда — надо.

— Договорился, — развел руками Таска, — собственноличную кандидатуру в шлепальщики и вешальщики, в общем и целом в палачи выставил.

— Надо! Надо! — упрямо повторял, словно дятлом кору долбил, Броницын. — Сволочь уже теперь на верхи выскакивает, на всех руководящих должностях партийцы утверждаются. Наш Плотников, например, член бюро комсомола, самый твердокаменный во всем бюро, — жилотделом теперь заворачивает. Проскочил. Сумел.

— И пусть, — забыв о Брянцеве, напустился на него Мишка. — Ты Плотникова не хуже меня знаешь. Кто он? Пламенный коммунист, по-твоему? Ничего по-добного! Весь коммунизм его только на схеме и держится: раз предписано, — значит надо выполнять. А исполнитель он дельный, выдержанный на партработе. Ты тоже это знаешь. Спустят ему новую схему, — он и ее так же выполнять будет. Чердак у него, правда, пустоват, ну, для размещения по квартирам философских знаний не

требуется. Увидишь, на своем месте он будет. Здесь нужен к каждому индивидуальный подход. Есть и полезная сволочь… То есть не совсем сволочь, не полностью, а так, вроде полусволочи или временно осволочившихся, — запутался Мишка в клубке своих мыслей.

— Опять хватанул! Наломал дров. Полезную сволочь какую-то нашел, полусволочь, — вставил реплику Таска.

— Я только оформить не могу, а мне ясно, как надо поступать, — почти извинялся Мишка.

— Тебе ясно, так пойди, разъясни немцам, — злобно, как и прежде, огрызнулся Броницын. — Пусть классифицируют сволочь на полезную и бесполезную. Чудные они! Не то фантазеры, не то просто дураки. Делают определенную ставку на партийцев. Всюду! Во всех учреждениях их сажают.

— Дело, мне кажется, не в самом факте установки виселицы, — вступил теперь в спор и Брянцев, — а в том, кто на ней будет висеть.

— Пусть и невинные, случайные повиснут, — перебил его Броницын, — такие случайности неизбежны в ходе войны, но кого надо все-таки повесят. А надо, надо! — злобно и упорно повторил он, махая кулаком сверху вниз, словно вгоняя в землю какой-то кол. — Надо!

— Страсть-то какая! — причитала проходившая женщина. — На самом базаре вешалку ставят! На виду у всего народа.

— А, по-твоему, втихую, в подвале шлепать лучше? — бросил ей в ответ Броницын.

— Конечно, это для людей спокойнее, когда не наглядно, — приостановилась баба. — А то на самом базаре, где едой торгуют. Какой может быть тогда аппетит?

— Вот вам еще и третья точка зрения, — улыбнулся Брянцев, — на этот раз полностью базирующаяся на желудке.

— Значит, самая правильная! Полностью марксистская! — хлопнул себя по животу Таска. — Вы, ребята, уже подожрали, а я нет еще. Направляюсь прямолинейно к Галке Смолиной, она теперь в немецком офицерском клубе подавальщицей, значит и мне на кухне кое-что перехватить найдется.

— Пристроился?

— Давлюсь, друг, а ем…

— Это как прикажешь понимать? — иронически и несколько высокомерно усмехнулся Броницын. — В прямом смысле или в иносказательном?

— Можешь хоть в обоих. В прямом смысле — генеральский рацион по первому классу, а в иносказательном — разрешение проблемы ищи на своем собственном чердаке.

— Ты, видно, жук хороший! — покачал головой Броницын. — Ну, что ж, вали! Приятного аппетита тебе и в прямом и в переносном смысле.

ГЛАВА 18

— Это ты, Петр Степанович, то есть Иван Евстигнеевич, — я все по-старому тебя именую, как в Татарке тогда привык, — это ты правильно излагаешь: коли мы сами, так сказать, в общем и целом трудящиеся, примерно, колхозники и городские, совместно не организуемся, то обратно либо немец, либо партийцы какие на шею нам сядут.

— А может и те и другие разом.

— Это вполне возможно, — согласился с Вьюгой Андрей Иванович, — план твой оченно правильный, однако реализация его затруднительна.

— Лиха беда начало, а дальше дело само пойдет.

В единственной комнате домика Кудинова на Деминском хуторе сидело двое: сам хозяин, «подземельный человек», и кривой. На покрытом чистой камчатной скатертью столе стояла початая поллитровка и изящно разузоренная фарфоровая миска с солеными огурцами, две граненых тонкого стекла стопки: перед Вьюгой опорожненная, перед Андреем Ивановичем едва пригубленная. Сквозь завешенное выше половины окно вплывала, мешаясь с дымом самосада, серая муть осенних сумерек. Огня не зажигали.

Комната Андрея Ивановича совсем не походила на обычное пустое, неопрятное жилище совхозного батрака. Неоседлости, неряшливости, а тем более неприютности в ней совсем не чувствовалось. Наоборот, в комнате скорее было тесно от заполнявшей ее опрятно прибранной мебели, и вся эта мебель несла на себе отпечаток добротности, умелого, хозяйственного выбора. Стол, за которым седели хозяин и гость, был овальный, красного дерева, старинный, не фабрично-стандартной работы, с хорошо сохранившимися инкрустациями на выгнутых ножках. Справа от него стоял вместительный застекленный шкафчик, из тех, что в прежнее время звались «горками», с прорезами для серебряных ложек по фасаду полки. Даже и ложки блестели в этих прорезах, тоже такие, каких теперь в магазинах не купишь: круглые, с витыми держачками, серебряные или нет — не разберешь. За печкой — две сдвинутых бок к боку кровати с высокими пружинными матрасами и блестящими никелем шишками в ногах и по изголовью, а над ними совсем необычная в крестьянском доме какого-то голубого дерева полочка с экраном-спинкой, а на ней — тонконогая дева, окутанная декадентски змеистой струей фимиама. Настрелянному на советской житухе глазу разом становилось ясно, как притекали сюда из города эти

вещи: невидно-неслышно, одна за другой, за пригоршню серой муки, за мешок полумерзлой картошки в страшные, голые, голодные годы.

— Тут и спасался? — кивнул головой Вьюга на занимавшую почти половину комнаты свежевыбеленную русскую печь, из-за трубы которой горлато топорщился рупор граммофона.

— Аккурат туточки, — Кудинов встал и отгреб носком охапку нарубленных будыльев. Под ними открылся крепко сколоченный щит из тронутых гнилью досок с налипшей на них землей. — Не засыпаю своего бомбоубежища. Все может быть и еще когда понадобится. К тому же в хозяйстве удобство: молоко или что там другое в летнее время содержать.

— Значит, выходишь ты теперь вроде киевских угодников. В подземельном затворе годешник отбыл и грехов своих половину может, свалил.

— А может и все полностью, — усмехнулся Кудинов, — какие у меня грехи? Если и были, так по мелочи. Ничего уголовного за мною не числится. Трудовой я человек и грешить мне некогда.

— Твое счастье. А вот кому иному, погрешнее тебя, пожалуй, и в печурке с грехами своими не поместиться, — глубоко, всею грудью вздохнул Вьюга.

— Каждому человеку от Бога своя греховная нагрузка дадена, резонно ответил на этот вздох Андрей Иванович. — Каждому, так сказать, по его греховным способностям. Ну, значит, и ответственность из того же расчета. А с меня какая ответственность?

— То-то и оно, — снова дохнул всей грудью кривой. Налил себе стопку и выпил, не закусывая.

— Какие же особые трудности ты предвидишь?

— Во-первых, центральный руководящий человек требуется, — присел снова к столу Андрей Иванович, — вроде как бы вождя или иного какого возглавления.

— Далеко хватил! Царя тебе, что ли, сюда, на Деминский хутор представить? — усмехнулся одними губами кривой.

— Насчет царя, — это как в дальнейшем выявится в общем и целом. За царя разговор отложим, — спокойно и размеренно отвечал Кудинов. — Я в местном нашем масштабе планирую.

— Командира значит? Это верно, его надо.

— В точку, — мягко хлопнул по столу ладонью Андрей Иванович.

— Ты на меня не обидься, Иван Евстигнеич, но сам ты к этой должности в абсолюте непригоден. Кто тебя у нас знает? Никто. В Татарке разве по прежнему в ней твоему местожительству. Опять же учтем, с того времени почти семь годов прошло, кроме ж того,

корешей твоих тогдашних по концлагерям распределили.

— Кое-кто и остался.

— Мало, Иван Евстигнеич. К тому же, они люди теперь несамостоятельные, покалеченные, а здесь авторитет нужен, понятно говоря — горло. Ну, и чтобы этот самый руководящий человек был своим, конечно. Всем известным.

— Такой человек найдется. Горло — оно само себя выявит.

— Опять же в точку. Такой человек может и есть, у нас даже в лезерве. А вот с немцем как?

— Немец нам без нужды покамест. Они Сталина бьют, — на том им спасибо. Против них не пойдем. В партизаны направления не возьмем.

— Мы-то супротив них не пойдем. Это ясно-понятно. А вот они-то на нас как взглянут? За партизанов не посчитают?

— Оберегаться от этого возможно. Известим их, найдем способ. Кудинов с сомнением покачал головой.

— Самостоятельны они. Очень уж самостоятельны. Трудность это большая. Опять же, город. Без городу нам быть нельзя: оттуда сведения, оттуда боеснабжение.

— Это дело у меня уж на ходу. Там есть подходящий народ. К примеру, студенты. Связь установим.

— Пацанята… Безответственные люди, — снова с сомнением покачал головой Кудинов.

— Есть и поответственнее. В полиции своего давнего дружка повстречал. Больше году мы с ним по киргизским аулам крутились, когда я с ваших мест смылся. Он в начальстве, на него у меня надежда крепкая, — уверенно возразил Вьюга.

Кудинов помолчал, подумал, пошарил по потолку глазами.

— Может оно так, а может и не так дело обернется. Только все-таки начинать нам нужно. Это верно. Чтобы от партийных запаху даже не осталось. Они, как осот или лебеда, примерно: упустишь деньдва прополоть, возьмутся за силу, тогда пиши в расход все наличие. Значит, так и постановим.

Кудинов снова помолчал, потом снял, было с печи пятилинейную лампочку без стекла, но подержал ее в руке и поставил обратно.

— Особого освещения нам не требуется. Без света даже, пожалуй, спокойней будет. Ты Середу, комбайнера нашего, Иван Евстигнеич, приметил?

— Длинного этого? Горластого?

— Его самого.

— К чему он сейчас тебе припомнился?

— А вот к тому же. Он нам самый ну ясный сейчас человек, это самое ответственное авторитетное горло.

— Да ведь он, я слышал, в партии состоял?

— Ну, что ж с того? Сам знаешь, она, как болото, одной ногой ошибется кто, ступит в него, да и не выскочит. Тут в индивидуальном порядке разбирать надо. Одного партийца — в расход, а другого — на приход. Середа же мне, как стекло, наскрозь его просматриваю. Человек он безответственный, это верно, горлопан, бузотер? В водочке вот в этой, — щелкнул Кудинов по поллитровке пальцами, — себя в достаточной мере не соблюдает, и выставляться обожает. Только как раз вот такого нам и надо. Чтобы самостоятельность в себе содержал. Баса! А вместе с тем, чтобы по нашей дорожке шел. Куда направим. К тому же Середа человек военный и можно предположить — офицеру не уступит. Коли ты согласен, я его прощупаю и в окончательной форме изложу.

— Чудно выходит, — стиснул зубы до скрипа Вьюга, — чудно. На партийцев подняться хотим, а их же самих в начальство себе ставим.

— Иначе невозможно, Иван Евстигнеич, и ничего чудного в этом даже не содержится, — солидно, не скрывая уверенности в своем превосходстве, разъяснил Андреи Иванович. — Без партийцев при организации нам не обойтиться, потому — они верховодить, командовать привычны, а у нашего народа кураж, форс в дефицитности.

— Это так, — лязгнул по-волчьи зубами Вьюга. — Так это! Пришиблен наш народ. Значит, действуем по твоему понятию. Только, только, — снова лязгнул он зубами, — ежели замечу, что твой Середа, с нашей дорожки в сторону гнет — самолично его ликвидирую.

— Это всегда в наших возможностях, — веско и солидно, как прежде, согласился Кудинов.

— Еще кто у тебя на примете подходящий?

— Кто же здесь, на хуторе? Старики одни остались. Середа вот, я, да еще кладовщик. Этот тоже нам даже незаменимый человек. Он теперь уж торговлишку начал по мелочи. Значит, понятие имеет на будущее. Вояка с него все равно, как с меня — никудышный. А вот захоронить, что следует, в его полных возможностях. Кладовщик! Понятно? Так вот, я и планую, Иван Евстигнеич: здесь, на хуторе, военный штаб и база снабжения, а по району пусть Середа действует применительно к обстоятельствам.

Вьюга долго молчал, раздумывал, уткнув подбородок в ладони опертых о стол рук, потом медленно, нехотя встал, брякнул увесисто:

— Так и сделаем, — словно вязанку дров с плеча скинул, и

зашарил глазами в наползших со двора сумерках. Чего искал — не нашел.

— У тебя, Андрей Иванович, икон не водится?

— У жены в сундуке имеются. А на стенке они ни к чему.

— Тебе, пожалуй, что и так, ни к чему. Ты ведь сам говоришь: безгрешный. Ну, а другому кому, кто погрешнее, тому требуются.

— А требуются, пускай сам себе и заводит. Мне к тому никакого касательства нет. Уходишь, Иван Евстигнеич? Как раз время: свечерело, без видимости и до запретного часа в город поспеешь.

ГЛАВА 19

После ушедшего со своей дивизией фон-Мейера на месте цензора сменилось несколько офицеров. С неделю гранки просматривал какой-то остзейский барон, сам сильно побаивавшимся настоящих «рейхсдейтч» и не очень им симпатизировавший. Его сменил редактор фронтовой немецкой газеты, до войны профессиональный журналист. По-русски он не понимал и требовал от переводчицы краткого конспективного изложения статей. Переводчица, учительница одной из городских школ, московская немка, путалась в военных и в политических терминах, краснела, терялась и порола чепуху. Немец возмущенно орал — дело шло еще хуже. Брянцев попытался придти к ней на помощь и предложил свои услуги, но немец резко отказался, не скрывая своего недоверия к нему. К счастью, он сам тяготился этой нудной, безалаберной работой и при первой возможности свалил ее на другого, случайно подвернувшегося офицера. Тот тоже не знал по-русски ни слова, но обладал прекрасным мягким характером и идеалистической настроенностью, хоть самому Вертеру впору.

— Все в порядке? — спрашивал он Брянцева, принимая от него еще сырой, пахнущий типографской краской лист сверстанной полосы.

— Конечно, в порядке, герр Нюренберг, — отвечал тот, — не враг же я самому себе.

Герр Нюренберг тотчас же ставил на полосе свою размашистую подпись и с приятной улыбкой возвращал ее Брянцеву. Единственным, что занимало его, были заголовки первой страницы. Смотря на них, он всегда впадал в творческий экстаз, выдумывал трескучий, барабанный подзаголовок сводки и требовал, чтобы его набрали самым черным, самым жирным шрифтом. Брянцев морщился, метранпаж ругался — приходилось переверстывать всю первую полосу, а то и часть второй. Но скоро нашли выход из этого положения: заголовок к сводке верстали «с воздухом», оставляя закамуфлированное место для творческих порывов герра Нюренберга. Это была выдумка метранпажа — старого, опытного газетного наборщика и еще более старого и более опытного пьяницы. Не зная по-немецки ни одного слова и не прибегая к помощи переводчицы, он ухитрился выпросить у Нюренберга рацион в бутылку шнапса к верстке каждого номера — три раза в неделю.

— Ничего, хороший немец, — говорил он, получая от фельдфебеля аккуратно выдаваемый гонорар, — только все-таки

дурак. Разве это заголовки? Вот Пастухов был редактор, так тот действительно заголовки давал боевые! — при этом старый метранпаж обязательно рассказывал одни и те же типографские анекдоты о знаменитых «с солью и с перчиком» заголовках редактора «Московского листка» Пастухова.

Но не только метранпаж хранил хорошее воспоминание о герр Нюренберге и его кратковременном пребывании в редакции. Уборщица Дуся со слезами рассказывала:

— Заболел мой Федюшка, понесла его в амбулаторию. Там говорят: скарлатина. Не принимают в больницу, детское отделение под раненых пошло. Доктор Шульц советует: одно самое главное средство против этой болезни — стрепо… и не выговорю даже, он на бумажке написал. Он говорит: «Ты у немцев работаешь, вот у них и попроси, у них есть, а у нас нету». А как просить — сама не знаю, да и боязно. Только само собой получилось. Убираю я Нюренбергов кабинет, он приходит и видит — у меня рожа наплаканная. Сейчас через переводчицу спрашивает, почему это? Та ему все разъяснила. Он ни слова не говорит, только по плечу меня хлопает, надевает шинель и ходу. А через полчаса ко мне в комнату сам является. Мало того, что лекарство принес, еще своего пайкового масла порцию, в бумажку завернутую, дает и на мальчика моего показывает! Хороший человек, дай ему Бог доброго здоровья! Ожил мой Федюшка!

Цензоры менялись и дальше, появлялись, исчезали, не оставляя по себе следа, а газета жила своей собственной жизнью, все яснее и яснее оформляя ее. В деньгах недостатка не было. Тираж перевалил уже за двадцать тысяч и неуклонно рос по мере продвижения немцев на восток. Подписки не было, но не было и остатков от продажи розницы как в городе, так и в районах. Продавцы расторговывались с молниеносной быстротой и требовали еще. Читатель буквально рвал у них газету, особенно когда в ней начали появляться разоблачения злодейств Сталина и его клики: убийство Аллилуевой, истребление «ленинской гвардии», гибель Мейерхольда и т. д. Брянцев завел даже постоянный отдел «Тайны кремлевских владык» и хотел увеличить тираж, но Шершуков запротестовал:

— Бумажку, бумажку экономить надо, Всеволод Сергеевич! Пока что мы советским наследством живем, а как кончится — тогда что? Немцы-то, конечно, обещают. Но время военное, свой запасец вернее.

В том же темпе рос и коллектив сотрудников. Первыми появились две женщины, по странной случайности однофамилицы: Зерцаловы. Одну из них, что моложе, звали Женей, другую Еленой Николаевной. Появление Жени носило

необычный характер. Увидав в газете заметку за подписью Е. Зерцалова, она, со свойственной ей экспансивностью решила устроить скандал за присвоение ее фамилии и инициала, явилась к Брянцеву и в самом агрессивном тоне потребовала объяснения. Тот вместо возражений вызвал через Дусю Елену Николаевну Зерцалову и представил их друг другу.

— Как видите, «Е. Зерцалова» совершенно реальна и имеет полное право на подпись своей фамилии и инициала.

Но дальше фамилий и инициалов сходство не шло. Во всем остальном Зерцаловы были полными антиподами.

Женя — всегда кипящий котел противоречий и неожиданностей: училась в четырех вузах — не кончила ни одного; была три раза замужем, всегда счастливо, но в наличии ни одного из мужей не оказалось; состояла до войны в комсомоле, но до скрежета зубов ненавидела все формы давления коллектива на индивидуальную личность; по происхождению была кабардинкой и вместе с тем пламенной русской, всероссийской патриоткой. Говорить просто и спокойно она абсолютно не могла и не умела: даже прося у Котова карандаш, который у нее постоянно ломался, она вкладывала в просьбу столько трагедийности, что, казалось, дело идёт не о тривиальном предмете, а, по меньшей мере, о револьвере для рокового выстрела. Но говорила она безостановочно и беспрерывно. Всегда спокойный, уравновешенный Котов, в помощь которому она была назначена литературной правщицей, к концу первого дня ее работы, нарушив свою обычную методичность, ворвался к Брянцеву.

— Уберите, немедленно уберите от меня этот «непрерывный поток» или газета не выйдет сегодня!

— Что она, не годится? Не умеет грамотно править?

— Нет, все это прекрасно. Очень культурна, знает и чувствует язык, но язык! Язык… — схватился Котов за голову.

— Ничего не понимаю! — оторопел Брянцев. — Сами говорите: знает язык и сами за голову хватаетесь!

— Этот вот ее язык. Этот! — и всегда сдержанный Котов вдруг высунул до отказа свой собственный язык, ткнув даже в него пальцем для ясности. — Этот!

В результате такой пантомимы Женю отсадили в отдельную комнату, благо пустых помещений осталось от старой редакции много. Материалы туда от Котова носила Дуся и каждый раз, выходя, повторяла:

— Скаженная!

Другая Зерцалова, Елена Николаевна, была совсем иного склада. До прихода немцев рядовая учительница языка и

литературы, не очень-то преданная своей профессии, с переменой политического климата она разом преобразилась. На стене ее скромной комнаты появилось пожелтевшее фото папаши, очень внушительного вида действительного статского советника, при всех «станиславах» и «аннах»; стыдливо оголенная прежде лампочка под потолком обрядилась в пышную юбку палевого шелка, а сама Елена Николаевна совершенно неожиданно для своих дворовых соседок заговорила по-немецки и по-французски. Брянцев порекомендовал ее немецким офицерам, желавшим учиться русскому языку, и комната Елены Николаевны превратилась в настоящий салон, приняв в свое лоно, реквизированное в опустевшей еврейской квартире пианино. Теперь по вечерам в ней звучала «Лунная соната», хотя за обедом Елены Николаевны и двух ее детей была лишь картошка без масла.

В редакции Брянцев поручил ей отдел театральной критики. Городской театр уже возобновил работу, а кроме него, в бывших клубах открылось несколько кабаре, делавших полные сборы. Елена Николаевна приносила рецензии, написанные в стиле симфоний Андрея Белого, и если они появлялись в газете, то прорецензированным в них артистам приходилось долго разгадывать: что же, собственно говоря, о них сказано — похвалили их или обругали?

Случалось по-иному: войдя к Брянцеву, Елена Николаевна устало опускалась в самое спокойное кресло и вынимала из сумочки несколько смятых листков.

— Вчера была премьера. Островский. «Без вины виноватые». Тускло. Серо. Как все это далеко, бесконечно далеко ушло от нас, — тихо и печально говорила она, делая листками волнистые жесты, — я не могла. Понимаете, не могла писать о спектакле, хотя Кручинина была очень хороша, глубока. Но мой дух искал иного. Вот послушайте:

Интимный круг очерчивает лампа
В вечерний час на письменном столе,
Мерцает отблеск в бронзе старой рамы
И гонит тень неслышно по стене.
Я вижу за столом склонившиеся плечи,
Знакомый профиль, сдвинутую бровь.
И этот зимний, заснеженный вечер
С тобой, как раньше, провожу я вновь.
Бегут минуты, радостью гонимы,
И нежность милая суровых карих глаз
Плетет узор мечты неуловимой

В дуэте стройном четких, ясных фраз.
Рояль открыт, но страшно мне коснуться
Зовущих клавиш трепетной рукой.
Боюсь, что звуком чувства разомкнутся
И не снесу могучий их прибой…

Брянцев, подчиняясь неизбежности, слушал, а, прослушав, спрашивал:

— Ну, а рецензия когда же? Ведь премьера городского театра. Надо же!

— Когда-нибудь потом, завтра, послезавтра… Когда снова врасту в эти будни, погружусь в них. — Устремляла в неведомую даль глаза Елена Николаевна. — Вы черствый, сухой человек, Всеволод Сергеевич, методист, педант.

Брянцев делал вид, что углублен в корректуры, и Елена Николаевна, просидев молча еще несколько минут, уплывала, вернее, испарялась из кабинета, забыв листки на его столе.

— Вот тебе тоже накопленный подсоветским прессом пар из души прет, — говорил Брянцев, рассказывая Ольгунке об этих визитах, — верно, из самой души. Вполне искренно, в этом не сомневаюсь. Только, знаешь, подташнивает от такого пара. Но в одном ты права: много людей вскрывается сейчас, откупоривается. Подобного рода пары сравнительно редки. А вот иное. Послушай сказочку: жил-был бухгалтер. Самый обыкновенный, каким бухгалтеру плодоовоща и быть полагается. Разве только что не пил по-бухгалтерски. А в этом бухгалтере жил некто другой. Какое-то довольно гармоничное сочетание Анатоля Франса с Дорошевичем. От первого — изящный, отточенный скепсис, переходящая в сарказм тонкая ирония. От второго — острое проникновение в окружающее, темперамент. Читаешь ты фельетоны «Змия» в газете? Я о нем и говорю. Вскрылся человек. Откупорился. И из него клубами накопленный пар повалил. Едкий, правда, щипучий до кашля, но такой тоже очень нужен. Крепкие кислоты разъедают ржавчину.

— А много этой ржавчины на людях наросло, много.

— И не по их вине. Вот другой пример такого же откупоривания: явился к нам некто Вольский. Сам он — сын протоиерея Вольского из Михайловской церкви, но жил отдельно, даже отрекался в печати от своего отца. Вероятно, и в партии состоял. Приехал он из Ленинграда, побывал там в осаде, даже ранен был. Вывезли по Ладожскому льду. В Ленинграде работал в тамошнем отделении «Правды», значит, если не партиец, то уж до кончиков ногтей проверенный. И что же, является к нам,

предлагает свои услуги. Я ему поручил самый трудный отдел — информацию из районов. Никакой связи у нас с районами не было. За десять дней он сумел создать такую сеть, что перед большой газетой было бы не стыдно щегольнуть ею. Работник замечательный и работает на совесть, с действительным, а не наигранным энтузиазмом. Видишь, какие метаморфозы теперь в самой жизни происходят? Овидию не придумать!

— И это в порядке вещей, — безо всякого удивления отозвалась Ольга, — после кори, после скарлатины сходит больная, омертвевшая кожа. И тут то же самое. Та же ржавчина. Мишка как поживает?

— Я его редко вижу. Ведь он в типографии работает. Недавно, правда, удивил меня. Ведь теперь, когда починили радиостанцию, у нас свои ежедневные передачи идут. Я поручил их нашей молодежи. Ничего, хорошо справляются. Так вот, ловит меня в типографии Мишка, с ним Броницын и еще какие-то студенты. Говорят:

— Всеволод Сергеевич, надо по радио уроки хороших приличий давать, всяких там манер.

— Да что вы, друзья, — отвечаю, — хотите Германа Гоппе с его учебником хорошего тона воскресить? Кому это надо?

— Всем очень надо, — отвечает Мишка. — Ребята наши часто просят. Стыдно бывает перед немцами. А как надо ее — мы сами не знаем. Откройте передачи, Всеволод Сергеевич!

— Читать эти лекции некому.

— А вы сами?

— Мне некогда, — говорю.

— Знаешь, кому предложи, — разом загорелась Ольгунка, — Боре Гунину, сыну Елизаветы Петровны. Два хороших дела заодно сделаешь: и им, молодняку, — пойми ты, что они на самом деле хотят, ведь молодость самолюбива. И его оживишь, подходящее дело ему дашь.

Брянцев рассмеялся. Перед ним живо встала редкостная в советской жизни фигура замороженного сноба давно ушедших времен — Бори Гунина, здорового сорокалетнего мужчины, нигде «из принципа» не служившего, писавшего с буквой ять и жившего исключительно за счет работы его старухи-матери. А эта мать, воспитавшая его в духе нерушимых традиций древнего рода Гуниных, безмерно гордилась его снобизмом.

— Верно! Хорошо придумала, Ольга! Как раз для него дело. Однажды, придя ясным после ночного заморозка утром в редакцию, Брянцев увидел сидящего за его столом немецкого офицера в круглых роговых очках.

При его входе офицер встал и отрекомендовался по-русски,

почти без акцента:

— Доктор Шольте, Эрнест Теодорович. Начальник «абтейлюнга пропаганды „К“», будем работать вместе.

«Вот оно, наконец, настоящее начальство пожаловало, промелькнуло в голове Брянцева, ну, что ж, пора».

Офицер пересел на стул перед столом, уступая Брянцеву его место.

— Господин хауптман, — начал Брянцев, взглянув на его погоны.

— Господин доктор, пожалуйста. Или лучше Эрнест Теодорович. Я ведь уже давно в России. Я работал четыре года в информационном бюро при нашем посольстве в Москве.

— Видели вы нашу газету? — чтобы начать разговор протянул немцу Брянцев лежавший на столе свежий номер.

— Да, я приехал еще вчера и успел познакомиться с нею. В общем, неплохо, но есть и пробелы. Слаба, например, информация.

— Нет источников.

— Это понятно. Завтра приедут остальные сотрудники «абтейлюнга» и привезут наше радио. Будем получать все новости прямо из Берлина, А сегодня я хотел бы познакомиться со всеми вашими сотрудниками. Назначим хотя бы семь вечера здесь или где вам удобнее. Но созовите, пожалуйста, всех. Это не собрание, а интимная дружеская встреча.

Немец встал и, округло выпятив локоть, протянул руку Брянцеву, каблуками не щелкнул.

— Не военный, — отметил тот в уме — и вслух: — Все будет сделано, Эрнест Теодорович.

* * *

— Ну-с, господа, каковы ваши первые впечатления от знакомства с новым, на этот раз уж, кажется, постоянным начальством? — обвел Брянцев глазами заполнивших всю его комнату сотрудников.

Для первой встречи с доктором Шольте он избрал свою квартиру. «Меньше официальности, меньше сходства с советскими обычаями — больше интимности, а возможно и откровенности»? — думал он. «Вероятно, и новый немец хочет того же», Брянцеву с первого же взгляда, с первых же слов понравилась корректная сдержанность нового начальства, гармонично сочетавшаяся в нем с ясностью, твердостью воли. Это чувствовалось в каждом слове Шольте, в каждом его жесте.

Вечером то же впечатление усилилось. Новый начальник не делал никаких «деклараций программы», не «намечал путей», а лишь рассказывал сначала о своей работе в Смоленске, где выполнял те же обязанности и организовал не только выпуск трех газет — общей, крестьянской и молодежной, — но и литературно-публицистического «толстого» журнала.

У Котова вспыхнули глаза: в его столе лежала рукопись уже законченного романа.

— В вашем журнале печатали и стихи, лирику? — спросила Елена Николаевна по-немецки.

— О, конечно, — ответил Шольте по-русски. — В журнале стихи необходимы.

Вольский принес с собой несколько бутылок церковного вина, добытого у отца-протоиерея, и когда оно, подогретое, — по вечерам уже холодало, — появилось на столе, разговор еще более оживился, газетно-журналистические темы отошли на второй план. Шольте как бы мимоходом, без нажима, расспрашивал сотрудников о них самих и попутно рассказывал о себе. Оказалось, что в детстве он был отчаянным сорванцом и драчуном, остепенился лишь в Кенигсбергском университете, знаменитом кладезе знаний Иммануила Канта, который блестяще окончил; знает пять языков и что теперь у него жена Екатерина Федоровна и два сына — Петр — Петька и Генрих — Андрюшка, что дома вся семья говорит только по-русски и что он всесторонне изучает Россию, как полагается доктору немецкого университета, специализирующемуся в определенной области. Стало совсем уютно.

— Ну, так как же, господа? Кто хочет высказаться? — сбился Брянцев на привычный советский тон.

— Славный парень! Симпатяга! — выкрикнул из угла Зорькин.

— Дело, по-видимому, знает хорошо, — уклончиво и осторожно добавил Котов. — Перспективы рисует широкие.

— Как вы думаете, он нацист? — вместо ответа, собрав свою мефистофельскую бороденку в кулак, спросил Змий.

— Насколько я знаю, в армии нет партийцев, — ответил Брянцев, — вступая в нее, они автоматически выбывают из партии.

— Нацист! Безусловно, нацист! — послышался голос Ольги из кухонки, где она была занята хозяйственными обязанностями. — Вы заметили, что он промолчал на предложение Вольского усилить русскую национальную направленность газеты, противопоставить ее советскому интернационализму. И на твое предложение, Всевка, ознакомить русского читателя с идеями

«Майн Кампф» тоже ничего не ответил. Почему это? Потому что он, хоть и без партбилета теперь, но нацист.

— Казалось, должно бы быть наоборот, — возразил Котов, — нацист должен стремиться пропагандировать «Майн кампф».

— Вы не читали, а я читала эту мерзкую книгу, — выскочила из двери Ольгунка, — она полна ненависти и презрения к русским, призывает к их полному порабощению. Если перевести «Майн кампф», то все русские разом ринутся бить немцев даже под знаменем Сталина! Удивляюсь, что советская пропаганда до сих пор этого не сделала. А доктор ваш — нацист. Только умный, не дуботолк. Вот увидите, что я права!

— Словом или двумя словами, резолюция общего собрания: поживем — увидим! — встал со стула Брянцев.

— Ничего другого нам, пожалуй, и не остается, — произнес, скривив губы, Змий.

Он встал, аккуратно надел свою сильно потрепанную шляпу и, пожав руку Ольгунке, направился к выходу. За ним повалили остальные.

Прибывший вскоре абтейлюнг пропаганды «К» удивил Брянцева своим составом. В нем были счетоводы-«цалмейстеры», техники типографских машин, радиотехники, неизменный вахтмейстер, но ни одного литературно-газетного работника, ни одного переводчика. В последнем, впрочем, не было и нужды. Почти все прибывшие говорили по-русски, а некоторые даже жили прежде в России. Среди таких всех русских умилял и вместе с тем смешил коротконогий, толстенький бухгалтер, рассказывавший каждому, как прекрасно он жил в Вологде, куда его интернировали в начале первой мировой воины.

— Я служил там бухгалтером у господина Собакина, очень богатого и уважаемого лесоторговца, — почти с благоговением перед этим Собакиным повествовал он и разом захлебывался восторженным пафосом: — рябчики! Тетерки! А рыба, рыба… Налим с вот такой печенкой… Стерляди… О, это была чудная жизнь! — вздыхал он. — Россия прекрасная страна. Была. Была прекрасная, — уже со слезой в голосе кончал он свою повесть.

Зато другой немец, рожденный в России, сын известного петербургского кондитера, носивший даже чисто русское имя, не только не воспевал свою фактическую родину и людей, среди которых он правел свое детство, но всеми силами, при каждом удобном случае, старался унизить русских, подавить, подчинить себе, как завоевателю и представителю расы господ.

— Национал-социалистический комсомолец, — разом охарактеризовала его Женя. — Точь-в-точь как наше твердокаменное сталинское поколение! Никакой разницы! Между

всеми партийцами нужно ставить знак равенства: нацисты, коммунисты, фашисты — все из одного теста!

Фактически всей пропагандой в печати, а позже и другими ее видами, занимался один доктор Шольте. Другие сотрудники «абтейлюнга» вели хозяйственную работу, главным образом, пожалуй, по части самоснабжения. Перепадало и русским от добытых ими благ: свиней, гусей, масла из окрестных колхозов.

Но Шольте работал, как машина, и странно: приказов от него не слышалось; даже свои мысли и соображения он редко высказывал в категорической форме, но его твердая, властная рука чувствовалась всюду. Весь основной материал он просматривал до его сдачи в типографию, но сам не правил, а лишь указывал Брянцеву на необходимость тех или иных исправлений. Делал это он мягко, почти в дипломатически корректной тональности, базируясь всегда не на своем личном мнении, но ссылаясь на общие установки немецкой пропаганды. Военные сообщения и военные обзоры, которые компоновал сам Брянцев, проходили всегда без урезок, а нередко даже с ценными, интересными добавлениями от доктора Шольте. Так же было и с международной информацией. Здесь Шольте и Брянцев полностью сходились в отрицании демократии и антипатиях к Англии и Франции. Но с русским идеологическим материалом дело обстояло иначе. Шольте решительно отвергал все попытки проникновения в будущее освобожденной России:

— Война еще не окончена, — говорил он в этих случаях, — все подобные прогнозы или еще хуже того — призывы к каким-либо политическим формам не что иное, как карточные домики. Они излишни, — и потом несколько иронически добавлял, — будущее известно только Провидению, и немножко кое-кому в Берлине. Только.

Почти так же было и с экскурсами в политическое прошлое России. Ко дню Октябрьской революции Брянцев дал суховатую, но рельефную статью, построенную на сравнении экономических показателей царской и советской России. Это сопоставление говорило, конечно, в пользу первой.

— Не надо этого, — неожиданно для автора отложил статью Шольте. — Дайте лучше популярное изложение философской антитезы материализму-марксизму. Это будет более в тоне нашей общей пропаганды и это нужнее.

Решительность его тона показывала, что спор будет излишним. Все сопряженное с русской монархией, даже простое упоминание о ней Шольте неуклонно вытравлял, мотивируя это непопулярностью монархической идеи в среде воспитанных советами поколений.

— К чему копаться в костях мертвецов? Будем говорить лучше о живом и насущном.

Брянцев сначала объяснял это общей антимонархической направленностью нацизма, но потом стал думать иначе.

«Вы очень умный немец, герр доктор, мысленно говорил он Шольте, и вы действительно хорошо ознакомились с Россией, поскольку это вообще возможно. Вы прекрасно понимаете, что идея русской монархии неразрывно связана с представлением о единстве России, что, тронув один конец этой цепи, мы, безусловно, вызовем движение другого. А это противоречит вашей карте, где граница России проходит севернее Курска».

— Вы хотите исключить из кругозора газеты все русские национальные вопросы, — сказал он раз Шольте.

— О нет, совсем нет! Наоборот, — широко открыл тот под рамой очков свои несколько наивные, как у всех близоруких, глаза, — наоборот, мы хотим расширить, углубить эту сферу. У вас столько прекрасных тем: русская религия, русская культура, литература, искусство. Мусоргский, Чайковский, Лесков, Толстой! Наконец, ваше монастырское старчество и другие, чисто национальные духовные феномены. Пишите, пишите о них! Только не надо о Достоевском, — болезненно сморщился он, — это моя личная просьба. Больной, несчастный, жалкий человек. Зачем писать об уродстве? Но вся великая русская культура перед вами.

— Национальная по форме и… какая по содержанию, герр доктор? — иронически спросил Брянцев, повторяя формулу Сталина.

— О, вы не хотите меня понять, — мягко пожимал ему локоть дипломатический журналист, — вы просто упрямитесь. Вы хотите, хотите видеть в немце, в каждом немце, только врага и насильника. Это остаток влияния анти-немецкой пропаганды коммунистов и их предшественников на этом пути — русских царей. Поймите, что газета, особенно в напряженной военной обстановке, должна не только воспитывать, призывать, но и развлекать, давать людям отдых от тяжести действий. Почему вы не печатаете ребусов, крестословиц, юмора?

— Смеяться будут. Только не над юмором, а над газетой и нами. Не того ждет русский читатель от своей свободной газеты. Не мерьте его немецкой меркой.

Шольте недоверчиво пожимал плечами.

Но, несмотря на такие размолвки, между ним и Брянцевым установились и крепли с каждым днем прямолинейные и даже дружеские отношения. Для них было, по молчаливому соглашению обоих, отведено особое время. По окончании

рабочего дня в редакции, когда Котов верстал в типографии очередной номер, Брянцев стучался в комнату Шольте — тот поместился в редакции, заняв одну из пустующих комнат и уютно устроившись в ней. Доктор встречал его без кителя, в подтяжках и шерстяной фуфайке. Казалось, что вместе с «фельдграу» он сбрасывал с себя и весь свой деловой, служебный облик. Перед Брянцевым появлялся простой, обыкновенный немецкий интеллигент — добродушный, педантичный и несколько примитивный. Вернее слишком прямолинейный, негибкий, немецкий идеалист. Заботливый семьянин с неизменными фото своих близких на столе и в кармане. Появлялась бутылка ликера и две крохотные рюмочки. Даже лампа начинала светить по-другому — мягко, уютно.

Закуривали каждый свое: Брянцев — толстенную крученку самосада, Шольте — немецкую сигарету, аккуратно перерезанную пополам ножничками, лежавшими тут же на столе.

Шольте клал свою, поражавшую Брянцева белизной, руку на раскрытую перед ним русскую книгу и начинал разговор.

— Вы помните, конечно, «Человека с улицы» Куприна? Я сейчас читаю этот рассказ. Потрясающе! Какой огромный талант и как дурно он применен! Да, дурно, — отвечал Шольте на вопросительный вздвиг бровей Брянцева, — очень дурно. Зачем обнажать самые темные, самые гнусные качества людей? Зачем выливать на читателя целое море грязных, зловонных помоев? Каков может быть результат? Читатель, прочтя вот такого «Человека с улицы», подумает: «Да, и во мне тоже много подобной грязи, но все-таки я не из худших, следовательно, и совершенствоваться мне не нужно»; или еще хуже: «Все кругом мерзавцы, значит и мне можно, даже нужно быть мерзавцем». Не так ли? Плохую, очень плохую услугу оказал вам, русским, ваш Гоголь, начав эту обличительную школу! Его «свиные рыла» стали образцами поведения среднего человека. Результат налицо.

Но Брянцева разговор о литературе не интересовал, и он старался перевести его на рельсы политической информации, выудить у Шольте возможно больше. Это удавалось редко. Доктор дипломатически уклонялся от прямых ответов, но если уж начинал отвечать, то говорил откровенно и прямо, не прячась за пропагандные ширмы.

— Почему вы не распускаете колхозов в занятых областях? — спрашивал Брянцев. — Неужели ваш «остминистериум» не понимает, как укрепил бы этот роспуск положение армии? Ведь партизанщина была бы разом вырвана с корнем передачей земли крестьянам-единоличникам.

— А вы думаете, что это возможно? — отвечал вопросом

Шольте. — Крестьянская экономика разгромлена коллективизацией. Война довершила этот разгром. Где возьмет единоличник лошадь, инвентарь? Кто проведет размежевание? Как межевать? Надо же принять в расчет и тех, кто сейчас в красной армии и в плену. Впрочем, наш командующий фельдмаршал фон-Клейст действует в этом направлении на свой риск, разрешая общинам самим делиться, как они хотят. Временно, конечно.

— И результаты уже видны, — горячо подтверждал Брянцев. На Северном Кавказе партизаны — только засланные, чужаки. Местные крестьяне против них.

— Да, эти сведения мы имеем.

— Однако должна же существовать общая линия земельной политики в освобожденной России?

— Представьте, ее нет, — грустно качал головой Шольте. — Берлин ограничивается обещаниями расселить на вольных землях Украины миллион избыточных немецких крестьян. Он укрепляет этим себя среди бюргеров, но, конечно, не в русской среде. Мы, фронтовики, знаем, что это не решение вопроса.

— Кстати, о проектируемой вами колонизации и германизации южной России, герр доктор. Вы же хорошо знаете нашу историю, — обходил Шольте с другой стороны Брянцев.

— Поскольку я мог ее изучить, — скромно отвечал Шольте.

— Ну, так вы знаете, конечно, что германская колонизация Руси началась еще в древнее время призванием варягов и шла беспрерывно в нарастающих темпах. Ведь даже и наша национальная династия Захарьиных-Кошкиных-Романовых «вышед из прусс», не говоря уже о сплошных браках с немками в течение последних двухсот лет.

— По подсчетам наших ученых, в жилах живущих теперь Романовых русской крови лишь одна двести пятьдесят шестая часть, а двести пятьдесят пять — немецкой.

— Вероятно, это так и есть, но вместе с тем все они русские люди и по духу и даже по внешности. Похож, например, на немца Александр Третий?

— Что вы хотите этим сказать? — поднимал над очками бесцветные полукружия бровей доктор Шольте.

— Вот что: немцы непрерывным потоком вливались в русское море. Сначала северо-германские викинги, потом феодалы, далее служилая интеллигенция тех времен, ученые силы, промышленники, купцы, коммерсанты всех видов. И заметьте, это не были отбросы, отсев вашей нации. Нет. Вернее, это были лучшие ее представители, наиболее активные, смелые, работоспособные люди, — Шольте сочувственно кивал

головой, — где все они теперь? Где их потомки? — оглушал его Брянцев.

— Я вас не понимаю.

— Кто теперь все эти Шульцы, Корфы, Шумахеры, Гартманы? Эти немцы-колонизаторы? Все они русские люди, герр доктор! — с торжеством хлопал по столу ладонью Брянцев. — И к тому же хорррошие русские люди, — упирал он на букву «р», — получилось обратное: не германизация, а массовое, поголовное обрусение.

— О, это совсем другое дело! Тогда в России жила государственно, социально и культурно организованная нация, а теперь ее нет. Русский народ несет в себе преобладание женского начала, а мы, немцы…

— Знаю эту теорию, — смеялся в ответ Брянцев, — но видел сотни семей, в которых женское начало шлепает туфлей по лысине мужской. У нас даже и говорят: «Под башмаком у жены». Не обижайтесь, дорогой Эрнест Теодорович. Это так, только юмористический фрагмент. Но откровенность за откровенность: я сейчас служу вам, немцам. Знаю это, но служу честно и не изменю. Почему? Потому что уверен: служа вам, через ваше посредство, служу России, этой вот самой единой, великой и неделимой, а не к северу от Курска.

— Бредни! Мечты! — пренебрежительно ронял Шольте.

— Знаю, что пришлете вы миллион, два миллиона немцев-колонистов, — не слушая его, чеканил Брянцев, — но знаю также, что через поколение у нас добавится пять-шесть миллионов хороших, полезных русских людей. Этого мужского начала. Что ж! Дай Бог! Даже если ваши фельдфебели на первых порах туговато прикрутят гайку русскому населению, даже это неплохо: будет больше порядка и меньше прольется крови. Русской крови. Но далеко не все русские обладают такою верою в свою нацию, и ее жизненную силу. Вот почему эта карта «остминистериума» с загоном России в Азию, которая меня только смешит, — других волнует и возмущает. К чему она?

Шольте, склонив голову набок, с видом превосходства посматривал на Брянцева.

— И это говорит главный редактор газеты, профессиональный пропагандист? — с некоторым сожалением даже отвечал он. — Да неужели вы не понимаете, что пропаганда всегда требует обещаний, превышающих возможности, а иногда даже и здравый смысл? Некоторая доля демагогии необходима. Наша, а в данный момент и ваша главная опора, — это бюргер, по-вашему, мещанин, кулак: крепкий крестьянин, мелкий торговец, кустарь-ремесленник, средний интеллигент. Они дают

деньги, они дают солдат, они — ядро современного государства. Но этот бюргер хочет не только давать, но и получать. Это справедливо, — обвел круг своими белыми ладонями Шольте, — следовательно, мы должны обещать ему максимальную награду, увлекать и порой развлекать, лаская его самолюбие. Вот, например, — поднял он со стола немецкую газету с огромным клише на первой странице, — германский флаг на вершине Эльбруса! Не только фельдмаршал фон-Клейст, но и я и вы прекрасно понимаем, что водружение этого флага — пустяк, ничто с военной точки зрения! Это не победа. Шесть наших спортсменов совершили горный подъем, обязательный для получения вашего значка ГТО, и заняли метеорологическую станцию с тремя сотрудниками. Это подвиг? Конечно, нет. Для нас. Но бюргера это радует. Даже больше, чем прорыв укрепленной линии Сталина. Укрепленная линия для него абстракция, туманность, а здесь цветная картинка из иллюстрированного журнала. После обеда бюргер хочет пить пиво, курить сигару и почесывать себе мозги этим журналом.

— Так же как наши предки, крепостники-помещики, заставляли сенных девок чесать себе пятки на ночь.

— Хотя бы.

— Ну, дорогой доктор, они и дочесались! — раздраженно вставал Брянцев со стула.

Наутро, после такого разговора, доктор Шольте всегда становился особенно официальным и подчёркнуто замкнутым.

— Законсервированный олимпиец, — шипела ему вслед Женя.

ГЛАВА 20

От еще сырых по скрепам кирпичей густо валил белый пар. Печка горела ярко и весело, потрескивала, словно сама радовалась снопикам выпрыгивавших из нее золотистых искорок.

— Ишь, — прищурился на нее своим единственным глазом Вьюга, — оказывается ты, Андрей Иванович, не только что под печками в земле сидеть, а и класть их мастер. За два часа всего прямо заводскую домну сварганил. Кланяйся, благодари господина инженера, Арина Васильевна!

— И то, — распрямилась над печкой женщина, оправила платок и, не спеша, в пояс поклонилась сидящему у стола Андрею Ивановичу, «подземельному человеку», как звали его теперь на Деминском хуторе, — и то, сейчас вот на ней блинков спеку и за поллитровочкой сбегаю. Знаю я вас. — Широко улыбнулась она всем своим разузоренным поздним бабьим цветением лицом.

Вьюга поскреб ногтями ржавчину на железной трубе, ожег пальцы и, послюнив, подул на них.

— Кусается. Ну, продолжай свой доклад, Подземельный Житель. Значит, у вас дело на ходу?

— Жалобиться да в ошибках сознаваться не приходится, — самодовольно погладил свежевыбритый подбородок Андрей Иванович. Он выглядел теперь совсем иным, чем при выходе из своего затвора: раздобрел, округлился, вялая, бледная кожа окрепла под свежим загаром, расправились морщины, разошлись отеки. — Середа, он, конечно, человек не нормированный, к тому же и пьет сверх нормальности, однако в части энтузиазма незаменимый. Опять же и с военной техникой ознакомлен. Так вот, значит, мобилизовал он барсуковских, татарских. Наших мало, сам понимаешь: на Деминке всего он, я да кладовщик. Без шума, без калмагала повез вечерком к Темнолесской, будто в помощь картошку копать, так он немцам разъяснил. Там свои уж готовы, молчком, по одному, к лесу. Окружили и ликвидировали всех солдатишек до одного. Тринадцать человек, Середа говорил. Вот и учти ситуацию: в Темнолесской ведь близко к тремстам дворам, а всего-то тринадцать дезиков какую панику там навели? По домам, по базам шастают, хлеба давай, самогона, курей, говядины. Женщин оружием пугают, ребят на возрасте к себе силком тянут.

— Что ж, темнолесские довольны теперь? Что гутарят?

— А об ком им плакать? Конечно, сочувствуют и шумок дают про «Вьюгину сотню». Пошел теперь об ней разговор.

— Откуда об имени моем дознались? — остановился

ходивший по комнате Вьюга.

— От него же, от Середы: ненормированный он человек. После того два дня гулял в Темнолесской. Хвастал, конечно, по пьяному делу.

— Не стоило бы, — нахмурился Вьюга, — не следует до времени обнаруживаться.

— Шила в мешке не спрячешь — развел руками Кудинов, — чего доброго, а языков у нас хватает.

Из-за запертой двери внутрь дома донесся звук удара железом о железо. Вьюга прислушался. Еще два таких же удара.

— Наши! — отпер он дверь, через которую ворвался клуб перемешанных со льдистой крупой снежинок. — Сейчас наружную им отопру, — прихлопнул он за собой дверь и почти тотчас же открыл ее, впуская Мишку, Броницына и Таску.

— Вот и зима пришла, — выдавил из себя, вытирая о брюки мокрые руки, Таска тут же расчихался и закашлялся. Он был в одном пиджаке, заколотом у ворота английской булавкой. — Грипп уже подхватил!

— Какая там зима. Обожди, через недельку еще фиалки зацветут. Я эти места знаю, — посмеивался, морща рубцы вокруг пустой глазницы, Вьюга. — А болезнь твоя от одной стопки пройдет. Вот барахлишко потеплей справить тебе надо. Это действительно.

— Промфинплан мой еще не утвержден, — сквозь кашель и чох квакал студент. — Ассигновки еще не спустили. Тьфу ты, зараза! — вытер он рукавом нос и губы.

— Плохо о тебе твоя Галка заботится, — щуря веки, цедил сквозь зубы Броницын, — могла бы у немцев выпросить.

— Она только по части снабжения питанием может, — снова расчихался Таска.

Вьюга достал из унаследованного от прежних владельцев квартиры застекленного буфета полулитровку, ловко открыл ее лихим ударом под донце, налил взятую оттуда же тонкого стекла стопку и подал ее Таске.

— Хвати! Согреешься — кашель отпустит.

— Да подождали бы малое время, блины подоспели бы, за стол бы, как люди, сели, — напевно причитала разрумянившаяся у печки Арина.

— Нужны ему твои блины, — не глядя на бабу, совал Таске стопку Вьюга. — Говорю — пей духом!

— И блины тоже нужны, — принял у него стопку студент, поймал перерыв в кашле и опрокинул ее в широкий зубастый рот. — Блины дело не вредное.

— Хоть так закусите, — подала ему, держа пальцами за край,

толстый мужицкий блин Арина. — А то, как же без закуски? По-человечески надо.

— Ладно, ты там по-человечески. Свое дело сполняй и кшы! — цыкнул на нее Вьюга. — Вот что, ребята, Андрей Иванович нам из района приятное извещение привез. Не спят там. Под Темнолесской советских партизан ликвидировали. Дочиста! Не дал им пустить корней главком Середа.

— А мы спим, — огрызнулся Броницын, — генерала Книгу прошляпили самым позорным образом.

— Учитывай, пацанок, людское состояние. В колхозах все, как один, супротив советов. К тому же все соседи издавна: от одного другому доверие. А в городу разброд. Полагаться на людей с оглядкой надо. Квелый народ, двоедушный. На слове одно, а на деле совсем обратное оказывается. К тому же и немцев здесь много. Их тоже остерегаться приходится. Однако хозяйка на стол собрала. Седайте, братва, кто на чем сумеет.

А сесть на самом деле было нужно суметь. В комнате вразброд стояли три мягких кресла-«гиппопотама», стул со сломанной ножкой и какие-то ящики. По спинке одного из кресел, стоявшего незаметно в углу, за буфетом, струились волны сивой бороды. За ними, почти незаметная в них, тонула в недрах «гиппопотама» сжавшаяся в комочек фигурка отца Ивана.

Мишка потянул к столу другое кресло. Броницын подхватил его сбоку.

— Поместимся оба.

Сели и остальные. Арина стала у притолоки, подпершись локтем в горсточку. Из-за двери опять послышался глухой звон железа.

Новый, введенный Вьюгой, гость был одет в ладно пригнанную русскую шинель, с кобурой на широком офицерском поясе и белой полицейской повязкой на рукаве. На плечах его тускло поблескивали окропленные талым снегом серебряные казачьи погоны.

Вошел он молодцевато, самоуверенно постукивая новыми щегольскими сапогами, неторопливо оббил с них у порога прилипший снег и, повернувшись к сидевшим за столом, отчетливо, свободным движением руки отдал им честь по русскому образцу. Потом так же неторопливо поздравил с новосельем Арину и, сняв фуражку, подошел под благословение к неподвижному в своем углу старому священнику.

— Не поймет, чего просите. Совсем как малое дитя стал. Ложку возьмет, а до рта донести забывает, — тихо говорила, идя за гостем, Арина. — Благословите его, отец Иван. Он — человек хороший.

По волнам сивой бороды прошел какой-то трепет, тусклые глаза старика осветились, он поднял руку и начертал ею в воздухе крест.

— Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Прости тебе Господи кровь пролитую.

— Провидит, — со страхом шептала побледневшая Арина. — Предрекает вам, Петр Антонович, храни вас Господь.

За столом притихли. Андрей Иванович перекрестился, за ним Вьюга и Мишка.

На лице принявшего благословение, истово поцеловавшего высохшую старческую руку Петра Антоновича, когда он повернулся к столу, играла подчеркнуто беспечная улыбка.

— Что примолкли, господа офицеры? Словечка, одного только словечка испугались? А когда вы саму ее, милочку, увидите, тогда что?

— Не оробеем, господин директор, виноват, господин есаул, — злобно отпарировал Броницын.

Пришедшего знали все, кроме Кудинова. Он был заметной фигурой в городе. Петр Антонович Степанов появился в нем лет шесть назад, работал сначала учителем математики, потом быстро выдвинулся в директора школы десятилетки, прекрасно поставил ее и за год до начала войны был назначен директором нового ремесленного училища с интернатом, очередного «модного» мероприятия правительства. Здесь он тоже имел успех. Обком хвастливо щеголял достижениями Степанова перед приезжавшими из Москвы знатными партийцами.

Всех удивляло то, что Степанов, делая уверенно и, как казалось, легко блестящую советскую карьеру, оставался беспартийным. Болтали об этом много и, конечно, подозревали тайную связь его с НКВД. Некоторые из педагогической среды побаивались работать под его рукою, но большинство шло к нему охотно: он умел обеспечить работников жизненными благами, в силу чего отбирал себе лучших, а на шепоты вокруг себя не обращал никакого внимания.

— Издыхающие раки в ведре тоже «шепчутся», и когда «перешепнутся» — дохнут. Те, кто этого себе желают, шепчитесь, а кто хочет жить, — работайте. Хорошие работники необходимы самой партии. Смею считать себя в их числе. Дальнейшее комментариев не требует.

Ученики ремесленного училища были выведены из города пешком утром, в день его сдачи. Ребят конвоировали энкаведисты и, по так и не узнанной причине, перестреляли их большую часть из пулеметов, отойдя всего километров двадцать от города.

Но Степанова с ними не было. В эту ночь он с женою исчез,

чтобы вечером того же дня появиться в немецкой комендатуре и предложить там свою службу.

Теперь городская интеллигенция была поражена его новым обличием: энергичный и деятельный советский активист Степанов оказался кадровым есаулом Уральского казачьего войска, уцелевшим при разгроме Дутова, годы скрывавшимся у киргизов в песках, и возвратившимся в советский мир под своей настоящей фамилией. В немецкую комендатуру Степанов представил свой послужной список царской армии и несколько других, подтверждающих документов. Там, конечно, за него схватились и назначили начальником полиции первого городского района.

Снова зашептали:

— Засланный…

Некоторые завистливо восклицали:

— Вот это так ловкач! Как завернул?!

Степанов же и здесь, на новом месте, показал себя образцовым организатором и был на лучшем счету у немцев.

— Нет, робеете, господа студенты, теперь уже робеете, — твердо, но не запальчиво продолжал Степанов, — почему у меня в полиции ни одного вашего нет? Ведь голодаете, побираетесь, а я хороший паек даю, в столовой сытно кормлю, обмундирование новое, студентам исхитрился бы и еще чего добавить. Мне нужны дельные интеллигенты. Учитесь у немцев: у них доктора философии полицейскими инспекторами служат. А вы не только что крови, но и неизбежной в нашей работе грязи боитесь. Эх, вы, интеллигентные белоручки!

— Виселица на базаре, вот что нас отталкивает. Операции эти ведь русская полиция обслуживает, — ворчал Таска.

— За три месяца на ней повисло только двое: один вырезал семью в шесть человек, считая детей, другой ограбил и изнасиловал, — постукивал каблуками, усевшись на ящике, Степанов. — Стоило? На мой взгляд, стоило. Жаль только, что мало. Немцы не дают, а я бы еще десятков пять из сидящих у нас под замком вздернул. Кстати, вот тебе, дядя Ваня, подарочек на новоселье, — вынул Степанов из кармана шинели два пистолета, — при каждом две обоймы. Но патронов мало, всего один коробок. С пистолетами плохо — немцы сами расхватывают, зато винтовок у меня сейчас сколько хочешь! Автоматы и гранаты тоже есть. Получили два грузовика трофеев из-под Грозного. Завались теперь этим добром. Присылай сегодня же к складу своих ребят, как стемнеет, — сколько хочешь выдам. И сопровождающего по городу дам.

— Вот за это спасибо, друг, — схватил в обе руки пистолеты

Вьюга. — Это услужил! Нуждаемся. В городу винтовка ни к чему, в карман ее не сунешь. Теперь дело веселей пойдет. Спасибо и за прочее. Сегодня же у тебя наши будут, в ночь транспортируем на базу, сколько подымем, — он любовно отер оружие рукавом и положил его на полку буфета. — Ты, Арина, не ошибись случаем, заместо ложек к борщу этого гостям не положи, — подморгнул он единственным глазом бабе.

Броницын, завистливо смотревший на пистолеты в руках Вьюги, перевел на Степанова холодный, почти враждебный взгляд.

— А известно ли почтенному начальнику полиции, как говорят в палате лордов, что в городе действует подпольная советская радиостанция? — холодно-насмешливо спросил он офицера.

— Известно, — тоже холодно, но спокойно и с достоинством ответил тот.

— Да? — с нарочитым удивлением вскинул брови студент. — Ее местонахождение и работающие на ней, может быть, тоже известны?

— Тоже известны, — так же спокойно, почти небрежно промолвил Степанов.

— Тогда разрешите спросить господина начальника полиции, что он намерен предпринять?

— Извольте, выждать некоторое время, а потом ликвидировать всю банду при помощи вашей уважаемой организации. — Насмешливо, подражая тону Броницына, раздельно проговорил Степанов. — Объясню почему: выжидать надо, потому что работает на ней техник, мелкая рыбешка, а над ним стоит неизвестная нам щука, и эта щука рано или поздно выявит себя в поле нашего наблюдения. Это поле — именно радиостанция.

— Рано или поздно. Первую часть формулы с успехом можно отбросить. Поздно будет.

— Наблюдение мы ведем своими силами, не сообщая немцам, — пропустив мимо ушей колкость, продолжал начальник полиции. — Своими же, вернее вашими силами, проведем и ликвидацию в нужным момент. Снова объясню почему: оперативные действия русской полиции всецело подчинены беспрерывно торчащему в моем кабинете, вернее, сидящему у меня на шее немецкому унтер-офицеру. Я полностью под его контролем. Получив сведения, немецкое гестапо или «фельджандармерия» сами поведут операцию и про…ут, — стукнул он по столу кулаком, — так же, как про…али организатора подолья генерала Книгу. Ведь прямо на золотом

блюде я его им подал! Берите тепленького, в постельке! — с неожиданной страстностью выкрикнул Степанов, — а они замотали дело по своим «абтейлюнгам», где в каждом советский осведомитель имеется. Ну и драпанул вовремя Книга!

— Мы-то ловить мух не будем, — впился в Степанова горящим, как уголек, глазом Вьюга, — давайте нам адрес и прочие сведения, господин есаул.

— Нет нужды затруднять уважаемого начальника полиции, — в том же насмешливом тоне вмешался Броницын, — Таска, докладывай атаману!

Отогревшийся и зарумянившийся от двух стопок водки студент комом проглотил заполнявшую его рот кислую капусту, утер рукавом губы и, солидно кашлянув, начал:

— Мавринская улица номер два. Почти рядом вот с этим домом. И дом схожий: большой, двухэтажный, что на улицу, тот пустой, в него бомба попала, а во дворе флигелек, где прежде прокурор жил. Ход с улицы и тоже, как здесь, со двора, через пролаз из парка культуры. Работают двое: радист-техник обкома Зуев и наш Плотников, нынешний завжилотделом.

При этих словах Таски Броницын с многозначительной улыбкой посмотрел на Мишку:

— Вот он твой «исполнитель»!

— Зуев и живет там, а Плотников только по вечерам приходит, — торопливо продолжал Таска, входя постепенно в привычную ему роль всезнайки.

— Известно ли вам все это, господин есаул? — снова углом рта обронил Броницын.

— Наши агентурные сведения полностью совпадают. Более того: мне известно, что аппарат портативный, из обкома. Зуев выкрал его в первую ночь по занятии города немцами. В сутолоке всеобщего грабежа это было легко. Известно и другое: Плотников пролез в завы жилотдела по заданию и по заданию же раздает квартиры, ведя адресные списки работающих у немцев, дислокацию воинских частей, складов и так далее. Некоторые из этих списков мне доставлены. Имею и копии без шифра и зашифрованные. Но кто шифрует — этого мы не знаем. Пока. — Добавил после паузы Степанов.

— И я все это тоже знаю, — обидчиво проговорил Таска, — и даже кто шифрует — знаю.

— Кто же? — впился в него глазами Степанов.

— Энкаведист какой-то.

— Какой? Фамилию или хоть приметы?

— А черт его знает. Красивый.

— Красивых много, откуда у вас эти сведения? —

допытывался Степанов.

Таска смешался, покраснел и молчал.

— Не волнуйтесь, господин есаул, — погладил Таску по плечу Броницын, — тут политика слилась с лирикой юной души. Сведения эти Таска получил от так сказать дамы сердца, а заодно и желудка. Она тоже завербованная комсомолка и наша студентка, но безвредная, даже, наоборот, может быть полезной — дура на все сто и втюрюхтамшись по ухи вот в этого Аполлона. Ликвидации не подлежит — пригодится даже для… для ловли щук.

Вьюга молча подошел к буфету и вынул из него пистолеты.

— Слушать задание, — проговорил он негромко, подойдя к столу.

— Словно переродился человек, — думал, смотря на него, Мишка, — теперь не мужик, а командир не хуже Степанова, — потом прилип глазами к пистолетам. Иметь такую вот вороненой стали «пушку» было его заветной мечтой. — Кому даст? Ясно тому, кого назначит. Назначит убить Плотникова. Плотникова… — Кровь прилила к сердцу Миши, потом ударила в голову и заметалась в висках. — Если мне даст? Тогда… Как тогда?

— Я все-таки подождал бы, — нерешительно посоветовал Степанов.

— А я ждать не буду, — отрубил Вьюга и положил один пистолет перед Броницыным. — Признавайся, Андрей Иванович, ты профкома вашего из обреза хлестанул?

— А ты думал — кто? — хвастливо вскинул голову «подземный человек». — Жалко, что оживел, гад. Доктор Дашкевич выходил.

— Тогда получай, — положил перед ним на стол другой пистолет Вьюга. — Задержишься маленько сегодня у нас в городе. Авось жинка не стоскуется.

— Чего ей, не первый год женаты.

— Только для такой операции и другой инструмент требуется, — задумался Вьюга. — Этот, — ткнул он пальцем в пистолет Броницына, — больно шумный. Его на крайний случай. Потише что у вас найдется?

Броницын блеснул по-волчьи оскалом зубов, вынул из внутреннего кармана пиджака финку в черных кожаных ножнах, вытянул и сверкнул никелированным лезвием.

— Еще до войны приобрел. Месячную стипендию полностью дал.

— У меня попроще, — лениво пошарив в кармане, вытянул оттуда кусок газовой трубки с навинченной на него увесистой

гайкой Андрей Иванович, — кистенек немудрящий. Однако, — поиграл он трубкой, — одну получишь, другой не захочешь.

— Ты, студент, — обратился Вьюга к Броницыну, — в технике маломало смыслишь?

— Я словесник, на учителя готовлюсь, а не на инженера, — покачал головой тот. — А что?

— В аппарате его, в радио незаменимые части поломать надо. Такие, каких достать здесь невозможно.

— Ну, это просто. В этом разбираюсь. Сам радиолюбителем был.

— Тогда все в порядке. Придешь ко мне в одиннадцатом часу. И ты тоже, — повернулся Вьюга к Таске. — Тебе оружия не требуется. Дом только покажешь и пролаз из парка. А ты собери остальных ваших ребят побольше и к ним, — указав на Степанова, приказал Вьюга Мишке, — на склады, рядом с тюрьмой топай. К которому часу?

— В двенадцать тридцать быть на месте. Точно. В кучку не сбиваться. По одному и у дверей не стоять. Прохаживайтесь, держа связь между собой. Сам там буду, — чеканил Степанов.

— Оттуда, тоже не табунком на базу, — на Деминский, к кладовщику, — добавил со своей стороны Вьюга, — ему — пополнение боевым снабжением.

— По городу можно и командой идти. Дам сопровождающего и пропуск для немецких патрулей. Их обвести кругом пальца — раз плюнуть, — презрительно процедил Степанов, — увидит печать со своим орлом — пожалуйста, все к вашим услугам! Из города же лучше выходить форштадтскими огородами. Там только один пост, сопровождающий укажет.

— Ну, расходись по одному, дорогие гости. Тоже через наш пролаз. Подходящую квартирку ты мне подыскал, пацанок, — ласково потрепал по шее Мишку, как лошадь по загривку, Вьюга, — а главное без ордера, самохватом. Плотникову значит не известно.

Выйдя из натопленной комнаты, Мишка разом попал в крутящийся вихрь колкой льдистой крупы, закрыл глаза рукавом и остановился.

Рад я или не рад, что эта… операция… без меня производится? — всматривался он в глубь себя. — И рад… ведь как-никак, а русский он, к тому же свой, студент. И не рад… Обидно, Броницын годится, значит, а я нет. Мне не воевать, а ишачить, снабжение таскать. Значит… Значит… Что же я? Кто же я? Слякоть? Мразь? Так, что ли?

ГЛАВА 21

В редакции появился новый человек, «фигура», как окрестила и упорно именовала его уборщица Дуся, называя всех других сотрудников по именамотчествам. Появление его было очень похоже на первый выход Мефистофеля в опере «Фауст». Утром, когда Брянцев напряженно разбирался в густо засыпанной корректорскими поправками гранке перевода немецкой военной статьи, сверяя русский текст с подлинником, в дверь кабинета без стука тихо вошел кто-то.

— Пошел вон, — раздалось в тишине.

Ошарашенный этим возгласом Брянцев вскинул глаза и увидел прямо перед собой, у стола, торчавшую, как жердь, длинную, поражавшую необычайной худобой фигуру. Эта фигура волнисто вихлялась на всем своем протяжении, а увенчивавшая ее суженная к темени, почти заостренная голова описывала круги в ритме змеистых колебаний тела. Длинные пальцы опущенных рук в такт ей выплясывали хоровой танец. Казалось, что внутри этого сложного подвижного механизма сидит кто-то, четко координирующий действия всех его агрегатов.

— Пошел вон, — повторила фигура.

— Вы это… кому адресуете? Мне, что ли? — только и смог выговорить Брянцев.

— Имённо вам, — проскрипел ответ, — кому же еще? Здесь нас только двое, но, пожалуйста, не волнуйтесь, — правая рука фигуры начертала в воздухе волнистую линию, — это я называю себя, свою фамилию, рекомендуюсь, так сказать.

— Псевдоним, надеюсь?

— Ничуть! Могу предъявить паспорт: Павел Иванович Пошел-Вон, всеми буквами, через тире и с гербовой печатью.

— Никогда такой фамилии не слыхал, — с сомнением покачал головой Брянцев.

— И не могли слышать. — Фигура, не прерывая своих колыханий, без приглашения подвинула к столу глубокое кресло, удобно расположилась в нем и изменила характер своих движений. Теперь она не вихлялась из стороны в сторону, а сжималась и раздвигалась вверх и вниз. — До 1929 года этой фамилии вообще не было. Я ее родоначальник и единственный в мире носитель. Это от скуки, от всеохватывающей, всепроникающей социалистической скуки, уважаемый господин редактор.

Брянцев молчал, будучи не в состоянии даже собрать мыслей для вопроса.

— Вот именно от этой скуки, — продолжала, поскрипывать фигура — пристрастился я к чтению объявлений о перемене фамилий. Бездна занимательности! Восторг! В них, как в бокале старого доброго вина, пенится вся гнусь социалистических мизеров, их пошлость, робость, подхалимство, но вместе с тем и тщеславие индюков. Романов переименовывает себя во Владленова, Царев — в Пролетарского, Безделкин — в Трудового и даже некий Бздюлькин украшается ароматной фамилией Гиацинтов. Каково? Художественно, не правда ли?

Но я решил сделать наоборот. Мой отец из именитых тульских купцов был. Предки еще первым стахановцем Петрушей жалованы фамилией Молотовы. Должно быть по кузнечной части промышляли. Так я меняю звучную и вескую в наши дни фамилию Молотов на Пошел-Вон. Утвердят или нет? Посадят или нет? Социалистическая рулетка, ставка на зеро. Представьте — проскочил! Всеми буквами в «Известиях»! В результате неожиданный рог фортуны со всеми ее дарами: в какое советское учреждение ни явлюсь с просьбой и заявлением, как только фамилию прочтут — смех и успех! Психологический шок своего рода.

— Ну, а ко мне у вас какое заявление или просьба?

— Ни то, ни другое. Вам — предложение.

— Чего?

— Всего, чего хотите. Как некогда у Мюр и Мерелиза. Полнейший универсализм. Я могу все: переводить в стихах и прозе с шести языков и на шесть языков, быть директором публичного дома, обучать милых деток премудрости Филаретова катехизиса, писать передовые, очерки, рассказы, злободневные фельетоны в стихах.

— Вот это подойдет, — обрадовался Брянцев. Пошел-Вон занимал его, даже нравился.

— Четверостишиями в ямбах, — отстукал Пошел-Вон предложенный ритм по столу. — Размер не играет для меня роли: 32, 36, можно 40 строк, как прикажете. Но гонорар фиксированный — пятьсот рублей. Дорого? Ничего подобного. Ровно на литр жидкости, именуемой водкой, которой я совершенно не пью. В валюте или товаром — безразлично.

— Зачем же вам водка, если вы не пьете?

— Для услаждения моей печальной жизни, — сжался в комок Пошел-Вон и потом, вытянувшись до предела, вдохновенно разъяснил, лирически прижмурив безбровые и безресничные глаза: — Поставишь эдакую бутылочку в небольшой милой компании добрых русских людей, богоносцев этих самых, богоискателей, и слушаешь, внемлешь, видишь и ощущаешь, как

из их духовной бездны смрад и грязь попрет. Восхитительно! Неповторимо! С каждой рюмкой все больше, все гуще, все ароматнее. Происходят переименования обратного действия: Гиацинтов преображается в Бздюлькина, град Китеж — в застарелую выгребную яму. Я большой гурман по этой части. Так как? Заметано? Пятьсот?

— Надо видеть товар.

— В момент! Через десять минут у вас на столе.

Пошел-Вон, отпружинив, взлетел с кресла и выскользнул ужом из кабинета.

«Интеллигента такой формации я еще не видел, — думал, оставшись один, Брянцев. — Свидригайлов, помноженный на Смердякова. Его бы Достоевскому в руки. Посмотрим», — принялся он снова за корректуру, но не успел докончить ее, как Пошел-Вон уже снова вихлялся перед ним, держа в руке отпечатанный на машинке лист.

— Ровно сорок строк, четырехстопный ямб, отточенность рифм, без слякотной мазни ассонансов. Этого требует фельетонный стиль.

Брянцев бегло просмотрел написанное. Фельетон был меток, заборист, остроумен. Цинизм Пошел-Вона давал себя чувствовать, но не выпирал: автор знал меру.

— Крепко. Пойдет. Вы заранее, идя ко мне, это заготовили?

— На заготовки подобного рода не трачу драгоценных минут быстротекучей жизни, — презрительно проскрипел Пошел-Вон, — продиктовал вашей пишмашинке и все тут. Разрешите получить гонорар?

Брянцев молча набросал записку в бухгалтерию.

— Извольте. Давайте в каждый номер и вообще заходите.

— Как сами видите: фортуна. Кладезь благ земных моя фамилия. Признайтесь, герр хауптшрифтлейтер, не будь вы ею шокированы, мы с вами не поладили бы так быстро?

— Согласен, — откровенно признался Брянцев. — Но не только ваша фамилия, а и сами вы возбуждаете некоторый интерес.

— Чисто художественного порядка, — вильнул всем телом, вплоть до щиколоток, Пошел-Вон, — для умов, мыслящих широкими категориями, — батард, ублюдок светлой эпохи великого социалистического строительства. Логично и закономерно: при всей помпезности и грандиозности фасада, столь же помпезной и глубокой должна быть помойная яма на задворках. Благодаря вашей милой бумажке, — помахал он запиской Брянцева, — сегодня вечером я обильно и изысканно поужинаю в ней.

— Приятного аппетита, — усмехнулся Брянцев.

Приглашением заходить в редакцию Пошел-Вон воспользовался очень широко, толкаясь в ней и утром и вечером. Своей прямой служебной работе он уделял немного времени. Служил же он директором детского хора. Хор этот существовал уже три года при городском Доме Одаренного Ребенка и был неплох. Но его создатель и руководитель, молодой музыкант, лауреат-комсомолец Кольцов эвакуировался с обкомом и сам Пошел-Вон так рассказывал об этом:

— Мы с Кольцовым в одном дворе жили. Когда начался тарарам, смотрю, сует этот одаренный ребенок в карман свои грязные подштанники, подмышку папку «Музик» со своими гениальными творениями и драла! Боги Олимпа, где же предел человеческой глупости? Бросать такое наследство без завещания даже! Но если бы не было дураков, то все умники передохли бы с голоду. Все существующее — разумно, утверждал длинноносый Гегель. Я практически подтвердил эту его истину, так сказать, освоил ее: явился на следующий день в этот питомник юных социалистических гениев, объявил себя директором хора пискунов, извлек из подполья античного возраста аккомпаниаторшу и кое-кого из ребят. Дальше всё, как по маслу из закрытого распределителя. Перевел на русский язык «Лили Марлен» и через неделю концертировал перед чинами комендатуры и штаба армии, махал прутиком из веника в манере Артура Никита. Бесподобно! Фурор! Военный паек всему хору, а мне с добавлением гельда и шнапса!

Ма фуа, патриотические чувства не всегда бесполезны. «Вот, говорят, как мы, немцы, разом двинули культурное возрождение одичавшей страны унтер-меншей». Ради Бога, пожалуйста! Но паек-то и гельд получаю я! Очаровательно! Скоро я сам, наверное, стану патриотом. Задержка лишь за одним: не могу решить — каким: немецким, советским или русским. Хотя последнее отпадает в силу явной бездоходности, — верещал и поскрипывал Пошел-Вон беспрерывно, присаживаясь к столу то одного, то другого сотрудника. Сначала им забавлялись, но это скоро приелось. Многим он стал в тягость.

— Слушайте, «четверть лошади», — вихлялся Пошел-Вон перед столом Котова. — Что? Вам не нравится этот заголовок, выдуманный бессмертным плаксой Успенским? Дело не в нем. Я исхожу из законов динамики. Вы работаете в редакции с утра и до вечера, как осел, да, говорят, еще по ночам романы пишете. Следовательно, вдвойне, как осел. Производительная сила осла равна половине лошадиной силы, а вдвойне осла — четверти ее. Арифметическая задача для начальной школы. Неоспоримо и

законам диалектики не подлежит. Вы — «четверть лошади».

— Пошел-Вон, уходите. Прошу! Вы мешаете мне работать.

— Еще одно подтверждение моей правоты: вы вежливо говорите мне «уходите», когда полноценная личность должна сказать: «Пошел вон» (без тире), «Пошел-Вон (с тирешкой)». Это было бы действие лошадиной силы, а вы — только четверть ее.

— Пошел-Вон, уходите! — вскакивал со стула Котов.

— Только четверть! — не унимался тот. — Вот наша очаровательная кабардинка Женя, тщетно ищущая четвертого мужа, чтобы умереть на его гробе, в ней целых две стихийно кипящих лошадиных силы. Вчера меня линейкой по щекам отхлестала. Великолепно! Помпезно! Космический темперамент! А главное — за что? За мой несколько юмористический отзыв о народе-богоносце. Каково! Кабардинка — за православных богоискателей. Нет, ей, безусловно, необходим один экземпляр этой вымершей породы. Особенно в ночные часы. Сам я, к сожалению, не гожусь на это амплуа — импотент с двадцати пяти лет.

Котов нажимал кнопку звонка и приказывал появлявшейся Дусе:

— Принеси ведро помоев и облей эту…

— Фигуру, — услужливо подсказывала Дуся, — сейчас!

— Милейшая Дуся очень исполнительна. Прекрасная работница. Испаряюсь, чтобы не затруднять ее сверх нормы, — вихляясь, пятился к двери Пошел-Вон.

Но Елена Николаевна, увидев однажды, как Пошел-Вон без запинки и поправок диктует машинистке свои ямбы, глядела на него с томной молитвенной сосредоточенностью, с поклонением. Тот снисходительно принимал эту дань, а также за страстно любимое им кофе, которым, добыв от немцев, угощала его Елена Николаевна, изрекал туманные, заумные пророчества по рецепту: четверть от Мережковского, четверть от Андрея Белого и половину от Велемира Хлебникова в целом полная бессмыслица.

Елена Николаевна млела, шепча:

— Какая глубина! Тайна третьей бездны!

Оба были довольны.

Доволен болтовней с Пошел-Воном бывал и Шершуков, перед которым тот выступал в ином репертуаре: рассказывал о советских вельможах местного масштаба абсолютно невероятные анекдоты.

— Вот врет, — грохотал раскатистым смехом Шершуков, — вот врет! Лучше быть не может! Такую пропаганду нужно в ударном порядке пускать!

На редакционных совещаниях, куда Пошел-Вон являлся без

приглашения Брянцева, он говорил всегда по-немецки.

— Какие способности! — восклицал на вечерних беседах с Брянцевым доктор Шольте, округляя глаза в размер очков. — Вы знаете, он говорит со мной то с берлинским, то с саксонским, то с баварским акцентами, а иногда даже на ганноверском диалекте. Я, немец, не смог бы сделать этого! Цитирует Канта, Маха, Авенариуса чуть не целыми страницами! Колоссально и вместе с тем ужасно. Этот, быть может, потенциальный гений превратил себя в площадного шута, в паяца. О, русские, мои дорогие русские люди! Сколько в вас талантливости и как дурно вы ее применяете! — с искренним огорчением договаривал он.

ГЛАВА 22

Вечером, в канун Покрова, было тихо, и мягкий, пушистый снег спадал на улицы города, застилая их ровной, ласковой пеленой. Немцы не боялись налетов советской авиации и за затемнением строго не следили. Уличные фонари не горели, но там и сям светились небрежно завешенные окна, бросая на снежную белизну желтоватые блики. Мороза не чувствовалось, но и не таяло. Влажный ночной воздух пахнул свежим снегом.

Перед домиком доктора Дашкевича на снегу мерцали голубые блики. Они падали из окна комнаты Мирочки, с потолка которой спускалась лампа, укутанная тремя сборчатыми волнами голубого тюля.

— Фижмы версальской маркизы, — говорил доктор. Мирочке это нравилось: слова «Версаль» и «маркиза» чаровали ее слух, как романсы Вертинского, пластинки которых неведомыми путями добывал баловавший дочку доктор.

Голубой цвет был ее любимым. Голубым было стеганое одеяло на ее пышной, с периной, постели, украшенной тоже голубым бантом в изголовье. Голубыми были легкие занавески на окнах, а на покрытом голубой же скатертью столике стоял в голубой вазочке букет искусно сделанных голубых бумажных роз.

На украшенном голубыми же салфетками диване сидели, прижавшись друг к другу плечами, двое: сама Мирочка и атлетически сложенный мужчина лет двадцати пяти, с твердыми, как из гранита высеченными, правильными чертами лица.

Его можно было бы назвать не только красивым, но красавцем — каким и считала его Мирочка, если бы не упористый тяжелый взгляд укрытых серой завесой глаз, которым он всегда давил собеседника и тому становилось не по себе.

— Факт, что Плотников убит ударом в грудь ножа или кинжала, подтверждает наши сведения, — негромко говорил гость, постукивая крепкими, сухими пальцами по нежной ладони Мирочки. — Немцы здесь ни при чем. Они или арестовали бы Плотникова или, в случае сопротивления, застрелили бы его. Техник Зуев тоже убит кинжалом но, вероятно, в борьбе: четыре раны, из них смертельна только одна в горло.

— Как это ужасно, Котик, — проворковала, вздохнув, Мирочка, — перерезанное горло, кровь…

— Наша кровь, Мира, советская, комсомольская кровь. Вот что тяжелее всего. Вот что, прежде всего. Но слушай дальше. Если не немцы, то значит сведения о тайной контрреволюционной организации, действующей в городе и в районе, подтверждаются.

Возможна и связь городских с невыкорчеванным из станиц кулачьем. Но район тебя не касается. Тебе другое задание.

Мирочка снова вздохнула и кокетливо-покорно склонила головку к плечу Котика.

— Вполне возможно и даже наверняка в этой организации участвуют ваши студенты. Узнай — кто. Одного мы уже знаем.

— Смолину расспрошу. Она и теперь в общежитии помещается. Там еще много студентов.

— Нет, — твердо обрубил Котик, отбросив с колена руку Миры, — Смолина исчерпана мною до конца. Она сама толком ничего не знает. Кроме того, дура, бревно. Тебе нужно пробиться к самой организации. Если удастся, даже вступить в нее.

— Но это трудно, невозможно, Котик, — со слезами в голосе проговорила девушка. — Где она, эта организация? Кто в ней?

— Слушай внимательно, я укажу путь, — с не идущей к нему нежностью погладил руку Миры атлет. — Давай сюда губки и глазки. Вот так, — поцеловал он закинутое лицо девушки, приподнял его в уровень своего и уперся глазами в глаза. — За тобой один ухажер страдает, забыл его фамилию, но ты знаешь: голова круглая, уши торчат, твоего курса…

— Мишка Вакуленко, — брезгливо обронила Мира. — Надоел хуже смерти. Ну, что?

— Не гони его теперь от себя. Наоборот, будь поласковей, дай надежду. Можешь даже и поцеловать его, я не ревнив, но он нас очень интересует. Чуется мне, а моя интуиция, Константина Прилукина, никогда еще не обманывала, она говорит мне — в нем ключ.

— Ах, как мне все это тяжело, мучительно! Я так переживаю!

— Ты комсомолка и, кроме того, имеешь задание, — напирая на каждое слово, говорил Прилукин. — Никаких тяжестей, никаких переживаний у тебя быть не может. Это ошметки мелкобуржуазного сора. Вымети их железной метлой. Ну?

В последнем слове звучала угроза, и Мира ее уловила.

— Конечно, выполню… как смогу… Но мне очень…

— Без слюнявых сантиментов. Ты комсомолка. Не откладывай. Начинай разработку завтра же, — Прилукин взглянул на часы, подсчитал что-то в уме и встал с дивана. — Пока. У меня работа.

— Уже? Ты сегодня совсем чужой, холодный, жесткий…

— Не до нежностей сейчас, Мирок! Момент до крайности напряженный. Растрачивать себя на чувства нельзя ни мне, ни тебе. Но все-таки, — изменил тон Прилукин, — минуту, одну минуту отдать ему можно.

Он обнял девушку, перегнул ее в спине и сверху, с высоты

своего богатырского роста впился ей в губы долгим, душащим поцелуем.

— Теперь — все! Пока! Завтра в тот же час стукну в окно.

* * *

Перед домом редакции и типографии блики вышили по снегу целый узор. Бумажные щиты, затемнявшие окна в первом и втором этаже, были прорваны во многих местах, и прорывавшийся сквозь эти дыры свет ложился на снег причудливым разметом.

В комнате доктора Шольте щит был совсем снят. Там, в этот вечерний час, сидели у стола он и Брянцев.

— Вам не случалось, Всеволод Сергеевич, встречать в научной литературе указания на то, что этот Кудеяр был не легендарной, но реальной личностью, находить хотя бы зерно этого цикла сказок и песен? Было бы очень интересно установить это, — продолжал доктор начатый, как всегда, с литературной темы разговор.

— Не помню точно, но, кажется, Соловьев вскользь упоминает о нем. Жил этот Кудеяр в начале семнадцатого века, в Смутное время и при царе Михаиле. Был служилым дворянином Рязанской земли, потом, как тогда многие, стал разбойничать, а под конец жизни принял постриг и схиму. Путь не редкий в тот век. Возможно, что происходил из татар: Кудеяр — Худояр распространенное у них имя, да и много их поселил Иван Грозный на Рязанской украине, границе Дикого Поля. Остальное — плющ легенды.

— Плющ легенды, — повторил за Брянцевым доктор Шольте, — этот плющ говорит часто больше, чем то, почему он вьется. Смотрите, как широко растекся этот ваш Кудеяр: от народной песни к пересказу самой легенды в поэзии и прозе. Но это не всё. Тема её: преступление, искупление его и прощение греха расходится гораздо шире и глубже. Раскольников тот же Кудеяр. Другое его преломление — Митя Карамазов и даже Дубровский.

— О нет, — горячо возразил задетый за живое Брянцев, — Дубровского сюда не припутывайте. Это — мелкота, романтический мститель за личную обиду, русское переложение вашего Моора, только.

— Но Кудеяр тоже мстит этому насильнику, которого убивает, — поднял брови Шольте.

— Если и мстит, то не за себя, а за народ, за его страдания, за

«мир». Не WELT, но наш «мир» — люди, общество, что ли. Вернее же, что мести вообще в нем нет.

— Что ж тогда побуждает его?

— Преодоление зла злом. Жертвенность личным грехом, своей душой, ее спасением ради устранения зла, причиняемого другим людям — вот что.

Шольте наморщил свой высокий узковатый лоб и растер морщины подушечками пальцев.

— Это трудно понять. Но если так, то явно противоречит православию, христианству.

— Я не богослов. По христианской догматике, вероятно, так, как вы говорите. Однако, в нас, русских, живет не византийский догматизм, казуистическое христианство, а свое, преломленное в душе народа. Этот народ говорит: «Не согрешишь — не покаешься. Не покаешься, не спасешься».

— Забавная диалектика, — рассмеялся Шольте. — Но нам, немцам, она абсолютно чужда.

— Что ж, вот вам новое подтверждение теории расизма, — засмеялся и Брянцев. — Можете разработать его и опубликовать очень длинную, очень умную и столь же скучную философскую статью.

— Быть может и напишу на эту тему после войны, когда вернусь к своей нормальной работе.

— Тогда и князей и царей наших московских не забудьте. В них тоже Кудеяров дуб был. Ведь бремя власти неразрывно с грехом, по нашему русскому христианскому жизнепониманию. Власть же — не цель, не стремление к личному господству, но служение, служба. Когда в деревне старосту выбирают, так он совсем этому не радуется и не стремится быть выбранным, но «от мирской службы отказу нет», что ж поделать, принимает ее тяготу. Так и с царями было: царствовать — значит служить и грешить, казнить, порой лукавить, лгать. Ответ же перед Богом, прежде всего за свой царский труд, за его выполнение. Иван Грозный это совершенно ясно формулировал. Для своей же собственной, личной души — схима в смертный час.

— Да, да, все это знаю, — кивал доктор Шольте. — Я слушал в Москве «Бориса Годунова» Мусоргского. Он глубоко разрешил эту тему. Но ведь все это — прошлое. А теперь еще жив в русской душе этот Кудеяров дух? Как вы думаете?

Брянцев помолчал, потом тихо, как говорят в пустой церкви, ответил:

— Если и не жив сейчас, то оживет, когда сумма страдания искупит грех. Поэты-интуиты это уже чувствуют. Вы знаете Максимиллиана Волошина?

— Волошин? — напряг брови Шольте. — Нет, не читал, совсем не знаю.

— Ну, так я вам по памяти скажу один отрывок из него.

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений
Возникнет праведная Русь.
Я за нее одну молюсь
И верю замыслам предвечным:
Ее куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.

Посыльный из типографии, постучав, всунул в щель приоткрытой двери сверток сырых листов сверстанных полос.

Внизу, в наборной, работа была почти закончена. У покрытого цинковым листом стола курил только что закончивший свою порцию и очень веселый по этому случаю метранпаж, а контрастом ему был старый, похожий на облезлого грифа крючконосый печатник. Он и сидел, как гриф, сгорбив спину и вытянув из собачьего меха воротника длинную, тонкую, жилистую шею с выпирающим кадыком.

— И на глоток не оставил, — простужено сипел он, — хорош дружок.

— Ошибся. Ей-богу, ошибся! — без смущения оправдывался метранпаж. — Не рассчитал глотка, она вся и проскочила. Сам понимаешь…

— А хороша? — уже без обиды деловито спросил гриф.

— Вискато? Много хуже нашей. Даже от шнапса хужее, аптекой воняет. Но ничего, градусы содержит.

В корректорском углу, тоже у стола, близко сдвинувши склоненные головы, тихо, почти шепотом переговаривались Мишка и Броницын.

— Значит, Плотникова ты? Ты сам. — Не договаривая страшного слова, спрашивал Миша.

— Убил? — так же тихо, но спокойно, с некоторой бравадой договорил за него Броницын. — Я! Я один. Без помощи Вьюги. Ударом прямо в сердце. Те оба были техником заняты. Он

сопротивлялся, а Плотникова, как столбняк хватил. Стоит передо мной и только глазами моргает.

— А скажи, Гриша, по правде скажи, — обнял друга за плечи Миша, — не страшно было и не совестно, что ли, — с трудом подыскал он подходящее к мысли слово.

— Страшно? Пацанок ты сопливый еще, Мишка. Как же бояться, если уж решил? Решить трудно, боязно.

— Не риска, не наказания, а понимаешь, самого, самого…

— Убийства? Самого акта? — снова договорил за него Броницын. — Нет. Я ведь давно готовил себя к этому. Жил стремлением к нему, — страстно зашептал Броницын.

— Полосы принесли! — крикнул с другого угла наборной метранпаж. — Без переверстки. В самый аккурат врезали! Гуляй теперь, ребята! Эх, — повернулся он к печатнику, — теперь бы еще стопочку! Одну только! В самый раз была бы, да нету ее.

— Обойдешься, — просипел печатник.

— Убийство страшно, когда оно преступление, но когда оно — долг или более того — подвиг, тогда нет. На войне разве есть страх убийства? Наоборот, боятся только, чтобы самого не убили, а угрызений совести ни у кого там нет. Все эти рассказики о каких-то покаянных переживаниях после первого боя только выдумки слюнявых писак, и винтовкито никогда в руках не державших, войну из трактирного окна видевших, — говорил Броницын, аккуратно застегивая пуговицы своего пальто.

— То война. — Накинул на голову свой бушлат Мишка и, нащупывая рукав, совал руку вверх.

— По-мужицки одеваешься, — поучительно заметил ему Броницын, — так только тулуп сверх поддевки мужики натягивают. Учись быть приличным. Там война и здесь тоже война. Даже более ожесточенная, В случае их победы нам пощады не будет. И мы тоже не должны щадить.

— Но ведь свой же он, русский? Кроме того, студент наш… товарищ…

Незаметно вышли на улицу и разом захлебнулись волной свежего снежного воздуха, особенно приятной после свинцовой духоты наборной. Даже приостановились, вдыхая его.

— Нет, и не русский он и не товарищ мне, раз комсомолец. Он враг не только мой, но моей родины, моего Бога, моего мира, — теперь уже во весь голос продолжал свою речь Броницын.

— Сам говоришь — Бога, значит веруешь в Него, а в грехе сознаться не хочешь.

— Греха здесь нет. Наоборот — подвиг, преодоление греха, победа над ним. Знаешь, Мишка, Игнатий Лойола учил…

— Он кто был? Философ, что ли? — перебил Броницына

вопросом Миша.

— Нет, монахом был католическим, даже святым. Моя мать ведь полька, от нее знаю. Так вот, он учил: в монастыре легко душу в безгрешной тиши спасать. Это каждый сможет. А вот ты в грешный, полный зла мир иди, борись в нем с этим злом, грехом, победи, уничтожь его, освободи от него людей — тогда совершишь подвиг, тогда послужишь Богу. Вот что!

— Других спасешь, а себя? Свою душу?

— В этом-то и самое главное, — приостановился и тряхнул Мишку за плечи Броницын. — В этом стержень, сила подвига. Вот я убил Плотникова, победил заключенное в нем зло во имя добра другим людям. Так не грешник я, не палач, а жертва, понимаешь, — жертва…

Раз, два, три… хлопнули позади студентов три выстрела. Броницын, еще держа Мишу за плечо, навалился на него, потерял опору и осел на землю.

— Жертва… — повторил он, падая.

— Гриша! Броницын! Что ты, что ты! — тянул его вверх Миша и лишь спустя несколько секунд понял, что сзади стреляли и что его друг ранен. «Что делать? — пронеслось в мозгу Миши. — Волочить в типографию, конечно, и оттуда по телефону доктора вызвать».

Миша подхватил под плечи лежавшего на снегу студента и, пятясь задом, потащил его к двери, открыл ее толчком каблука и втянул раненого в наборную.

— Николай Прохорович, помогите! — крикнул он прибиравшему стол метранпажу. — Несчастье!

— Что? Что такое? — рысцой подбежал старик.

— Сам не разберу. Броницын ранен. В спину на улице выстрелили.

Броницына положили на только что прибранный наборный стол, и алая густая кровь потекла из-под пальто по цинку. Метранпаж, плохо управляя пальцами, расстегивал пуговицы. Что-то тяжелое стукнуло об пол. Старик пошарил рукой под столом, нащупал пистолет и финку, поднял их и протянул Мише.

— Ты эти штуковины лучше спрячь и молчи о них! Только мы с тобой их и видели, а то немцы сейчас зацепятся: почему да откуда. Немца-то позвать нужно. Василь, — крикнул он в дверь печатного цеха, где в это время возились, накладывая на свинец мокрый картон, — гони сейчас наверх, зови немца. В дверь ему стучи, что есть силы, кричи: несчастное происшествие! Как думаешь, кто его? — спросил метранпаж Мишу, когда остались одни. Тот в ответ лишь развел руками.

— Может из-за девки кто созорничал?

— Не было у него девки.

— Тогда… — прижал рот к уху Миши старик. — Тогда одно — политика. За службу у немцев награждение. Не иначе. Ты, парень, с опаской по ночам ходи. Норови с кем на пару.

Застегивая на ходу китель, почти вбежал Шольте, бросил Мише:

— Вызовите врача. Быстро! — и склонившись над неподвижным Броницыным, расстегнул его пиджак. Рубашку — рывком, сверху донизу. Ею же отер кровь с груди и выпрямился.

— Три раны в грудь и живот.

— Но стреляли сзади, в спину, — возразил Миша.

— Значит здесь выходные отверстия. Навылет. Что скажет врач? Он взял спокойно вытянутую вдоль тела руку раненого и прислушался к пульсу, покачал головой и почти прижался ухом к его рту. Снова покачал головой.

— Подождем врача, но мне кажется, что ему нечего будет делать.

— Царство Небесное, — перекрестился метранпаж.

* * *

На снегу перед домиком Вьюги горел волчьим глазом только один блик. Неподвижный, рубино-красный. Капля крови.

Оба окна были наглухо забиты принесенным Мишкой типографским картоном, и бросивший блик луч пробивался в дырку от гвоздя. Тек он от висевшей, такой же рубиново-красной лампады перед старым, темным, без ризы образом Николая Чудотворца, висевшим в углу. Только эта лампадка и светила в комнате. По обитой штукатурке стены скользила неясная тень от мерно ходившего вдоль нее Вьюги. Сидевшая у стола Арина сливалась с красноватым полумраком. В углу за буфетом белела борода отца Ивана. Самого его совсем не было видно.

— Кука-ре-ку! — раздалось из угла, и вслед за выкриком зажурчал не то ручей, не то песня, не то сказка, скороговоркой, но внятно, хоть и тихо.

Кука-ре-ку,
Спят святые на боку!
По Руси гуляют черти,
Шлют напасти хуже смерти.
Кука-ре-ку!

— Совсем оплошал наш поп, — остановился перед

примолкшим стариком Вьюга. — Опять запсиховал, как в Масловке, когда немцы ушли.

— Много грехов тебе, Ваня, простится за то, что ты тогда его силом от Нины оторвал и в лес, почитай на своих плечах, уволок. Много… — тихо сказала Арина.

— Невелика заслуга. Он, как перышко, легонький, — усмехнулся Вьюга. — А вот на Акима Акимовича силенки у меня не хватило. Больно грузен. Не осилил такую тягу, — с той же усмешкой в голосе проговорил он.

— Господня воля. Не понять нам ее, не уразуметь. Много на нас с тобой грехов, Ваня, а вот не покарал нас Господь, выскочили из верной петли. А на Клавдии Зотиковне какие грехи? Честной девицей, праведницей всю жизнь прожила и смерть приняла такую.

— Прикладом солдат ее зашиб. Много ли старухе надо. Может, он и сам того не желал, — душился словами Вьюга, словно у него в сжатых зубах застревали. — Хотел я его тогда тоже пулькой срезать. Ух, как хотел! Да из-за него вот обнаружиться побоялся, — махнул Вьюга подбородком на старика. — Оба вместях в кустах укрывались.

— Аким Акимыча перед правлением вешали, — тихо и, казалось, бесстрастно припоминала вслух Арина, — веревка два раза оборвалась. Гнилая была, а он грузный. Тогда застрелили.

— И им значит не под силу была его тяга.

Дон-дон-тилидон,
Развалился Божий дом,
Развалился Божий дом,
А тюрьма стоит с крестом.
Барыня, барыня,
Креста нету у меня.
Я с тюрьмы его возьму,
Крест Господень да суму,

— раздалось опять из угла.

— Предрекает чтой-то. Только не понять, — закрестилась Арина.

— Болтает по глупости, — ответил Вьюга, — а может и в самом деле провидит. Всё может быть. Ты говоришь, вот, за его спасение мне: много греха простится. Нет. Не так это. Кому такой нужен? Пришибли бы его — какая от того убыль? Всё равно, что муху. Нет, Арина, — сел перед женой на ящик Вьюга, — нет в этом моей заслуги, а если б я тогда, в тот час не убоялся бы, засел бы в кустах да оттуда бы хоть с десяток советских солдатишек

анафемских перешлепал да своей жизни, зато после решился. Вот тогда поубавил бы я злобы людской, народу бы послужил и Господу. Тогда, может, и впрямь грехи свои, слезы из-за меня пролитые, искупил бы. Людям бы, людям бы русским, народу бы послужил — вот что! — выкрикнул, вскочив с ящика Вьюга.

В углу опять зажурчала песня-сказ:

Господи Спасе Иисусе Христе,
Помяни мя в Своей простоте!
Вшивого не суди,
Смрадного в рай пусти,
В голоде, в крови, в наготе
Посети меня Спасе Иисусе Христе…

— Мудрено всё, что говоришь, Ваня, — моему бабьему умишке не осилить ни твоих слов, ни вот его речений, — кивнула Арина головой на снова примолкшего отца Ивана. — Только знаю я: оба вы божьим духом томимы. От Него пути ваши. Им указаны.

— Он-то верно, поп, около божественного всю жизнь провел. У него, скажем, от Бога. А я кто? Конокрад, разбойник, убивец. Далеко от меня Бог живет. Дьявол поближе. Навряд Господом мне путь указан.

— Господом! — вырвалось из сердца бабы. — Через него, — указала она на осененный лампадным сиянием образ. — Через него, Помощника Скорого, заблудших спасителя.

— Разве что… через него по Осиповым праведным молитвам. Это возможно. А с пути своего не сойду. Теперь на большое дело идучи, буду с собой его брать, — указал Вьюга на образ, — чтоб ближе был, на груди, под рубахой.

В дверь с улицы сильно и часто застучали.

— Кто бы это мог быть? — напружинился Вьюга, выхватил из-под подушки пистолет. Стук слышался всё сильней и тревожней.

Ангелы летят, гремят, слышу,
Принять летят к себе Гришу,
Летите, бегите! Ко Христу спешите.
Гришу, Гришу, Гришу
С собой прихватите!

— отец Иван сорвался со своего места и топтался по комнате в необычайном возбуждении. Он махал руками, как крыльями, беспрерывно повторяя:

— Летите! Бегите! Спешите!

Вьюга с пистолетом в руке пошел к двери, отпер замок, и она тотчас же сама растворилась под напором ввалившегося в комнату запыхавшегося Миши.

— Гришу Броницына сейчас убили, — только и смог выговорить он.

ГЛАВА 23

— Ну, что ж, начнем по «Ревизору»: Господа, я собрал вас сюда… — шутливо начал Брянцев, когда пришедшие к нему все вместе — Котов, Вольский и Змий-Крымкин разместились вокруг стола.

— Вот в чем дело: Шольте отправляет меня в командировку-турнэ с докладами в Краснодар, Новороссийск и Керчь. Вернее, наоборот, начать он хочет с Керчи. Сколько времени займет эта поездка, он и сам не знает, при всей его немецкой пунктуальности. Может быть, в шесть дней обернемся, а может, и недели на две застрянем.

— Вы говорите во множественном числе, значит с вами еще кто-то поедет? — спросил Вольский.

— Шольте назначил мне тему «Россия и Германия» — содружество и взаимная связь молодых наций в историческом разрезе. Но он хочет добавить еще и современности. Поэтому требует второго докладчика, обязательно молодого, попроще, демократического, так сказать. Его тема «Политические настроения русской молодежи».

— Подыскать такого, пожалуй, будет трудновато, — скривил губы Змий. — Молодежь-то наша, знаете, немножко не того: доклады умеет только по конспектам агитпропа делать.

— Подыскал уже. Нашего корректора Вакуленко. Я его по институту знаю. Хорошим студентом был. И здесь, если не сробеет перед большой аудиторией, не растеряется, то может сказать интересно.

— Тезисы докладов составлены, конечно, самим Шольте? — саркастически ухмыльнулся Змий.

— Я сам этого ждал, — умышленно не замечая «змеиного» яда, ответил Брянцев, — но, представьте, ни звука: полная свобода и мне и Вакуленко.

— Тонкий и верный расчет, — в том же тоне продолжал Змий, — не будете же вы рыть яму самому себе. В уме доктору Шольте нельзя отказать.

— И во многом другом. Например, в добром отношении к людям вообще и к русским в частности, — с ноткой раздражения в голосе ответил Брянцев.

— А всё-таки он нацист, мейнкампфовец, — выкрикнула из кухни Ольгунка.

— Не суйся!

— Сунусь, да еще не одна, а с чайником и перманентными оладьями, как ты их называешь!

— Это разрешаю, но молчком. Заменит меня, конечно, Михаил Матвеевич, — поклонился одной головой в сторону Котова Брянцев, — а его работу поделите вы между собой, господа. Как — ваше дело. Но свою тоже придется вести. Вас заменить уже некем. Все вместе вы — редколлегия и больше никого в нее не привлекайте. Без демократии. Вероятно, попытаются влезть обе Зерцаловы. Обеих гоните, особенно Женю. С ней не стесняйтесь. Тоже и с Пошел-Воном.

— В этом можете быть уверены, — с неожиданным от него блеском в глазах заверил Котов. — С Женей я справлюсь сам, а против атак Пошел-Вона мною заготовлена вполне радикальная контратака.

— Какая именно, если не секрет?

— Дуся и ведро помоев, — снова впав в свое бесстрастие, не сказал, а доложил Котов.

Все, даже вошедшая с чайником и стаканами Ольга, рассмеялись.

— Однако и в вас порою закипает страсть. Не ожидал, и интересно, что возбуждает ее Женя, — повернулся к Котову Вольский.

— Но в обратном направлении, чем бывает в романах, — отпарировал Котов.

— Михаил Матвеевич, теперь я в вас влюблена, — поставила перед ним стакан Ольга, — самый большой кусок лимона вам положу!

— Бесполезно, Ольга Алексеевна, — продолжал подшучивать Вольский, — это только мгновенная локальная вспышка, а дальнейшему развитию романа и лимон не поможет. Бесполезно!

— Но зато и, безопасно, — принял его тон Котов. — А мне польза, — поднес он стакан под тоненький ломтик лимона, редкостный теперь деликатес.

— Фронт под Новороссийском или советы оттеснены к югу? В чьих руках Сочи? По сводкам это неясно, — обратился к Брянцеву Вольский.

— Вполне понятно, — ответил Брянцев, — с юга советы под самым городом и даже в нем. Сколько-то матросов-черноморцев засело в шахтах цементного завода, и немцы ничего с ними не могут поделать. Сходное положение и под Керчью. Там тоже какой-то отряд не успевших эвакуироваться черноморцев оперирует чуть ли не на самой горе Митридата.

— А молодцы всё-таки наши матросы, — порывисто воскликнула Ольга. — Враги они мне, ненавижу и вместе с тем восхищаюсь. Русские ведь, свои…

— Для вас, Ольга Алексеевна, ясна черта, разграничивающая

русское от советского? — серьезно спросил Вольский. Было видно, как самого его волновал этот вопрос.

— Конечно, ясна, совершенно ясна, — быстро ответила Ольгунка, но вдруг смешалась и растерянно обвела всех глазами, — или нет.

— Не ясна. Вот все время совершенно ясно было, а сейчас, как представила себе эту горсточку матросов, засевших в каменоломнях, окруженных, обреченных, но не сдающихся. Ведь это тоже севастопольцы, нахимовские моряки, ихняя плоть и кровь! Тут все слилось — исчезла грань. Смылась. Растаяла… — все тише и вместе с тем глубже вытаскивала откуда-то изнутри нужные слова Ольга.

Брянцев, засунув руки в карманы, перекачивался с носков на каблук. Он внимательно смотрел, как менялось выражение лица жены.

— Итак, уважаемая моя супруга, пламенная русская националистка и патриотка, бескомпромиссный враг советов и всего советского, и вы соизволили признаться в утрате этой разграничительной черты?

Брянцев вынул руки из карманов и уперся ими в бока.

— А от других вы продолжаете требовать точного ее знания? Хотя бы от Жени Зерцаловой, у которой в голове действительно все смешалось? Так соизвольте же понять, что двадцать пять лет существования советского режима — не шутка, не только случайный, мерзкий эпизод в русской истории, как вы думаете, а сдвиг, большой глубокий сдвиг в психике русского человека.

— Нет, нет, нет! — замахала руками Ольгунка. — Это в тебе опять интеллигентская рефлексия голос свой подает.

— Не рефлексия, а начальная арифметика. Тебе за сорок.

— Сорок два!

— Ты вступила в советскую жизнь вполне сформированным человеком, законченной личностью и все же? А те, кому сейчас двадцать, двадцать пять, тридцать лет, кто в октябре пешком под стол ходил, тем как найти это разграничение, а?

— Я только вот сейчас. Случайно его потеряла, — оправдывалась Ольга, — но я найду, найду, — притопнула она ногой. — Подумаю, загляну к себе в душу и найду.

— Трудно вам это будет. — Тихо вымолвил Вольский, — а нам, нашему поколению еще труднее.

— Нет, — покачала головой Ольга, — нетрудно. Эта разграничительная черта сама скажется.

— Как? Где? Когда?

— Когда сами мы, мы сами, мы — русские, вступим в борьбу с советами. До сих пор ведь воюют одни немцы, а мы так — сбоку

припеку, туда-сюда.

— И в целом никуда. Смею заверить, так и останется, пока Россия не вступит в климат демократической свободы. Надежд же на установление такого климата немцами абсолютно никаких, — вмешался в разговор Змий. — Сменим советы на немцев — и только.

— К черту вашу демократическую панацею, Василий Иванович, — прервал Змия Брянцев, — я-то ведь помню февральский хаос, шок, паралич всех сил и органов нации, кроме одного только языка. Хватит с нас! Если так, то избираю немецкий сапог, он, по крайней мере, крепкий, надежный, а не советский с дырявой подошвой и тем более не на расползающемся демократическом картоне!

— Ну, это как сказать, — крутил свою бородку Змий, — конечно, дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.

Три месяца назад, когда редакционный коллектив формировался и начинал работу, политических расхождений во взглядах сотрудников не чувствовалось. Всеми владел один и тот же порыв протеста против советчины. Не было разнобоя и в отношениях к немцам: все присматривались к ним, прищупывались и, кто робко, кто смелее, пытались оспаривать некоторые, явно нелепые тенденции розенберговской пропаганды. Но в дальнейшем, когда каждый из сотрудников достаточно твердо и ясно определил свое отношение к оккупации, наметил линию своего политического поведения, сказалась и разница политических взглядов на современное и будущее России.

Брянцев, рожденный и проведший молодость в черноземной полосе России, в традициях близости к крестьянству, к земле, к порождаемой ею стихийной силе, видел возможность возрождения России только в соках этой земли и добытчика их — свободного крепкого крестьянина, которого выращивали Столыпин и последний император. Строй крестьянской монархии мерцал ему неопределенно, но манящим светом. В нем он видел будущее, чисто русское, самобытное, отысканное и построенное без займов у Европы. Немецкое иго и запроектированное Розенбергом расчленение России его не пугали. Он слишком сильно верил в органическое единство народов Российской семьи, в возглавляемую Великороссией единую, общую их культуру, как в цемент этого единства. А временное засилье немцев? Конечно, только временным оно и может быть. Не по плечу сосну рубят. Не раз такие попытки бывали в русском прошлом и всегда с одним и тем же результатом. Пока же, кроме немцев, нет силы, которая смогла бы сломить советчину.

Ярым его противником был Змий-Крымкин. Провинциальный

интеллигент, с раздраженным, неудовлетворенным самолюбием, он всегда, всю жизнь чувствовал себя чем-нибудь ущемленным. Его психический аппетит всегда превышал возможность удовлетворения его извне. Он это чувствовал и всегда, во всем искал обходных путей. Когда не находил их, что случалось нередко, страдал от своей ущемленности и вместе с тем любовался ею, видел в ней подтверждение своего личного превосходства над серым середняком. Панацеей от всех болезней России считал только демократическую республику, но и здесь был тоже теперь ущемлен: на развитие демократии в послевоенной России Гитлер не давал никаких надежд. Поэтому Змий остро ненавидел немцев и злобно шипел на них при каждом удобном случае, конечно, не в печати.

Вольский признавался откровенно, что у него совсем нет политических идеалов. Прежние, комсомольские, рухнули. Новые еще не выработались. Единственное, чего он хотел для освобожденной России, это установления в ней твердой власти.

— Пусть монархия, пусть даже военная диктатура, — говорил он, — но без поножовщины, без братоубийства, без грабежа. Скорее к мирной обывательщине, потому что все устали.

На почве этих разногласий нередко возникали споры о направлении газеты. Спорили главным образом Брянцев и Крымкин при непременных страстных репликах Жени. Котов при этих спорах хранил полное молчание. Политическая направленность газеты занимала его гораздо меньше, чем возможность выпуска толстого беллетристического журнала. А с ним не ладилось: материала было в избытке и вместе с тем … его не было. В редакционном портфеле этого журнала, бережно хранимом Котовым в его столе, лежали три тетради лирических стихов Елены Николаевны, автобиографическая повесть самого Котова, развернутая на фоне его пребывания в ссылках и тюрьмах НКВД, ворох такого же рода воспоминаний меньшего объема и сниженного литературного уровня. Больше ничего.

— Это вполне естественно, — говорил Брянцев, — когда человеку больно, нестерпимо больно, он может только кричать и только о своей боли. Только. Но заполнять этим криком двести страниц журнала, им одним, конечно, нельзя. Будем ждать.

ГЛАВА 24

Брянцев и Миша выехали в Керчь ранним утром на легком военном автомобиле в компании какого-то незнакомого штабного зондер-фюрера. Они заняли заднее сидение, он поместился рядом с шофером.

— Говорят, у немцев переднее место почетнее считается, а по мне заднее лучше, — вытянулся, откинувшись на мягкую спинку Миша. — Здесь есть куда ноги протянуть, а там сиди, как сморчок! К тому же и говорить нам с вами здесь удобнее. Смотрите, в степу весь покровский снег сошел, под зябь пашут и много! Один, два… шесть. Шесть пахарей вижу и все поодиночке. Значит каждый для себя.

— Фельдмаршал фон-Клейст разрешил свободный выход из колхозов с наделением выходящих землей и правом пользования инвентарем МТС, — ответил Брянцев.

— Так и надо. Эти, которые для себя засеют, грудью за немцев встанут, за свое добро!

— Да, инстинкт собственности глубоко в людях сидит, — не в ответ Мишке, но просто вслух высказал свою мысль Брянцев, — пожалуй, так же глубоко, кик инстинкт продолжения рода.

— А, по-моему, никакой биологии здесь не требуется, — сморкнулся за борт машины Мишка, — инстинктов, рефлексов этих. Просто жрать люди хотят — и все тут!

Автомобиль мягко катился по ровной, накатанной, прохваченной заморозком дороге. Просекли расступившуюся команду ремонтных рабочих — молодых девок-колхозниц вперемешку с пожилыми немцами, заштемпелеванными буквами ТОД.

Мишка присвистнул.

— Тю-ю-ю! Вот оно, почему мы скорость почти в сто километров развили — я всё вон на тот циферблат смотрю — дорога-то ремонтируется! Ну, немцы!

— Стратегическая, Миша, не забывайте этого.

— И черт с ней, что стратегическая! Все равно нам останется. А дорожка на все сто!

— Кому это нам?

— Как — кому? — удивился вопросу Брянцева Мишка. — Нам — русским, конечно, народу.

— Значит, по-вашему, немцы освободят нас от коммунистов, а потом, уложив на этом деле миллиончика два своих солдат, домой уйдут?

— За ихние потери платить, конечно, придется, — уверенно

проговорил Мишка, — и надо платить. Чтоб по чести, деньгами или чем другим. А уходить им тоже придется. Не уйдут, так попрем.

— Кто попрет? — не скрываясь, смеялся Брянцев.

— Мы, народ. И смеяться тут совсем нечему, — обиделся Мишка.

— Для этого, прежде всего, организация нужна, Миша, — подавил смех Брянцев. — Для организации — ее мозг, руководящий центр, правительство, а для него — люди.

— В самую точку попали, Всеволод Сергеевич. Своя русская власть!

— А для нее — люди, способные оперировать этой властью. Вот их-то и нет, — развел руками Брянцев. — Слушайте, что мне недавно Шольте рассказывал: в начале наступления, захватывая чуть ли не сотнями в день города и районные центры, немцы стали там учреждать местное русское самоуправление.

— Ну, как и у нас: коммунистов в бургомистры сажать! Не так это, не так надо, — сдвинув кепку на лоб, почесал затылок Мишка, — не то, не то.

— Они тогда несколько по-иному действовали, — продолжал, не отвечая ему, Брянцев, — предлагали самому населению выставлять кандидатов на руководящие должности. В ответ — полное молчание. Немцы стали тогда назначать надежных, по их мнению, подходящих, уважаемых людей: профессоров, бывших земских работников, известных населению местных интеллигентов из беспартийных. Вышло совсем плохо. Эти интеллигенты оказывались абсолютно неспособными к живой административной работе, боялись ее, боялись предоставленной им власти или попросту проворовывались. Немцам пришлось волей-неволей продвигать на руководящую работу коммунистов. Людей нет, Мишенька, людей нет! — вздохнул Брянцев.

— Да что вы, Всеволод Сергеевич, сами, словно партийный, рассуждаете! — накинулся на него Мишка. — Будто в России, кроме коммунистов, и людей не осталось! Не нашли — значит, плохо искали. Не там искали.

Машина замедлила ход. Зондерфюрер обернулся и спросил, указывая на работавших вблизи видимой уже станицы людей:

— Это, очевидно, крестьяне-индивидуалы? Я — агроном и меня очень интересует этот вопрос. Откуда у них инвентарь и лошади?

— Командование разрешило этим индивидуалам пользоваться сельскохо-зяйственными орудиями машинно-тракторных станций, а откуда лошади — я сам не знаю. В колхозах их почти не оставалось.

— Позовите, пожалуйста, этого крестьянина и спросите, — попросил немец.

— Эй, дядя! Дедок! — замахал ближнему пахарю рукой Брянцев. — Пойди к нам на минутку.

Пахарь приостановился, посмотрел из-под руки на машину и, торопливо замотал на рычаг плуга вожжи, по-стариковски, в раскорячку побрел к автомобилю, цепляя за комья взмета тяжелыми, облепленными талой землей военными ботинками.

— Себе, дедок, пашешь или на колхоз? — стараясь быть, возможно, веселее и ласковее, спросил Брянцев.

Но старик продолжал понуро, подозрительно смотреть на него. С ответом медлил.

— Ты, дедок, чего такого не думай, — пришел на помощь Брянцеву Мишка, — мы никакое не начальство. Так, из городу по своему делу едем. К немцам, вот, пристебнулись, — подоврал он, — размолу продажного нет? Яичек тоже? Маслица?

— В станице поспрошайте, может, и найдете, — все еще осторожно, точно с опаской ответил пахарь. Потом обмахнул Мишку наметанным глазом и сам спросил: — Якой станицы?

— Полтавской, — с полной готовностью ответил тот, — ну, а живу, где Бог даст, як уси теперь.

— Хороша была станица, богата, — отмяк дед. — Себе, сынок, роду своему пашу. Сын-то у меня в армии.

— Коников где промыслил?

— Коников? Гнедой по жребию с колхоза пришелся.

— А серый? — не унимался Мишка.

— Ладный конек… Большая была станица Полтавская, — потряс головой дед. — Серого Бог послал.

— Приблудился, — успокоительно уточнил Мишка. — Много теперь приблудных. Коровы тоже, — хитрил он.

— У меня такая думка: райисполкомовский он. На весь перед хромал. Заковали неуки, — болтал уже совершенно откровенно дед. — Заковали, потому и бросили. На левую и досель припадает. Ковали тоже называются…

— С кониками у тебя подходяще вышло. Ну, а кому жребий не перепал, те как?

— А вот как, — указал дед рукой на женщину и девочку-подростка, ковырявших землю вилами и лопатой, — вон как управляются.

— Немного таким манером наробишь!

— Много-немного, а вот уж вторую десятину поднимают. Не вру. Первую-то на моих глазах осенью засеяли. Теперь другую подымают. Потому, — свое. Для себя. Вот как! Не вру.

Мишка толкнул локтем в бок Брянцева: видите, мол?

— Так в станице, говоришь, может чего найдем? — довирал для порядка Мишка. — Ну, храни Господь, дедок! Поехали! — щелкнул он по воротнику шофера.

— Ечкина, Ечкина там спросите! В три окна дом на площади! — кричал, стараясь пересилить зафыркавший мотор, совсем подобревший дед. — Ечкина Семена! У него есть!

В станице, куда въехала машина, была расквартирована какая-то крупная военная часть. Солдаты в фельдграу сновали везде. Их было много больше, чем жителей. Автомобиль остановился у штаба на большой, пустынной площади, казавшейся особенно унылой от зиявших темными глазницами окон полуразобранного собора и окружавших его мертвенно-безлистных тополей.

— Здесь мы сделаем короткую остановку, — сказал, выпрыгнув на землю, немецкий офицер. — Я постараюсь достать чего-нибудь горячего на обед.

— Ну, а мы пока ноги разомнем. Искать Ечкина, конечно, не будем, на черта он нам сдался, — выскочил за ним и Мишка. — Богатая, видно, станица была, — обвел он глазами площадь, — смотрите, какие строения! А народу нет.

— По произведенной немцами выборочной переписи коренных казаков в станицах осталось лишь около десяти процентов, — ответил тоже сошедший на землю Брянцев.

— Вот это чесанули Кубань! Какое теперь может быть возрождение казачества?

Словно в ответ на эти слова Мишки из дверей штаба вышел совсем еще молодой красивый казак в новой, сшитой из немецкого сукна черкеске. Его тонкая талия была туго перехвачена наборным ремнем, отчего грудь и бедра казались чрезмерно выпуклыми. На пояске красовался большой кинжал в серебряных ножнах, а из-под газырей торчали остроконечные русские пули. Черного курпея кубанка была плотно надвинута на самые брови, отчего лицо казака казалось тоже чрезмерно нежным, даже женственным.

Казак подошел к Мишке и дружески улыбнулся ему:

— Не признаешь меня, Вакуленко? А я тебя зараз признала.

Мишка даже попятился от удивления.

— Олейникова я. С биологического. В один год с тобой в институт поступали. Признал теперь?

— Вот это так! Ты что ж теперь, в казака переформировалась?

— Сам, что ль, не видишь? — выпрямилась лихо, вскинув голову, девушка в черкеске. — Чем я от казака хужее? Меня с института на курсы связи направили, а я не схотела советской власти служить, утекла к дядьке в Крымскую. У его и отсиделась

до немцев, а как немцы пришли — зараз в сотню самоохраны вступила.

— А справу где раздобыла?

— С разных мест. Черкеску немцы пошили, поясок старик один, офицер, пожертвовал, а кинжал свой, дедовский еще. Может и от прадеда. На базу был закопан. Азиатский. Видишь? Клеймотамга, — вытянула наполовину не блесткий, бурый клинок со вчеканенной в него завитой мудреным узором надписью девушка. — Немец мне за него триста марок давал. И теперь купить набивается.

— Ты что ж здесь, при штабе или как?

— Нет, я с нашими в сотне. А сюда только вызвана. Всё генералам меня немецким показывают, — с притворной досадой продолжала девушка, — фотографии с меня сотни две сняли и к ордену теперь представляют, — совсем уже хвастливо добавила она.

— Ну, значит быть тебе генералом. Ты, Олейникова, меньше чем на атаманском звании не мирись! За какой же подвиг тебе орден выходит?

— Под Сухумом восстание было против советской власти. Однако, подавили его. Теперь повстанцы и просто дезики оттуда на нашу сторону тикают. В обход перевала малыми тропками ловчатся, лесами. Так наша сотня для облегчения им за Зеленчук выдвинута.

— В тыл советам? — вступил в разговор Брянцев.

— Там ни фронта, ни тыла нет. Зеленчук-то знаете? Глушь, лес, горы, буераки.

— Обед нам готов! Поторопимся! — кричал с крыльца офицер.

— Ну, всего! — протянул девушке руку Мишка. — Давай пять. Пока! Генералом станешь, — не дашь!

После обеда, усевшись в машину, Мишка долго молчал, потом, отвечая каким-то своим мыслям, твердо сказал Брянцеву;

— Нет. Ошибаетесь вы, Всеволод Сергеевич! И кроме партийных есть у нас люди! Не там немцы их шукают.

ГЛАВА 25

Немецкий офицер остался в станице Крымской. На переправе через пролив задержались и в Керчь попали уже затемно. Лица, к которому надлежало явиться, в маршбефеле указано не было, и Брянцев предпочел ехать не в комендатуру, где в это время, вероятно, был лишь один дежурный, а в магистрат. Там он быстро разузнал домашний адрес бургомистра, добыл провожатого и двинулся прямо к нему.

Дверь поместительного домика на одной из близких к морю улиц после долгого в нее стука отворил высокий седой старик с подстриженными усами и торчком эспаньолки. Вероятно, он уже ложился спать и встревоженный стуком накинул на себя первое, попавшееся под руку: на ногах его шлепали растоптанные, некогда вышитые бисером туфли, на плечах, как гусарский ментик, болтала пустыми рукавами женская зимняя кофта, подбитая вытертым беличьим мехом.

Брянцев отрекомендовался и представил Мишу.

Старик знал о его приезде, да и не мог не знать: о нем оповещали расклеенные по всему городу большие афиши, но к себе, да еще поздним вечером, не ждал. Он беспрестанно извинялся, шаркал ногами, теряя при этом то одну, то другую туфлю, и кланялся то Брянцеву, то Мишке, прижимая руку к сердцу.

— Прошу располагаться, как дома, — сказал он, включая свет, — а меня еще раз извините: исчезаю не больше как на пять минут, — снова шаркнул, потеряв шлепанец, надел его рукой и, пятясь задом, покинул комнату.

Брянцев осмотрелся. Комната была чем-то вроде гостиной или приемной провинциального интеллигента былых времен. Неизменный ковровый турецкий диван у стены, перед ним овальный столик, покрытый вязаною скатертью, а на нем украшенный перламутровыми инкрустациями альбом, подпертый металлическим мольбертиком.

У окон, на скамеечках, горшки с темнолистными фикусами и похожими на пауков рододендронами, на стенах — фотографии солидных бородатых родственников и их супруг с расшитыми веерами, а между ними — цветная репродукция картины Берлина «Остров мертвых».

«Удивительно, как всё это сохранилось», — думал Брянцев, вдыхая исходящий от дивана, от альбома и от фикусов запах минувшего.

— Смотрите, Миша, чудом сохранившийся осколок

исчезнувшего быта русской дореволюционной интеллигенции, — сказал он.

Мишка фыркнул носом и внимательно осмотрел большой портрет Карабчевского во фраке, с размашистой подписью в углу.

— И это чудило — тоже осколок?

— Вы о ком? Это портрет Карабчевского, блестящего адвоката и оратора дореволюционного времени.

— Нет, я про нашего хозяина. Он, кажется, кроме «извините» да «простите» и слов других не знает!

— Подождем. Вот он скоро вернется, может быть, и что-нибудь другое услышим.

Ждать пришлось недолго: в дверях появилась, словно выплывшая из них, полненькая, румяная, улыбающаяся старушка в шелковом платье цвета «фрез экразе», с юбкой до пят, а за ней вступил в комнату, именно вступил, а не вошел сам бургомистр в полностью преображенном виде. Теперь он не гнулся и не кланялся, но осанисто выступал, одетый в черную слежавшуюся визитку на одной агатовой пуговице, золотистый атласный жилет и галстух с широкими серебряными и черными полосами. Строгий стиль дореволюционного времени нарушала лишь мягкая серенькая рубашка, явно москвошвеевского производства.

— Залесский, бургомистр города Керчи, — отрекомендовался он, снова пожимая руку Брянцева, а потом с широким жестом: — Моя жена, Анна Ефимовна!

Старушка несколько застенчиво, но вместе с тем приветливо и ласково протянула руку Брянцеву, а потом уже, совсем ласково, с доброй старческой улыбкой всеми морщинками лица — Мишке.

Брянцев поцеловал ее руку, а Мишка неловко пожал, боясь сделать больно. Попытался даже расшаркаться, но вышло хуже, чем у бургомистра — намокшая подметка отстала.

Брянцев извинился за поздний визит.

— Зачем же извиняться? Ведь вы с дороги, — промурлыкала старушка, — никакого беспокойства нет. Я поздно ложусь. Это вот Петр Степанович рано заваливается, работы у него теперь очень много, немцы такие требовательные, пунктуальные, — Петр Степанович выразительно кашлянул в подтверждение. — Сейчас ужин подадут, — продолжала мурлыкать его супруга, — а пока поужинаете, и постельки вам будут готовы. Баиньки-то ведь, наверное, хочется? — обласкала она Мишку глазами.

Мишка в ответ тоже кашлянул, но не внушительно, как Петр Степанович, а смущенно, так смущенно, что кашель получился похожим на пробу голоса молодым петухом.

— Пожалуйте к столу, — пригласила хозяйка и открыла дверь, за которой слышался звон падающих на стол ножей и

вилок.

— Тише, тише, Маруся, — сказала она вполголоса торопливо накрывавшей стол девушке, — не надо спешить. А чашки для кофе на маленький стол поставьте, потом их подайте. Садитесь, кто где хочет, дорогие гости! Мы-то уже поужинали.

Столовая была под стать приемной: солидный орехового дерева буфет и такой же сервант с причитающимся ему по званию самоваром — имитацией под матовое серебро «фраже» с русским богатырем над краном, тяжелые стулья с высокими прямыми спинками и узорная полотняная скатерть, явно «от царского времени». На столе сервизные тарелки, тарелочки, вилки, вилочки большие и маленькие, такие же ножи, а на блюдах горка свежих яиц, холодная курица, масло в стеклянной масленке с такой же «фраже» крышкой.

— Как вам удалось сохранить всё это? — спросил, глотая голодную слюну, Брянцев.

— До революции неоднократно выступал, как защитник, на политических процессах. Я сам ведь правый эсер по убеждениям. Им был и им остался. При перевороте некоторые мои подзащитные пришли к власти. Это, конечно, сыграло свою роль, хотя пройти тюремный стаж все же пришлось, — с горделивым жестом добавил Петр Степанович, — восемь дней просидел в чека после разгрома Врангеля!

Между ног вносившей поднос с кофейником девушки, чуть не сбив ее, в столовую ворвался рыжий породистый сеттер, метнулся к хозяину, лизнул ему руку, а потом стал деловито обнюхивать брюки Брянцева.

Любивший собак Брянцев погладил его по волнистой, блестящей шерсти, взял одно из длинных, шлепавших по шее ушей и взвесил его на руке.

— Прекрасный ирландец! Ладный и рубашка нарядная, — почесал он за ухом собаку, — а как в работе? Не горячится? Стойку держит? Ирландцы всегда слишком нервны.

— Так вы тоже нашего полка? — обрадовался хозяин. — Теперь нет, успокоился, а по первому полю часто срывал стойку. Но ведь по себе-то как хорош? Правда? От вывозных родителей, медалирован. Я ведь кинолог, бессменный председатель жюри всех выставок при всех государственных режимах, — элегантно пошутил бывший адвокат, — специалист вне политики. Даже консультантом «Динамо» состоял по секции охоты и собаководства. В советские годы это благородное искусство, конечно, пало, как и все прочие. Но здешним воротилам собачек я все-таки подобрал, таких, что одно загляденье! В «Динамо» даже стаю гончих завел, костромичей. У бывшего псаря великого князя

Николая Николаевича породу добыл. Да-с, — хлопнул он себя по коленке. — Теперь немцы за эту стайку обеими руками схватились и куда-то в Баварию увезли. Я же это и устроил! Ведь надо спасать породу! Надо-с! — вдохновенно закончил он.

За ужином говорил, пожалуй, только Залесский. Не говорил, а ораторствовал, уверенно округляя каждую фразу и порой прерывая плавную речь эффектными паузами. Проголодавшиеся Брянцев и Мишка молчали и ели. Всё поданное на стол было очень вкусно и становилось еще вкуснее, когда старушка накладывала гостям своими пухленькими, в подушечках, ручками.

— Кушайте, кушайте, вы с дороги, — беспрерывно повторяла она. Мишка сначала дичился, стеснялся принимать повторные порции, но, увидев, что Брянцев берет их безо всякого смущения, и сам развернулся во всю ширь аппетита двадцатилетнего здорового парня. После каждой тарелки он добрел и теперь сам ласково, по-сыновьи, улыбался старушке.

— Да что вы, что вы, — я сыт по горло, не надо! Но та не слушала его и подкладывала, а он снова съедал.

Залесский говорил только о себе. Между первой и второй рюмками настоянной на мандариновых корках водке — рюмками, а не стопками, как привыкли пить водку в советское время. Брянцев успел прослушать детально изложенную повесть о юношеских томлениях и борениях университетских лет своего хозяина, о терзании его, как передового интеллигента «проклятыми вопросами»; между второй и третьей Залесский поведал о своих первых успехах на поприще адвокатуры, о блестящей будущности, предсказанной патроном Карабчевским своему талантливому помощнику. Но судьба, «Эдипов рок», обрушила на восходящее светило страшный удар; петербургские туманы и напряженная работа отозвались туберкулезом. Пришлось перекочевывать на благодатный юг, в провинцию, где Залесский сделал, конечно, все, что мог, но поле деятельности было слишком узко…

Все попытки Брянцева перевести разговор на иные, более интересовавшие его темы терпели полноте поражение. На Кавказе ходили слухи об острой нехватке продовольствия в оккупированном на год раньше Крыму, даже о голоде в некоторых его городах. В хлебородные районы Кубани валили из Крыма мешочники. Брянцев пытался расспросить Залесского о снабжении города. Тот отвечал скромно горделивым жестом, округло обводя раскрытой ладонью густо уставленный яствами стол.

— Продовольственный вопрос? Как видите, особенно не

голодаем, — отвечал он и тут же начинал целую серию анекдотических рассказов о восхищении обедавших и ужинавших у него высших немецких офицеров крымскими специальностями; лелля-кебабом, вяленой на солнце кефалью, чебуреками.

Из-за них даже приходится повара-татарина держать — скромно жаловался он на немецких гостей Брянцеву, — удалось разыскать старика, служившего до революции в «Европейской». Помните ее? В Севастополе? Там неплохо кормили. Теперь вот пригрел старика и он безмерно счастлив вернуться к своей работе. Но хлопотно! — трагически сжимал он ладонями седые виски. — Война — страшное дело, особенно современная, тотальная…

Когда по окончании ужина ласковая хозяйка провела гостей к приготовленным им постелям и удалилась с тихими словами — «Спите спокойно, Христос с вами!» — Брянцев быстро разделся и с наслаждением вытянулся под свежими, даже похрустывавшими крахмалом, простынями.

Мишка медлил. Он внимательно осмотрел подушки и всю постель, потом так же внимательно свою заношенную рубашку и кальсоны, покачал головой и выключил свет.

— Всеволод Сергеевич, — послышался в темноте его голос, — это как надо считать: буржуазия или интеллигенция?

— Вы о нашем хозяине? Какой же он буржуй в прошлом? Самый настоящий, чистопородный трудовой интеллигент, к тому же из каких считали передовыми.

Мишка в ответ только хмыкнул носом.

— Всеволод Сергеевич, — после паузы снова послышался его голос, — а, по-моему, не интеллигент он, а просто — шкурник, рвач, паразит…

— Тише, Миша, они могут нас услышать.

— И черт с ними, пускай слушают. Впрочем, старушку обижать жалко, она, как родная бабка. Я тихо вам скажу, знаете, пожалуй, правильно вышло, что революция большинство этой старой интеллигенции истребила. Сор она, мусор, балласт.

— Ну, это вопрос объемистый, Миша! Давайте его завтра решать, а сейчас лучше всего спать, — лениво отозвался уже засыпавший Брянцев.

— Я только еще два слова, — заторопился Мишка. — Скажите, Всеволод Сергеевич, как на ночь молиться надо?

— Что это вас вдруг молитвы заинтересовали? — даже очнулся от охватившей его дремоты удивленный этим вопросом Брянцев. — По-разному, Миша, молятся. Одни составленными уже раньше молитвами, как в церкви учат. Только я этих молитв не помню, а можно, как Лев Толстой: припомнить за день что

хорошего и что плохого сделал, продумать, прочувствовать это.

— Так правильнее. Подвести итог и взглянуть самокритически. Ну, спите! Не буду к вам больше приставать. Это я так. Потому что иной раз хочется как-то помолиться. Спокойной вам ночи!

Оба задышали ровно и спокойно. Потом кровать Мишки заскрипела.

— А он, наверное, сексотом при советах был. Все правозаступники подписку в НКВД давали, — сам себе, но вслух пробормотал Мишка.

Брянцев не отвечал. Он уже спал.

ГЛАВА 26

На следующий день Брянцев проснулся свежим и бодрым, каким давно уже себя не чувствовал. Прогулка на автомобиле, сытный ужин и сон на эластично пружинившей кровати, на какой он уже давно не спал, сделали свое дело. Он тщательно, не спеша, выбрился, физически радуясь горячей мыльной пене на щеках, потом долго плескался в принесенной девушкой холодной воде и теперь, стоя перед большим стенным зеркалом, пытался элегантно завязать потрепанный, скрутившийся в жгут галстук. Это ему не удавалось: то закрутка попадала на лицевую сторону узла, то какое-то рыжее пятно оказывалось на самом видном месте.

«Неважный вид для лектора, к тому же в незнакомой, чужой аудитории», — подумал он, осмотрев свой потертый пиджак и брюки, не удержавшие стоившей стольких трудов Ольгунке складки.

— А, в общем сойдет! Время военное, — решил он вслух.

— Вы это про что, Всеволод Сергеевич? — спросил еще лежавший на своем диване Мишка.

— Да вот галстуком своим недоволен. И вообще вид у меня не того. Не лекторский, — ответил Брянцев.

— Почему? У вас все в порядке, — осмотрел его приподнявшийся на локте Мишка. — Мое дело много хужее. А знаете, Всеволод Сергеевич, — я только теперь вот, при немцах уже, увидел, какие мы все сиромахи. Нет, что там ни говорите, а каждому хочется по-буржуйски жить, и никаких в этом пережитков нет, — потянулся он на диване так, что кости хрустнули, подпрыгнул на нем, распростершись всем телом, и поворочался на упругих пружинах. — Хорошо! Я в первый раз на такой койке спал. В моей хатенке, видели, какой топчан? А дома того хуже было — прямо на полу, вповалку.

За утренним кофе, таким же вкусным и с такой же обильной закуской, как ужин, Залесский планировал предстоящий день.

— Машину я заказал к десяти, уважаемый профессор.

Ученое звание, видимо, импонировало керченскому бургомистру, и он упорно величал им гостя, несмотря на то, что Брянцев уже несколько раз поправил его, пояснив, что он только доцент.

— Сначала, конечно, вы поедете в комендатуру представиться или явиться, как говорят в военном мире, а потом шофер доставит вас прямо ко мне. Я уже справлюсь с неотложными делами к этому времени, и мы двинемся на гору Митридата. Надо

признаться, что советские археологи там кое-что сделали, хотя бы расчистили подземный храм Цереры и вообще раскопали. Потом, милости просим, ко мне пообедать, отдохнуть, и вечером, к шести часам — в городской театр. Запаздывать не будем. У немцев это не принято. Пунктуальность доведена до секунд. Да-с, это не наша русская распояска! — щелкнул он по столу суставами пальцев. — А пока разрешите откланяться и просить вас чувствовать себя, как дома. Мне пора! Пунктуальность прежде всего, — повторил, подняв палец вверх и погрозив им кому-то, Залесский.

День так и потек по намеченному руслу. В комендатуре Брянцев сказал несколько официальных фраз и тотчас же откланялся, торопясь на гору Митридата, раскопки которой его очень интересовали. Осматривая их, он пытался восстановить в своем представлении всю картину жизни большого эллинистического города, но Залесский не давал ему сосредоточиться. Он целиком влег в роль ученого гида, сыпал ссылками на Плутарха, Тита Ливия и других классиков, не совсем кстати продекламировал даже несколько строк Овидия полатыни. Говорил, конечно, плавно, округло, слушая сам себя и любуясь своей речью.

Мишка внимательно его слушал. Так же внимательно присматривался к указанным им фрагментам, но по его лицу было видно, что он не удовлетворен объяснениями. В подземном храме Цереры студент быстро осмотрел хорошо сохранившиеся фрески, потом поскреб ногтем стену.

— Всеволод Сергеевич, — обратился он к Брянцеву, — а что эти древнеримские греки цемент умели производить? Смотрите, это не известка, — растер он меж пальцами кусочек древней штукатурки.

— А Бог их знает, Миша, думаю, что чем-нибудь похожим на цемент пользовались. Ведь эти своды выдержали тысячелетия и, смотрите, как хорошо сохранились.

— Как же это вы древнюю историю основательно прорабатывали, а такого важного факта не узнали? — упрекнул Миша Брянцева.

— Плохо нас учили, — снисходительно улыбнулся в ответ тот. — Вы правы, Миша. Плохо. Зубрили латинскую грамматику, хронологию, войны, а того, как жили тогда люди — не узнали.

— Прошу меня извинить, уважаемый профессор, но я возражаю, — вступился Залесский и посыпал, как из мешка, анекдотами о римских императорах и императрицах.

Время до шести вечера прошло незаметно.

— А я всё-таки побаиваюсь выступать перед таким большим

собранием, да еще в городском театре, — признался Брянцеву Миша, упорно выскребавший щеткой заношенный до зеркального глянца воротник своего пиджака. — Вдруг глупость какую-нибудь отворочу или того хуже — растеряюсь. Смеяться будут.

— Не робейте. Главное старайтесь говорить не по-книжному и не так, как в газетах пишут, а попросту, от себя, от сердца.

— Вот это и трудно — от сердца. Я ведь сам не знаю, что у меня в нем, то есть на нем, на сердце.

— Когда заговорите, воодушевитесь, оно само вам подскажет.

— Хорошо бы.

Театр был переполнен. Стояли в проходах, в «яме» оркестра. Два первые ряда кресел сплошь занимали немцы, среди которых смотревший из-за кулисы Брянцев увидел какого-то, окруженного особым почётом, далеко еще не старого генерала.

— Командующий германским флотом в Черном море, — шепнул ему Залесский. — Он у меня ужинал на прошлой неделе. Глубоко интеллигентный человек и даже понимает по-русски.

Брянцев не волновался. Бегло окинув наметанным глазом аудиторию, он разом установил преобладание в ней интеллигенции — служащих, по советской номенклатуре, в партере и ложах. Рассмотреть верхние ярусы он не смог, но, судя по доносившемуся оттуда гулу не сдерживаемых голосов, их заполняла рабочая молодежь.

Залесский, одетый теперь в уже отглаженную визитку и крахмальное белье моды 1914 года, в изысканной и даже высокопарной форме отрекомендовал Брянцева и с поклоном уступил ему место на переносной трибуне, по перилам которой еще висели клочья наскоро оборванного красного кумача.

Брянцев говорил спокойно, ясно, уверенно, но без пафоса и без подъема. Он не притягивал и не подтасовывал фактов, но четко проводил тенденцию добрососедской близости двух великих народов, освещал взаимные выгоды их сближения в прошлом и будущем. Но возбуждения, какое приходило к нему иногда при близкой его душе теме, теперь не было. Его мозг действовал точно, но сердце молчало.

Аудитория слушала его внимательно и наградила в меру громкими, вежливыми аплодисментами. Адмирал, а вслед за ним вереница ставших в порядке чинов офицеров, поднялись на сцену. Пожимали руку, благодарили. То и дело вспыхивал магний и щелкали фотоаппараты.

«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить», с облегчением подумал Брянцев, пожав руку последнего в шеренге зондерфюрера. Но уйти не пришлось. Высокий как жердь, болезненно-худой, полковник пригласил его на ужин в свое

собрание.

Доклад Мишки начался чуть не с провала.

— Господа, — начал он с непривычного обращения, споткнулся на нем, густо до жара в щеках покраснел и замолчал.

— Что? Разом на господах обсекся? — громко, с явной насмешкой, крикнул кто-то с верхнего яруса.

— Нет, не обсекся! — запальчиво выкликнул Мишка в ответ. — Вот слушайте …

Неуверенности в себе, застенчивости, смущения — как не бывало. Их разом прогнала выброшенная из полумрака галерки злобная, насмешливая реплика, в которой Мишка почувствовал голос врага.

Он начал рассказывать о первых днях после ухода советских войск, о разгромах продовольственных складов и магазинов изголодавшимися людьми, о «пиршествах» в студенческом общежитии. Рассказал о семейном студенте-колхознике Косине, поволокшем на себе в село груз гвоздей за сорок километров, о дышавшем мстительной ненавистью Броницыне, о его трагической смерти… И странно: плавный, логически безупречный доклад Брянцева слушали только с вежливым молчанием, а сбивчивую, нередко прерывающуюся речь Мишки жадно воспринимали всем затаившим дыхание залом. Даже не понимавшие его слов немецкие офицеры внимательно прислушивались к ним, стараясь угадать их значение на возбужденном, пылающем румянцем лице докладчика.

Имен Мишка не называл, но сказал несколько слов об участии студентов в подпольной антисоветской организации. Сказал, — и осекся, прикусил язык на полуслове. Ведь немцы слушают.

Потом резко перешел на характеристику другой, советской группы студентов — к Плотникову, Смолиной, вспомнил о Мирочке и снова осекся. А она кто? С кем она?

— Ну, а конечный твой вывод, бывший товарищ? — снова раздался тот же смелый, насмешливый голос. — Значит, наша советская молодежь к немцам лицом, а к советской родине задом оборотилась? Так, что ли, выходит?

Мишка ясно почувствовал, как что-то закрутилось, завихрилось не только в его мозгу, но во всем теле. Он с нечеловеческим напряжением искал нужной для ответа формулы, нужной фразы, нужных слов… Искал и не находил их. И вдруг с неожиданной для самого себя силой, словно подброшенный какой-то внутренней пружиной, крикнул невидимому врагу:

— Нет ее, этой твоей советской молодежи! Совсем ее нет! Одна пропаганда! Одно очковтирательство! Жить мы хотим — вот

какой мой конечный вывод! Жить! Бороться за себя, за народ свой, за Россию — вот что!

Зал грохнул аплодисментами. С верхнего яруса донеслись какие-то выкрики не то сочувствия и одобрения, не то протеста, а может быть и те и другие. Понимавший по-русски немецкий адмирал, мерно рубя указательным пальцем сверху вниз, многозначительно говорил что-то сидевшему рядом худому полковнику, указывая на Мишку.

— Рискованный финал выступления, — шепнул Брянцеву Залесский, ваш молодой друг слишком горяч и еще неопытен. Но талантлив, с темпераментом. Карабчевский оценил бы это, но рискованно, рискованно.

Однако опасения бургомистра не оправдались. Брянцев еще обменивался незначительными фразами с подходившими и представлявшимися ему русскими слушателями — керченской интеллигенцией, когда появился присланный тощим полковником офицер.

— Если вы уже закончили, то разрешите сопровождать вас в наше солдатское пристанище, господин профессор, — поклонился он, щелкнув каблуками. — А вам молодой друг? Где он? — оглянулся по сторонам офицер. — Полковник приказал обязательно привести и его. Высказанное им очень понравилось адмиралу.

Но Мишки не было. Напрасно Залесский посылал всех, кого только мог, искать его по всему опустевшему театру. Ни в полутемном фойе, ни в зале, ни даже в уборной его не нашли.

Как в воду канул!

ГЛАВА 27

Стол, уже накрытый, в офицерском собрании был полной противоположностью столу Залесского. Там — обилие всевозможных кушаний и закусок, но только один маленький графинчик золотистой, настоянной на померанце, водки. Здесь — длинный ряд всевозможных бутылок, с явным преобладанием, как разом заметил Брянцев, хорошего французского коньяка. И только две скромные тарелки с тонко нарезанными ломтиками серого солдатского хлеба и разложенными на них такими же тощими кружками светлой ливерной колбасы.

В большой комнате, служившей прежде для пленарных заседаний городского комитета партии, стоял сохранившийся с тех времен стол в форме буквы «П» и те же обитые дерматином кресла и стулья. Все остальное было уже немецким: большой олеографический портрет Гитлера между скрещенных древками знамен, на других стенах — фотографии павших в боях офицеров и солдат над зелеными веточками лавра, прибитыми под ними, столик с немецкими газетами. Все в полном порядке, все прибрано, обметено, вычищено до лоска.

«Ни одного лозунга, ни одного плаката!» — удивлялся Брянцев.

Тощий полковник встретил его у дверей и повел под руку к месту рядом с собой во главе стола. Все офицеры — их было человек двадцать — тотчас же, строго по чинам, стали у спинок стульев. Полковник сел, за ним опустились на кресла капитаны, после них лесенкой лейтенанты и, наконец, заняли свои места младшие зондерфюреры. Полковник налил себе рюмку коньяку и в том же стройном, последовательном порядке бутылки стали опускать свои горлышки. Полковник поклонился Брянцеву и выпил — двадцать голов опустились и двадцать рюмок опрокинулись в рты капитанов и лейтенантов.

«А скучно, вероятно, так жить», подумал Брянцев, вспомнив веселую сутолоку ужинов в русских офицерских собраниях, корнетские шутки вполголоса, приказ-разрешение командира полка быть без чинов… «Все какие-то деревянные, словно не люди, а заводные солдатики. Но в этом-то, вероятно, и сила их армии».

Болезненного полковника ужин явно тяготил. Он пил рюмку за рюмкой, но его обтянутое сухой кожей лицо оживилось, лишь, когда Брянцев сказал что-то вскользь о том, что и он был офицером, участвовал в первой войне. Тогда тусклые глаза старика заблестели, и на его блеклых щеках проступило что-то

вроде румянца.

— Вы были на перевале Горлица? В конце 1915 года? — переспросил он Брянцева. — Я тоже был там тогда в корпусе генерала фон Макензена. Быть может, мы сражались даже друг против друга? А теперь мы идем с вами к одной цели, плечом к плечу. Жизнь изменчива, не так ли? Позвать музыкантов! — громко приказал он адъютанту.

«Неужели у них здесь даже оркестр есть? — удивился Брянцев. — До сих пор я не видел ни одного в немецкой армии».

Но вернувшийся адъютант привел только двух солдат: одного пожилого, с большой многорядной гармонией, другого молодого — с маленькой, визгливой.

«Начнут, конечно, с нацистского гимна», подумал Брянцев. Но вместо надменных, кичливых аккордов нацистской песни раздалась незатейливая, веселая мелодия хорошо памятного Брянцеву марша.

— Это «Старый егерский»? — обернулся он к полковнику. — Мы знаем его, он был очень распространен в русской армии.

— В военных маршах и песнях выражается дух солдата, — кивнул головою тот. — У нас также играли русские марши, например, из какого-то балета Глинки. Мы называли его «Лошадки». Немцы любят музыку и понимают ее язык. Я тоже отдал ей много часов моей молодости. Потом они сыграют одну пьесу специально для вас, как для русского офицера.

Полковник кивком подозвал адъютанта и что-то тихо приказал ему. Тот, не прерывая музыки, зашептал на ухо старшему гармонисту. В ответ — кивок головы.

Маленькая гармошка задорно отсвистала последнюю руладу марша. Старший музыкант растянул меха своего огромного инструмента, младший смотрел на него с немым вопросом.

— Боже, Царя храни… — торжественно запели величавый мотив басы большой гармонии.

Первым порывом пораженного Брянцева было стремление встать, но он подавил его… Фальшиво будет и даже смешно.

Сильный державный царствуй на славу, — все шире и шире разливались могучие волны звука, и захваченный ими, унесенный их половодьем Брянцев не заметил, что сидевший с ним рядом полковник встал. Сквозь набежавший на его глаза туман он увидел лишь вставáвших вслед за ним офицеров и тогда вытянулся сам и замер.

— Царствуй на страх врагам.

За стеной грохнуло, и осколки оконных стекол посыпались в комнату. Несколько офицеров вскочили из-за стола, но остальные, взглянув на стоявшего неподвижно полковника,

остались на местах. Старый гармонист продолжал спокойно и уверенно перебирать клавиши, растягивал и сжимал мехи своего инструмента. Молодой сбился с мотива и замолк.

Донесся гул еще одного разрыва, уже откуда-то издалека, и ему ответили несколько таких же далеких хлопков.

— Проказы мальчишек, — устало сказал Брянцеву опустившийся при последней ноте гимна на свой стул полковник. — Советские авиаторы иногда навещают нас по ночам. Мы не держим здесь значительной воздушной охраны. Нет смысла. Авиация врага слишком слаба, чтобы создать реальную угрозу.

— Сброшено две бомбы малого калибра, — доложил вернувшийся от телефона офицер. — Одна упала на соседнем дворе.

— Проказы мальчишек, — повторил полковник. Потом медленно допил свою рюмку и, почти прикрыв глаза тонкими желтыми веками, не оборачиваясь к Брянцеву, устало проговорил:

— Я думаю, что если бы этот гимн звучал бы теперь на вашей родине, то мы не слышали бы только что раздавшихся разрывов бомб. Две колоссальных войны, крушение двух крупнейших империй и, что еще важнее, двух сложившихся веками политических идеологий — это слишком много для одной человеческой жизни. Слишком много. Но я рад, что прослушал этот русский национальный гимн вместе с вами, с русским офицером, — добавил он, вставая и пожимая руку Брянцеву. — Очень рад. Уже время, господа, — повернулся он к офицерам, — доброй ночи.

Офицеры снова, как по команде, вскочили.

ГЛАВА 28

Вернувшись в дом бургомистра, Брянцев и там не нашел Мишки. Супруги Залесские не ложились, ожидая его за накрытым к ужину столом, но Брянцев отказался и ушел, уклонившись от разговоров, в отведенную ему комнату.

Спать не хотелось. Давно не слышанные им звуки русского гимна возбудили хаос дремавших или приглушенных в его душе чувств. Он пытался разобраться в этом хаосе, «налепить этикетки и расставить по полочкам», как говорила знавшая его эту черту Ольгунка, но не мог.

«Русский национальный гимн на немецкой гармошке, в немецком офицерском собрании. Разрывы русских бомб, сброшенных русским летчиком на русский город? Даже не парадокс, а просто нагромождение нелепостей. Две России? Два враждующих между собою русских народа? Бред! Часть не может стать целым, как и целое — частью самого себя. Бессмыслица! Психостения истории. Да где же, наконец, она, эта Россия, черт ее дери? Или вообще Existe-elle, la Russia, как выкликал в предсмертной тоске Степан Трофимович Верховенский? Так, что ли?»

Брянцев походил по комнате, выкурил одна за другой три сигареты, разделся, лег в постель, но не выключил света, словно темнота была ему страшна.

За дверью послышался шум, и в комнату, стараясь ступать потише, боком протиснулся Мишка.

— Не спите еще? И бургомистр не ложился. Вот хорошо. А я боялся, что стучать в дверь придется, и весь дом взбудоражу.

— Где вы пропадали? Мы вас по всему театру искали, — накинулся на Мишку Брянцев.

— Бургомистр говорил мне. Да, понимаете, такое дело получилось: сам не знаю как, — смущенно оправдывался студент, — меня прямо после доклада, с трибуны, наши ребята с собой к ним потащили…

— Какие еще «наши ребята»? Откуда они взялись? И куда это «к себе» вас потащили? — строго допрашивал Брянцев.

— Наши… Ну, значит, русские, свои ребята, хотя и в немецком обмундировании. А куда «к себе» — этого я и сам не знаю, — развел руками Мишка и плюхнулся на свой диван, так что пружины запели гитарами.

— Ну, от вас, очевидно, сегодня толку не добиться. Давайте спать.

— Почему это? Пьян я, что ли? — обиделся Мишка. — Очень

даже можно толку добиться. Сейчас я вам все по порядку расскажу. Только отдышусь вот, а то уж очень торопился.

Значит, так. Подходят ко мне русские ребята, человека четыре, в немецкой форме, и прямо говорят: «Едем сейчас к нам, поговорить с тобой надо», хватают под руки и ведут.

— А вы даже и кто они не спросили?

— Какие там могли быть вопросы! Толкучка-то какая была? Я вам сказаться хотел, но вас так окружили, что и не пробиться. Ну, приехал я к ним на машине.

— Куда это «к ним»?

— Ну, в их часть, значит … Какая-то особенная, вроде разведки в тылах … Все в ней русские, даже командира Петром Ивановичем зовут, хотя он немец. Наши это, только с той стороны: из Германии, из Болгарии тоже.

— Эмигранты гражданской войны?

— Нет, эмигранты — старики, а эти молодые. Я их спросил: кто они? Отвечают: русские люди и смеются. Очень хорошие, совсем свои ребята.

— О чем же вы с ними говорили? — продолжал вопросы сам заинтересовавшийся этой встречей Брянцев.

— О многом, Всеволод Сергеевич, очень о многом. И вообще об России, и про наших студентов рассказывал, и про колхозы … Про все… Они, Всеволод Сергеевич, в некоторых случаях лучше нас разбираются и главное, вот … это вот… — запнулся Мишка и, не находя нужного слова, вертел растопыренными пятернями. — Душа в них наша русская чувствуется, вот что.

— Партия это, что ли, какая-то эмигрантская?

— Может быть и партия, — согласился Мишка. — Мы все торопились с разговором. Времени мало, я запоздать боялся. Одно могу вам сказать: такие люди нам очень нужны!

— Из чего это вы так быстро могли заключить? Раздевшийся во время разговора Мишка лет на диван, укрылся одеялом и отвечал уже спокойнее, не волнуясь.

— Вот из чего. Мы в темноте, пожалуй, что даже в тюрьме жили, а они на воле. Значит, и знают больше нас. Мы, вот, молодежь, один марксизм только долбили, а они и критику его. Ясно? Очень нужны нам такие люди.

— Ну, этого еще мало, — возразил Брянцев. — Критику марксизма те же нацисты еще глубже штудируют, а нужны они нам в России? Как думаете, Миша?

— Пока что и они нужны. А там дальше посмотрим.

— Да вы-то сами можете точно разграничить, кто нужен России, кто не нужен? Я вот не могу, — сознался откровенно Брянцев и сел на своей кровати.

— А я вот могу, — тоже выскочил из-под одеяла Мишка. — Я русского человека нюхом чувствую. Вы вот, к примеру, нужны, а хозяин наш, бургомистр, не нужен, хотя вы и одного с ним поколения.

— Ишь, провидец какой! — усмехнулся Брянцев. — Одним росчерком пера дипломы на звание полноценного русского человека выдает … А ну, давайте пошире мозгами раскинем, переоценим, согласно вашего чутья, имеющиеся в русском национальном арсенале образцы.

— Кто это?

— А так, — увлекся сам своей выдумкой Брянцев, — я буду называть вам наиболее яркие типы из числа показанных в русской литературе. Хотя бы по курсу девятнадцатого века. А вы отвечайте на каждого: нужен он или не нужен. Это будет интересно. Начинаю: Чацкий?

— Бузотер! На какого он черта нужен?

— Вот так здорово! — даже ноги спустил с кровати от удивления Брянцев. — Российская критика прогрессивного и гуманного девятнадцатого века мильон терзаний в нем насчитала, а представитель молодежи зари коммунистической эры в бузотёры его же ахнул!

— Куда кроме? Судите сами, Всеволод Сергеевич: приперся этот Чацкий с утра на чужую квартиру и до позднего вечера спокою никому не давал. Со всеми переругался … Как же не бузотер? Вечером на собрании наскандалил … Домой уходить не хочет … Добро бы еще пьян был, а то трезвый. Конечно, буза и ничего кроме.

— Так, по-вашему, Молчалин со Скалозубом лучше?

— Лучше там или не лучше, это дело десятое, а полезней — это факт. Чем Скалозуб плох? Орденоносец, боевой командир, дело свое знает — значит, соответствует назначению. Молчалин тоже все учреждение на себе тащит при ни к черту не годном заве. Плохо, что ли?

— Ладно, спорить не будем. Идем дальше. Онегин с Печориным?

— Нашли тоже о ком спрашивать! Я лучше сам вас сначала спрошу: вот чем бы Онегин сейчас жил? Служить ему пришлось бы, конечно, в каком-нибудь учреждении. Что бы он в нем, кроме входящих и исходящих, мог бы вести?

Брянцеву так живо представилась изящная фигура Онегина, склоненная над затрепанной тетрадью входящих-исходящих, что он с искренним смехом повалился на подушки.

— Чего вы смеетесь? Правда ведь? Куда? Ни на черта он не годен. Даже по своей любовной специальности и то дров

наломал: прохлопал Татьяну. Печорин же того хужее. Скажите, пожалуйста, «возможности для применения своих сил не нашел», как вы сами нам говорили. Это в Россиито? А почему Ломоносов нашел, почему Суворов нашел, да и тот же Максим Максимыч тоже нашел? Вот этого Максима Максимыча я очень уважаю. Таких нам надо. А Печорина с другим паразитом, Вольтовым, в концлагерь хотя бы на годешник поместить следовало: там они б нашли свою точку.

Брянцев перестал смеяться. Страстные, возбужденные слова Мишки открывали перед ним совершенно новую, не известную ему сторону мышления молодежи. В стенах института никто так прямо и резко не высказывался. Изредка в вопросах студентов может быть, и слышались созвучные ноты, но не прямо, а в обход, обиняком, и Брянцев приписывал их марксистскому воспитанию. Здесь же было совсем другое: вместе с отталкиванием именно от этого марксистского воспитания Мишка отталкивался разом и от того, что даже марксисты ценили в русском прошлом.

«Вот оно что, думал Брянцев, а ведь даже и со мной они скрытничали, молчали, хотя, безусловно, доверяли мне. Впрочем, может быть и иначе: тогда сами не сознавали, были подавлены нагромождением чуждых их нутру принудительных формулировок, а теперь это нутро вскрылось и выталкивает, выблевывает насильно напиханное в него».

— Ну, а Чернышевский и его герои, — решив идти напролом, спросил Брянцев.

— Эк кого вспомнили. Чернышевского! — захохотал теперь Мишка. — Да ведь его «Что делать» даже самые твердокаменные комсомольцы до конца не дочитывают. Что делать! — еще громче раскатился он смехом. — О том, что на самом деле делать надо, чтобы человеком стать, там ни слова не написано. На голых досках спать и одним хлебом питаться, как этот Рахметов? Какая от того кому польза? Кого привлечешь такого рода выдвижением? Дурак он на большой с присыпкой этот Рахметов был, если только существовал на самом деле … Однако, думаю навряд: таких малохольных, наверное, и тогда не бывало.

— А ведь не мое, а предшествовавшее моему поколение российской интеллигенции в идеал его возводили. Студенты тогда пели:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его, за его идеал,

— тихо, чтобы не разбудить хозяев, пропел слова старой

студенческой песни Брянцев.

— Пели, пели да и допелись. Не обижайтесь, Всеволод Сергеевич, а скажу: поделом! Вот все твердят теперь: Россия была технически отсталой во всех отношениях страной… А скажите, пожалуйста, кто эту самую технику должен был внедрять? Неграмотный крестьянин? Нет, должны были это печорины, бельтовы, рахметовы делать — вот кто, а они пели, скучали да девчонкам головы крутили…

— Ну, нельзя же так, Миша. Были общественные, экономические факторы, тормозившие техническое развитие. Мишка хитро засмеялся.

— На чужие плечи перекинуть хотите? Нет, давайте мы по той же литературе разберем. Печорин своих солдат современной ему военной технике учил? Нет, он на диване валялся, да на курортах пол полировал. А Онегин, что в своем именье делал? А Чацкий? С министрами в тесной связи был, а одним только языком болтал. Брянцев молчал. Что ему было сказать?

— Вы, я вижу, спать уже хотите? Ну, я еще немножко на ту же тему пройдусь, — не в силах остановить поток нахлынувших на него мыслей проговорил Миша, — только про «Войну и мир»…

— Да что нам с вами говорить, — грустно отозвался Брянцев, — по-вашему, всё мышление русской интеллигенции прошлого века надо насмарку пустить.

— Нет, как раз не насмарку. Вот в «Войне и мире» и про других написано, которые тогда были нужны, и теперь и в будущем будут нужны.

— Вы о Пьере?

— Ну, его туда же… к Чацкому! Такой же пустоболт, да еще кисель к тому же. Нет, вот про Тушина, Денисова, Долохова, ну и, конечно, за Кутузова хочу сказать, вот за кого.

— О Тушине — я вас понимаю. Ну, еще Денисов туда-сюда. А что положительного вы нашли в Долохове? — снова удивился Брянцев.

Миша помолчал. Потом тихо, с идущей от самой души теплотой, проговорил:

— Вы Броницына, которого недавно убили, помните? Так вот он Долохов и есть. Современный Долохов — в точку: и жесток был, и мстителен, и на людей сверху вниз с презрением смотрел, а изо всех своих друзей я его крепче всего любил … И теперь люблю.

Снова помолчали. Брянцев ждал дальнейших слов Мишки и знал, что они будут произнесены.

— Плох он или хорош — не знаю, а только нужен в нашей жизни Долохов, Всеволод Сергеевич. Как метла в комнате нужна.

Грязная она, жесткая, в углу стоит, а свое дело делает. Нужное дело. Может быть, оно и ей самой тяжело, противно даже, а знает, что нужно. Вот и Долохов так. Они и теперь есть, Всеволод Сергеевич, а будет их еще больше. Андреи Болконские тоже есть, а Денисовых — сколько угодно, сам видел … Даже в Красной армии.

Снова замолчали. Волнения дня и возбуждение от ночной беседы утомили обоих. Но заснуть Брянцев не мог. Он не только чувствовал, но и умом понимал, что приоткрыл завесу чему-то большому и совсем ему неизвестному… Быть может, завесу, отделяющую будущее от минувшего.

— Не спите еще, Миша? Теперь я хочу один вопрос вам задать.

— Задавайте, — ответил Мишка сонным голосом.

— Каким же, по-вашему, должен быть этот самый «герой нашего времени», нужный современной России человек, нужный, а не лишний в ней?

— Это уж сказано, Всеволод Сергеевич, даже в стихах написано, — очнулся от дремоты Мишка, — вы и сами знаете.

— Нет, не знаю. Скажите.

— Каким? — было слышно, как босые ноги вскочившего с дивана Мишки шлепнули об пол. — Каким? А вот каким:

Чья не пылью изъеденных хартий
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой по разорванной карте
Намечает свой дерзостный путь.
Иль бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,

— вот каким, Всеволод Сергеевич, должен быть герой нашего времени! Чтобы старую карту к чертям изорвать, да на клочках ее свой дерзостный путь наметить.

ГЛАВА 29

Обратный путь из Керчи промелькнул быстро и незаметно. В Новороссийске и Краснодаре Брянцев почти слово в слово повторял свой первый доклад. Мишка варьировал свою тему, излагал ее спокойнее, логичнее и складнее, чем в Керчи, но уже без того боевого задора, которым он, помимо своей воли, закончил свое первое выступление.

Брянцев торопился. Все его мысли были в редакции. Как там справляются без него? Техническая сторона газеты его не беспокоила, он знал, что методичный, целиком погруженный в работу Котов не допустит какого-нибудь прорыва, а вот внутренняя жизнь самой редакции? Она теперь очень усложнилась по сравнению с первыми днями выпуска газеты. Тогда все сотрудники были охвачены только одним чувством протеста против советчины во всех ее видах, и это их спаивало, объединяло. А теперь, когда в их среде наметились и определились различные политические воззрения — возникли противоречия, доходившие порой до острых конфликтов. Это требовало такта, внимательного регулирования, сглаживания углов. Таким регулятором мог быть только он сам. Шольте, несмотря на свой ум и осведомленность, подходил к сотрудникам — русским интеллигентам — со своею немецкою меркой, не ощущал всей сложности их внутреннего строя, поэтому иногда сам терялся. А тут еще неистовая Женя, дразнящий и раздражающий всех Пошел-Вон… Такая может получиться каша, что потом не расхлебаешь… Лишаться же кого-нибудь из сотрудников Брянцев не хотел: все были нужны, тем более, что издательство расширяется, и Шольте настаивает на привлечении новых сил для выпуска молодежной и крестьянской газет. Снова узкое место, требующее тактического и тактичного маневрирования: Шольте хочет привлечь к работе оставшихся в районах и в городе, выползающих теперь из щелей бывших партийцев, но все сотрудники, на этот раз дружно и сплоченно, протестуют. Скорее, скорее домой! К тому же и дорога улучшилась: подморозило, местами лежит даже снег. Машина плавно катится по ровной, накатанной, блестящей, как стекло, ленте, просекает опустевшую степь, на глади которой топорщатся лишь широкие деляны неубранных кукурузы и подсолнуха. По ним небольшими стайками бродят женщины с подоткнутыми подолами и ребятишки в налезающих на уши отцовских шапках. Одни ломают жухлые початки и сваливают их в небольшие вороха, другие медленно бредут к жилью, сгибаясь под тяжестью

вязанок сухих, мерзлых стеблей подсолнуха и кукурузы.

— Зима подошла, — констатировал Мишка, — в этом году по халупам тепло будет: тащи будыльев сколько хочешь, только успевай!

— А разве раньше в колхозах мерзли? — спросил Брянцев.

— А то нет! Вы, городские, думаете, у колхозников все свое, все под рукой, ему жительствовать от вас легче. К пригородным колхозам это еще кое-как подходит. Верно. Вынесет баба на базар молочка, кислянки, а то маслица или яичек — глядишь, и с деньгой. А в дальних колхозах по-иному. До базара пешком не допрешь — времени нет, на одном молоке тоже не прокормишься, да не у всех там коровы свои есть — кормить нечем. А продналог давай. Муки выдадут по полмешка на едока — и все. Топливо тоже … За такую вязанку, как теперь вон несут, по пять и по восемь лет присуждали. Тут и крутись, как хочешь … Трудно, очень трудно зимой в колхозах.

— Ну, а праздники, Рождество там все-таки справляли? — спросил Брянцев.

— Это вы насчет елки? Нет, Всеволод Сергеевич, у нас по казачеству такого заведения нет. Я эту елку только в школе впервой увидел.

— Ну и как? Понравилось?

— Что в ней там было хорошего, — поморщился Мишка. — Соберут ребят на каникулах, учителей тоже, конечно … Школа не топлена. Ходят все вокруг этой елки и подарков ждут. Учителя круг сбивают, какие-то песни поют. Кому это интересно? Дожидаемся мы, ребята, подарков, завалим в зевло все леденцы, да и тягу! Дома-то хоть на печи обогреешься, да и веселее все-таки.

— Нет, не в школе, а дома встречали? Молились на праздниках?

— Кто постарше, конечно, молился, «Рождество Твое Христе Боже наш» даже пели, ну а мы, молодежь, этого не знаем. Мы — на улицу.

— А вы в Бога веруете, Миша?

— Как же иначе, Всеволод Сергеевич? Конечно, верую. Кто же, кроме Него, кроме Бога, мир мог создать? Все это, что насчет жизненных клеток и процессов там разных говорят — одна буза.

Откуда же первая-то клетка взялась? Сама по себе зародилась? Такого не бывает. Значит, Бог ее сотворил, а не кто другой. Ясно.

— И молитесь Богу? — мягко нажимал на дверь в душу студента Брянцев.

— Нет, Всеволод Сергеевич, — доверчиво раскрыл ее

Мишка, — этого я не умею. Когда бабка была жива, так она учила: поставит на коленки и велит двумя пальцами креститься, а я вслед за отцом тяну, как он: тремя.

Бабка меня сейчас по затылку — хлест! «Сатаненок ты настырный, анафема!» И на руку мне плюнет. Молитвы тоже повторять за собой заставляла … Ну, а как она померла, я все разом позабыл.

— Молиться и по-другому можно, Миша, своими словами. Просить Бога о чем-нибудь, например.

— Это бывает. Это даже часто мне хочется. Я и говорю тогда: Дай мне, Господи, то-то и то-то … Только какая же это молитва? Это так, разговор.

— Ну, а про Иисуса Христа вы знаете? Слышали?

— Это знаю, Всеволод Сергеевич, — засветился улыбкой Мишка. — Это мне дружок мой, Гриша Броницын рассказывал. Очень-очень мне нравится … Как Он блудницу от казни единым словом спас, как на смертный подвиг за людей сам, невинный, пошел… Или как народ с горы поучал. Эту всю Его программу я даже записал и в точности запомнил. Правильная она. Лучше и не надо. Все это очень-очень… — не нашел нужного слова Мишка. — Только у Броницына получалось, что Христос не Богом, а человеком был, самым распрекрасным человеком, каких больше и быть не может. А я про Бога узнать хочу, Всеволод Сергеевич, — совсем уже доверчиво, по-сыновьи мягко и грустно закончил свою исповедь Миша.

— Что же вы о Нем знать хотите?

— Мне это очень трудно вам разъяснить … Хочу, чтобы Он помог мне понять, что плохо и что хорошо, что надо делать и чего не надо… Чтобы во мне жил, во мне самом. Чтобы было, примерно, как когда есть хочется … Чтобы я знал, что услышу Бога — и ладно будет. Помолился — и все понятно … Нет, не умею я этого рассказать вам, Всеволод Сергеевич! Чувствую, а выразить не могу.

Задушевный разговор Миши и Брянцева был прерван донесшимися до них отчаянными криками.

— Всеволод Сергеевич, уважаемый редактор! Брянцев! Господин Брянцев!

Брянцев и Мишка оглянулись в сторону этих криков и остолбенели. Представшая перед ними картина была действительно фантастична. По полевой дороге, шедшей к трассе, двигалась мажара, впряжены в нее были замызганная лошаденка с выщипанным хвостом и пузатая корова с отвислыми сосцами дряблого синеватого вымени. Правила этой парой замотанная до глаз платком баба в ватной телогрейке военного образца. Над

полком мажары возвышались три яруса ящиков и плетенок, а на этом сооружении восседали Пошел-Вон и немецкий солдат, обнявшиеся из чувства самосохранения и балансировавшие при толчках на выбоинах. Из щелей ящиков и между прутьев плетенок со всех сторон торчали гусиные головы на по-змеиному извивавшихся шеях.

Гуси гоготали. Пошел-Вон неистово орал. Баба колотила хворостиной коровенку. Сохранял спокойствие один лишь солдат, не то державший за талию вихлявшегося во все стороны Пошел-Вона, не то державшийся за него.

Корова вполне обоснованно с ее коровьей точки зрения решила посторониться от обгонявшего воз автомобиля и повернула на пахоту. Лошаденка подалась за нею. Воз накренился, как корабль в бурю, гуси с трепетным волнением загоготали, а Пошел-Вон и немец, не размыкая тесных объятий, спланировали на землю и сели на ней в той же позе.

Вопли Пошел-Вона после этого изменились как по форме, так и по содержанию. Теперь он выкрикивал высоким фальцетом ругательства на четырех диалектах Верхней и Нижней Германии, чем, безусловно, восхищал молчаливого немца. Не уложившись в рамках языка Гёте, он перешел на язык Шекспира, потом на французский, блеснул яркими молниями благородной кастильской речи и закончил исторгнутой из самых глубин сердца русской клеветнической идиомой по адресу матери того же немца.

Оглушенный этим потоком слов немец молчал. Мишка и Брянцев схватили друг друга за плечи и тряслись в спазмах безудержного смеха.

Пошел-Вон освободился из объятий отпустившего его при виде военного автомобиля немца и, спотыкаясь на пахоте, но, все же ритмически вихляясь, подошел к Брянцеву.

— Черт знает что, глубокоуважаемый герр обершрифтлейтер, — обратился он к нему по-немецки, очевидно, ради солдата и затем перешел на русский, — это называется освобождением? Скажите, пожалуйста, — что за освобождение, если честный человек не может везти домой рождественского гуся?

— Ну, тут у вас их штук пятьдесят, — преодолевая смех, сказал Брянцев.

— Ровно шестьдесят и семьдесят позади, на другой подводе. Всего сто тридцать. Но количество не изменяет принципиального значения факта. Свободы нет! Личность подавлена! Разнузданная военщина попирает основные права священной собственности — это факт!

— Давайте лучше без философии, — прервал поток его красноречия Брянцев. — Изложите понятным языком, что, собственно, произошло? Почему вы здесь? Откуда эти гуси? Чьи они? Куда вы их везете?

— Извольте, отвечаю исчерпывающе точно по всем пунктам анкеты: гуси эти в количестве ста тридцати голов и шей принадлежат акционерному обществу, в составе дирекции которого Шершуков, бухгалтер типографии и я — оперативный директор. Откуда они? Из совхоза бывшего имени бывшего Михаила Ивановича Калинина. Куплены там за наличный расчет, как бракованные, потому что кормить их все равно нечем. Худы они, как фиваидские отшельники, но все документы в порядке. Везу я их, конечно, в город, как сами изволите видеть.

— Но что вы там с ними будете делать? — воскликнул Брянцев.

— О санта семплицита, — вильнул всем телом Пошел-Вон, — конечно, спекулировать! Гусь, как вам, может быть, известно, требует только двухнедельного откорма, после чего превращается в жирного ливанского агнца. Очень деликатное существо! Корма я уже добыл через немцев, помещение дает Шершуков при типографии, распространение фабриката на обязанности бухгалтера. Кооперативный принцип соблюден полностью. Но весь промфинплан сорван вот этим честнейшим гренадером и его камрадом… Обиднее всего, что они даже не патруль, а просто перевоплощение тех самых двух идиотов-гренадеров, которых черт не известно для чего понес через всю Европу! Заарестовали! Другой идиот-патриот едет на второй подводе.

— Дали бы вы вашему стражу пару гусей, и все обошлось бы благополучно, — деловито вставил свою реплику в речь Пошел-Вона Мишка.

— Десяток давал и еще денег! Не берет. Неподкупен, как Робеспьер. Честность — ужасный порок, запомните это, юноша! — отмахнулся от него Пошел-Вон.

— Вас самого я, пожалуй, смогу выручить. Наша военная машина внушит доверие вашему стражу. Но гусей придется оставить ему, — покачал головой Брянцев.

— Гусей? Оставить?! На пищеснабжение германской армии?! Нет, уж извините! Пусть лучше эта солдатня из моего собственного филея габерсуп себе сварит, Я остаюсь с гусями и умру вместе с ними! — стал в монументально-героическую позу Пошел-Вон. — Но вас, герр обер-шрифтлейтер, умоляю: приехав, тотчас же сигнализируйте о помощи доктору Шольте. SOS! SOS! SOS! «Титаник» опускается на дно морское, оркестр исполняет хорал «Ближе к Богу», капитан остается на рубке! Пять гусей

редакции! Столько же чинам пропаганды! Два гуся доктору Шольте лично и два лично вам! Дирекция не останавливается перед затратами, — с жестом Короля-Солнца закончил свой реестр Пошел-Вон.

— Ну, там видно будет, — ответил ему Брянцев. — На Шольте я, конечно, тотчас налягу, но за успех не ручаюсь. Черт его знает, как он взглянет на всю эту историю. Ну, мы поехали! — протянул он руку Пошел-Вону.

— И возвратися ветер на круги своя… — раскланялся тот. — Vorwarts, Genosse! — хлопнул он по плечу немца. — Набирай высоту, мой добрый патриот!

Немец, не проронивший ни одного слова, залез на плетенки и протянул оттуда руку Пошел-Вону. Набрав нужную высоту, они снова обнялись. Баба густо замолотила хворостиной по острой спине пузатой коровы.

— Но, ты, сицилизма!

— У нее корова — сицилизма, а клячонка — керенщина! — кричал с воза Пошел-Вон. — Вполне политически образованная женщина! Ленин прав, и кухарка может управлять государством, по крайней мере, состоящим из полудохлых кляч и вконец заморенных коров.

ГЛАВА 30

Приехав в город, Брянцев остановил автомобиль у дверей редакции. Домой — потом. Это успеется. Сначала надо посмотреть, как идет дело с газетой, а заодно попробовать выручить Пошел-Вона с его гусями.

Котов стоял, склонившись над столом, и наклеивал на старый газетный лист вырезки корректур — компоновал макет очередного номера. Он на минуту оторвался от работы, чтобы обменяться с Брянцевым парою слов, и снова погрузился в нее — надо было втиснуть в столбец четыре не умещавшихся в нем строки.

— Значит, здесь все в порядке, — решил Брянцев, — машина работает нормально, о подробностях поговорим потом, — и направился к доктору Шольте.

Немец встретил его радостно.

— Знаю уже: доклады в Керчи прошли хорошо. О вашем … Мишке … Да, Мишке? Я верно его называю? О нем прекрасные отзывы. Конечно, и о вас тоже. Ну, рассказывайте подробнее ваши личные впечатления. Главное: как реагировала русская публика?

— На мой доклад — сдержанно, а вот слова Мишки безусловно задели многих за живое.

— Я так и думал, — кивнул головой доктор Шольте. — Следовательно, надо чаще делать такие доклады, на фабриках и даже в колхозах. А направлять на них именно молодых, новых людей. Было бы очень хорошо организовать группы таких пропагандистов и возбуждать там дискуссии. Но пригодных для этого, кажется, мало. Займитесь, подберите способных. Молодых, только молодых … Этого Мишку Ваку… Баку… — Никак не могу запомнить его фамилии, — возьмите лучше к себе в редакцию. Корректора найдем легко, а этот, безусловно, поможет вам подобрать молодых работников в кадр устных пропагандистов.

— Теперь расскажу вам забавный анекдот, — приступил Брянцев к выполнению миссии Пошел-Вона и, усиливая комизм встречи с ним и его гусями, рассказал о ней Шольте. — Надо помочь ему, герр доктор. Кстати, он обещает и редакции и команде пропаганды по пяти рождественских гусей, — добавил вскользь Брянцев.

— Не понимаю, в чем дело. Почему его задержали? Ведь свободная торговля не преследуется? Вероятно, наш солдат заподозрил контрабанду или кражу. Ну, я все это выясню, и наш общий друг не потеряет своих гусей. Однако, обещанное редакции и нам пусть дает! Скажите это ему. Пусть платит

натуральный налог. Это будет справедливо, В солдатском рационе нет рождественского гуся.

— Да, еще одно дело, — остановил уже выходившего Брянцева доктор Шольте. — Этот милый старый доктор, заведующий городской санитарией, просит принять на работу его дочь. Она уже приходила. Я дал ей на пробу небольшую статью, но, но… она написала дикую нелепость…

Шольте порылся в аккуратно сложенных на столе бумагах и вытащил исписанный полудетским почерком лист.

— Она пишет: «Атака кирасир», — с ужасом воскликнул немец, подняв лист и потрясая им, — кирасир! Когда во всей нашей армии нет ни одного кирасира! Но взять ее всё-таки нужно, ради милого доктора. Подыщите ей, пожалуйста, какую-нибудь работу.

— Это Мирочка Дашкевич, — улыбнулся, взглянув на подпись, Брянцев, — я ее знаю. Очень хорошенькая девушка, но, кажется, столь же глупенькая. Ну, найдем что-нибудь для нее.

Вернувшись в свой кабинет, Брянцев затребовал по телефону Мишку и позвал к себе всех ведущих сотрудников. К его удивлению, вместе с ними вошла в комнату и Мирочка, свеженькая, разрумяненная легким морозцем, в голубой шубке с большим белым, пушистым воротником. Она издали поклонилась и скромно уселась на краешек длиннейшего редакционного дивана. Пришедший Мишка сел там же, но поодаль от нее.

Брянцев коротко изложил план Шольте.

— Ну, господа, у кого есть какие-нибудь соображения, дополнения, уточнения? — спросил он.

— Мысль, конечно, хорошая, — после некоторой заминки начал Вольский, — но подобрать кадр таких агитаторов будет очень трудно…

— На это дело мы пустим Вакуленко, — перебил Брянцев, — Шольте просил перевести его в редакцию. Поздравляю вас, Миша, — кивнул он студенту, — сообщения об успехе вашего доклада в Керчи нас обогнали. Шольте уже знал о нем, и именно этим вызван ваш перевод.

Мишка даже вскочил от удивления и его щеки густо зарумянились.

— Вот уж не думал. Я ведь так говорил там… от себя просто … Даже без конспекта.

Потому и хорошо получилось. Даже адмирала проняли вашей искренностью. А теперь запряжем вас в новое дело. Вы будете ведущим группы устных пропагандистов. Подберите себе, прежде всего, пять-шесть подходящих ребят или хотя бы двухтрех для начала … Найдете?

— Поискать, так найду. Дружки-приятели у меня везде есть. Найду, Всеволод Константинович, — уверенно ответил Мишка. — Есть у нас такие. Только выявить их надо!

— Я думаю, что с ними будет необходима предварительная работа, что-нибудь вроде бесед или даже семинара, — полувопросительно проговорил Котов.

— Безусловно. И это возложим на Вольского. У него организационные навыки центральных газет. Согласны? Вольский кивнул головой.

— Значит, вступаем на проторенную дорожку советской пропаганды? — криво усмехнулся Крымкин.

— А отчего же нет? — ответил ему Брянцев. — Если выработанный коммунистами метод радикален, то почему не применить его нам? Но вы ошибаетесь. Наша дорожка разнится от советской. Шольте допускает на предстоящих собраниях возражения и даже дискуссии.

— С предрешенным исходом, конечно?

— Исход этих дискуссий будет зависеть от нас самих, от убедительности наших слов, и думаю, что не нами, а самими фактами, самою реальностью он действительно уже предрешен, — холодно возразил Брянцев, — но превращать эти предполагаемые собеседования в демократическую говорильню мы, конечно, не будем.

— Этого не опасайтесь, Всеволод Сергеевич, — горячо вступился Мишка. — Если кто из прежних активистов теперь попробует рот раскрыть, так сам народ ему сразу заткнет. Кому советская житуха мила? Нету таких, кроме, конечно, партийных. Да и те тоже не без рассудка.

В продолжение всего этого разговора Мирочка строго выдерживала принятый на себя серьезный вид, но думала совсем о другом:

«Вакуленку выдвигают, — поняла она из слов Брянцева, — даже руководящую работу ему поручают. Вот уж не ожидала… А впрочем, — взглянула она сбоку на оживленное лицо Мишки, — почему бы и нет? Чем он хуже других? Как я этого прежде не замечала … Или он теперь изменился? Пожалуй, стал даже очень интересным. Только одет ужасно. Хоть бы меня не зачислили в эту группу … Что я там буду делать? Хотя … Хотя именно этого и требует от меня Котик».

Эти ее размышления были прерваны Брянцевым.

— Теперь с вами, госпожа Дашкевич, — подчеркнуто официально начал он. — Доктор Шольте передал мне ваше желание работать с нами и ваш пробный перевод… — Тут Брянцев сделал паузу, подбирая возможно более мягкие

выражения. — Его удивило упоминание вами кирасиров, их стремительные, победоносные атаки, — заглянул он в лист, — откуда вы взяли этот, теперь совершенно исчезнувший род оружия?

— Из словаря Макарова. Там так напечатано, — с достоинством ответила Мирочка.

— В словаре Макарова издания 1888 года, — взял у Брянцева злосчастный листок Крымкин, — слово «панцер» действительно переведено чем-то вроде кирасира. Но беда в том, что в то время не было танков и это слово имеет теперь совершенно другое значение.

— Ну, так чем же я в этом виновата? — со слезами в голосе воскликнула Мирочка.

— Виноват, конечно, старик Макаров, — иронически согласился Крымкин, — мерзкий старик, доводит до слез неопытных, доверчивых девушек.

Углы губ Мирочки стремительно опустились. Напитанный ароматами тэжэ платочек уже готов был вспорхнуть к ее глазкам, но Брянцев не допустил его взлета.

— Пользуйтесь современными словарями, советского издания. Если нет у вас, то возьмите у меня. Вакуленко вас проводит … Первый блин комом, гласит пословица, но не огорчайтесь и переведите теперь хотя бы это, — подал ей немецкий журнал Брянцев, отметив в нем наугад какую-то статью.

«Еще расплачется здесь, что с ней тогда делать!» Но слезы стыда и обиды закапали из глаз Мирочки только на улице.

— Все, все говорят, что я прекрасно знаю немецкий язык. И Марья Фридриховна говорила, и немецкие офицеры теперь говорят. Проклятый панцер! — ткнула она носком ботика в свисавшую с крыльца ледяную сосульку. — Надо было ему попасться. Ну и что тут, собственно, такого? Ну, кирасир, ну, танк — не всё ли равно?

— Вы на этого Крымкина не обращайте внимания. Он всегда ко всем прицепляется, — пытался утешить ее Мишка.

— Такой вредный.

— На него всё равно никто внимания не обращает, а тем более Всеволод Сергеевич.

Мирочка еще прикладывала к глазкам надушенный «Белой ночью» платочек, но зимнее солнышко так задорно лезло в них, а свежий белый снежок так аппетитно похрустывал под ее ботиками, что вытирать было нечего. Однако и отнять платочка от глаз было тоже нельзя: положенная перед входом в редакцию краска (дома нельзя — мама сердится), конечно, смазалась с ресниц.

Девушка переложила платок в левую руку, а правой нагребла ком снега с забора.

— Ну, мы пришли, — остановился Мишка у дома Брянцева. Метко брошенный ком талого снега залепил ему глаза. «Теперь полчаса протирать их будет, а я тем временем…» — думала Мирочка, приведя в исполнение свой стратегический план.

Но Мишка лишь весело фыркнул, потряс головой и постучался в дверь.

— Подождите! — дернула его за рукав Мирочка. — Кто вас просил! Облом колхозный, даже этого не понимает… — с сердцем выхватила она из сумочки пудреницу и кругленькое зеркальце. — Держите! — сунула пудреницу растерявшемуся Мишке. — Не могу же я такой к ним войти.

На счастье Миры Ольгунка за шипеньем примуса не слышала стука Мишки и открыла дверь лишь по повторному, когда вся процедура тэжирования была уже благополучно закончена.

— Вот хорошо! — обрадовалась она и ворвавшемуся в чад кухонки снопу солнечных золотистых лучей и свежим, разрумяненным морозцем лицам пришедших, еще покрытым каплями снежной росы. — Мирочка! Миша! Солнышко! Все вместе разом! Вы уже здесь, Миша, значит, и Всеволод Сергеевич вернулся?

— Он в редакции, а когда придет домой, не сказал.

— Я к вам только на минуточку, Ольга Алексеевна, — совсем по-светски проговорила Мирочка и важно добавила: — по делу.

— Какая там минуточка, — тянула ее в комнату Ольгунка. — Прекрасная у вас шубка, Мирочка! Прямо прелесть! — поставила она девушку перед окном и отошла на шаг, любуясь на нее. — Настоящий шевиот, и какой тонкий! Где вы только его достали? А воротничок из ангорской козы! Еще б вам муфту такую же…

— Это все мамино, — скромно опустив глаза, ответила Мира, — у нее в сундуках нашлось. Там и муфта такая же есть. Но ведь теперь их не носят.

— Нет ни у кого, потому и не носят. А вы возьмите у мамы, и все только позавидуют. Миша, — накинулась она на стоявшего у дверей студента, — чего вы там, как пень, стали! Помогите снять пальто вашей даме.

— Я только на два слова, — еще упрямилась Мира, но Миша так энергично ухватил ее сзади за воротник, что она поскорее расстегнула пуговицы: «Оборвет еще, обломина».

— Какое же у вас ко мне дело? — с комической важностью спросила Ольгунка, усадив гостей. — Чем могу служить? — добавила она басом.

— Всеволод Сергеевич обещал мне, то есть разрешил мне

взять его немецкие словари советского издания, — я ведь теперь перевожу для газеты.

— Ай-яй?! Значит, тоже приобщились к литературе? Сейчас я вам отыщу эти словари или по крайней мере постараюсь отыскать. У Севки такая скверная привычка засовывать нужные книги в самые неподходящие места. А мне запрещает наводить порядок. Словарь где-нибудь близко. Он часто в него заглядывал. Да вот он, перед носом, на столе лежит! Оба тома: и русско-немецкий и немецко-русский. Вам оба? — подняла со стола Ольгунка две пузатых книжки, густо набитые какими-то закладками.

— Если можно — оба.

— Получите, Только нет… — отдернула книгу Ольга от протянутой руки девушки. — Сначала я все это вытряхну. Всевка, подлец, мои девичьи драгоценности посовал… девичьи мечты мои … А я их до сих пор трепетно храню.

Она встряхнула книги, и из них посыпались на стол однотипные картонные листики, пожелтелые и сильно затрепанные по углам. На каждом виньетка: розовенький амурчик, целящийся из лука в пылающее среди цветов сердце.

Стоявший у стола Мишка взял один из листов и прочел вслух:

— Жасмин. Любви все возрасты покорны. Пушкин.

— Что это такое, Ольга Сергеевна? Старорежимные экзаменационные билеты, что ли?

— Экзаменационные билеты, — с обидой передразнила его Ольгунка. — Какие у вас догадки все плоские, меркантильные! Это «Флирт цветов», дорогие мои, игра такая! Замечательная игра. Мы в молодости ею отчаянно увлекались. Впрочем, откуда вам это знать? — с горечью добавила она. — Ведь у вас-то, у вашего поколения и молодости нет…

— Как же в нее играли? — заинтересовалась Мирочка, набравшая полную руку карточек.

— А очень просто, — сверкнула глазами Ольгунка, — собирались девушки и молодые люди, сдавали эти карты… Вот так!

Ольга собрала со стола все листы «Флирта цветов», перетасовала их и сдала Мирочке, Мишке и себе.

— Потом каждый передавал выбранный им листок тому, кому хотел, и вслух говорил название цветка. Получившая же или получивший прочитывали, что под этим цветком написано, стихи или пословицу… Так многое можно было сказать такого, что вслух выговорить бывало трудно. Вот так, смотрите!

Ольгунка быстро просмотрела несколько карточек и, отобрав две, протянула их гостям:

— Вам, Миша, незабудка, а Мирочке гвоздика. Обоим в назидание от старой бабы.

— Какая же вы старая, Ольга Сергеевна! Вам никак больше тридцати, даже двадцати восьми лет дать нельзя, — по всем правилам вежливости ответила Мира.

— «Смелость города берет», — прочел Миша и подумал: «К чему это она мне дала?»

— «В уборе куколки невидном таится яркий мотылек», — прочла Мирочка, взглянула на Мишку и вздернула носиком: — Подумаешь! Мотылек тоже…

Мише посчастливилось. На первой же карточке он нашел подходящее к его настроению двустишие:

Когда б надежды луч желанный
Грядущий день мне осветил,

— Астра! — передал он листок Мирочке.

Девушка прочла, улыбнулась и, перебрав несколько листков, бросила один из них на колени студента:

— Ромашка!

— «Надеяться никто не запрещает», — прочел Мишка, разом просиял и торопливо забегал глазами по карточкам. Иногда он отрывался от них и упирался взором в потолок.

— Я помню день… Не то… Любви все возрасты покорны… Совсем не годится, — шептали его губы. — Вот оно! Роза!

«Я вас люблю. Чего же боле, Что я могу еще сказать» прочла Мирочка и собрала носик в морщинки.

— Неверно. У Пушкина не так. Там — я вам пишу… — сказала она, покраснев.

— Зато здесь крепче. Яснее, — тоже залившись густым румянцем, ответил Миша, — и еще вот вам резеду.

«Ответь на зов любви
Души моей мятежной»

Мирочка поджала губки, собрала карточки с колен и встала.

— Ответ получает тот, кто умеет его заслужить, — наставительно, как старшая младшему, сказала она растерявшемуся Мише. Пора, Ольга Алексеевна, а то мама будет беспокоиться. Большое спасибо за книги! До свидания.

Ольга вышла проводить Миру до двери, Миша один столпообразно торчал среди комнаты.

«И не попрощалась даже… Неужели обиделась? Говорит,

заслужить надо. Всей душой бы рад, да как это сделать?»

ГЛАВА 31

В один из первых дней нового, 1943, года после обычного утреннего делового разговора доктор Шольте протянул Брянцеву замызганный, смятый листок бумаги.

— Взгляните на это и скажите ваше мнение.

На вырванном из ученической тетрадки листке разборчиво, но корявым почерком полуграмотного человека было написано обращение к населению. Подпись — городской комитет ВКП(б).

Этот комитет сообщал о переломе в ходе войны, достигнутом благодаря гениальному руководству товарища Сталина, о полном поражении зарвавшихся фашистских бандитов на южном участке фронта, об их паническом бегстве под победоносными ударами советской армии. Он призывал всех советских граждан к сопротивлению интервентам, к партизанской борьбе, к диверсиям; клеймил изменников, врагов родины и народа, угрожал им неизбежной карой. Привычный к правке ученических тетрадей глаз Брянцева механически отметил грубые орфографические ошибки и полное отсутствие знаков препинания, кроме точек. Стиль обращения был трафаретен, словно всё оно полностью было списано со страниц советской газеты. Чем-то затхлым, промозглым пахнуло на Брянцева, и он брезгливо бросил листок на стол.

— И много таких листовок разбросано по городу? — спросил он Шольте.

— Они были расклеены на стенах сегодня ночью. Немного. Обнаружено лишь около десяти.

— Действительно маловато на город со стотысячным населением. Слаб видно этот городской комитет ВКП(б). Смотрите, герр доктор, — взял снова Брянцев листок обращения, — во-первых, написано от руки на листке из тетрадки. Значит, нет даже пишущей машинки и какого-нибудь портативного гектографа. Второе, — множество орфографических ошибок, полная безграмотность — следовательно, нет и грамотного человека в этой подпольной организации, который должен был бы выправить текст. Кустарщина! Выдохлась советская пропаганда.

— Вот все это вы и дадите в комментарии к этой листовке, которую мы напечатаем на первой полосе очередного номера. Полностью! Даже лучше не набором, а факсимиле.

Брянцев откинулся в кресле и с удивлением посмотрел на Шольте. Тот улыбался.

— Именно таким жестом мы подтвердим, подчеркнем

слабость врага и нашу силу, наше пренебрежение к его диверсионным попыткам, которых мы не боимся.

— Но одновременно подтвердим и слухи о поражении германской армии на южном фронте? — возразил Брянцев.

— Ну, никакого поражения нет, — казенно улыбнулся Шольте. — Слухи всегда преувеличены. Есть некоторая неудача атаки Сталинграда нашей шестой армией. В ходе всей войны это не играет большой роли. Стратегический отход на более выгодные позиции. Мы опровергнем преувеличения слухов тем самым, что напечатаем у себя эту листовку.

— Возможно, что и так, — уклонился от прямого ответа Брянцев. — Во всяком случае, это смело. Так и сделаем. Давайте мне листовку, я тотчас же перешлю ее в типографию.

А по городу действительно ползли зловещие слухи. Говорили о поражении немцев на сталинградском фронте, о глубоком прорыве вплоть до Дона, о вполне возможном захвате советскими войсками Ростова и неизбежном тогда отступлении немцев с Северного Кавказа.

Слухи ползли, как змеи, извивались, переплетались и кусали за сердце. Ограниченная, урезанная, куцая свобода, принесенная занявшими город немцами, уже пустила корни в психике его населения. Страх перед завоевателями был ничтожен по сравнению со страхом перед НКВД. Люди уже начали говорить свободно, не боясь слежки и доносов, а, начав, ощутили всю радость свободного слова, свободной мысли. Возникла и некоторая уверенность в возможности личной собственности, а из нее — стремление к созидательному, конструктивному труду. И дальше — мечта. Мечта о своих стенах, о своей крыше, о своей кухне, без коммунальных жактовских дрязг, без страха перед уплотнением, перед завистливым соседом, перед давящим со всех сторон социалистическим бытом.

«Эта мечта мизерна, думал Брянцев, пусть так. Но разве могло быть иначе? Разве не мизерны, не размельченная пыль, не раздробленные личности те, кто прожил почти четверть века под советским жёрновом?»

И вновь попасть под этот жёрнов?

Страшно! Страшно! Страшно!

Но некоторые, немногие в общей сумме населения, втайне радовались и перешептывались между собою.

— Нарвались немцы на крепкий отпор. Теперь им крышка. Обещанный товарищем Сталиным перелом наступил.

Эти немногие делились между собой на две неравных части. Большую, состоявшую из видевших в переломе хода войны пробуждение русских национальных сил, начало народной войны.

И меньшую — из бывших активистов и закамуфлированных партийцев, продолжавших верить в непогрешимую гениальность Сталина и безоговорочную правильность генеральной линии возглавляемой им партии.

И те, и другие, хотя по-разному, вспоминали Кутузова и Отечественную войну 1812 года. Раскрывшие себя непримиримые враги советского строя, ненавидящие его во всех ответвлениях и проявлениях, приуныли. Надежды на свержение режима, вспыхнувшие в них с приходом немцев, теперь померкли. В этой среде упорно циркулировал слух о том, что командующий германскими войсками на Северном Кавказе, фельдмаршал фон-Клейст, получив какое-то важное сообщение с фронта, воскликнул в присутствии штабных офицеров:

— Krieg ist verloren! Война проиграна!

Подавляющее же большинство городского населения просто боялось будущего. Боялись вполне вероятной бомбардировки города, уличных боев в нем, а главное, жестоких репрессий со стороны вернувшихся советчиков. В неизбежности этих репрессий не сомневался никто.

Страх темной тучей висел над городом.

Главным рупором панических слухов был базар. Он явно сокращался день ото дня в своих размерах; часть продовольственных товаров совсем исчезла с лотков; не было уже привоза из дальних поселков; торговки неохотно брали немецкие военные марки, а нередко и совсем отказывались их принимать. Покупатели обменивались между собой свежими новостями, и эти новости были всегда тревожны.

Но вышедший из мышиной сутолоки базара обыватель разом попадал в иной климат. По улицам также спокойно и самоуверенно, как в первые дни прихода немцев, медленно текли колонны тяжелых автомобилей с военными грузами, гусеницы танков скребли не покрытую еще снегом мостовую, а сами немцы своими тяжелыми, подкованным сталью сапогами — тротуары. На их лицах не было заметно ни тени тревоги.

На душе обывателя становилось легче.

«Ну, что ж, думал он, может быть, и прорвались где-нибудь советские… На войне это легко может получиться, но разве смогут они с разбитой армией, с расшатанной вконец экономикой, потеряв чуть ли не половину военной промышленности и весь лучший кадровый состав, разве смогут они теперь победить эту мощь, эту железную организацию?»

«Конечно, нет», — отвечал сам себе обыватель и успокаивался до новых, еще более тревожных слухов.

Мысль об уходе вместе с немцами мелькала у многих, но

немногие решались даже и временно покинуть свои насиженные места.

«Во-первых, возьмут ли нас с собой немцы? Если припечет их, отрежут, примерно Ростов, так не до нас им будет. Лишь бы самим выскочить… А если даже и возьмут, то куда? В какой-нибудь голодный и холодный концлагерь… Зима… Дети…»

Нет, уж лучше переживем как-нибудь. Все-таки дома. Крыша над головой, полтонны дровишек запасено, пуд муки.

А репрессии? Что ж, раньше, что ли, их не было? Кружил черный ворон по городу, выхватывал себе добычу, а я вот уцелел! Ну, снова покружит и, конечно, еще многих подцепит в когти, но меня-то, меня… Что я — как служил при советской власти бухгалтером, так и при немцах. Надо ж кому-нибудь вести учет народного хозяйства. Преступление это? Враг я народу или советской власти? Не без голов же люди, поймут, а главное — я человек им нужный, специалист. Эх, пронесет как-нибудь, а ехать… Куда? На какую жизнь?

Но были и бесповоротно решившие уходить с немцами во что бы то ни стало, при любых условиях, в любом направлении. Одних толкало к этому ясное понимание неизбежности их гибели при возврате советов, других — твердое решение продолжать борьбу за свободу до конца. Были и такие, что совмещали в себе оба эти стимула, но все молчали.

Редакция отражала в себе почти все эти настроения, кроме лишь уверенных в непогрешимой правильности генеральной линии.

Женька, не стесняясь даже присутствием немцев, вдохновенно повествовала о героических для Красной армии эпизодах битвы за Сталинград, восклицая после чуть ли не каждой фразы:

— Вот каков русский народ! Вот каков русский солдат! Невозмутимо слушавший ее доктор Шольте даже снимал очки от изумления.

— Черкешенка, человек иной расы, иных традиций — более чем горячая русская патриотка! Именно русская… Я ничего не понимаю!

— Я дочь своего народа! — гордо выкликала Женя, тыча пальцем в болтавшийся на ее груди бронзированный кулон с видом на Спасские ворота.

— Но какого народа? — вскакивал с места доктор Шольте. — Черкесского, русского или советского?

— Это безразлично, — надменно задирала голову Женя и удалялась.

— Ничего не понимаю, — повторял доктор Шольте, надевал

очки и опускался в свое кресло.

— Обязательно запишите это мудрейшее ваше изречение, уважаемый герр доктор, — вихлялся перед ним Пошел-Вон, — и добавьте, что черкесский автор данной формулы тоже понимает ее не больше вас и что вообще никто ничего не понимает. Все это, безусловно, пригодится для вашего будущего философского труда.

— Менять коммунистический тоталитаризм на нацистский? Имеет ли это какой-либо смысл? — рассуждал, теребя бороденку, Змий.

— Этот сложный вопрос вы, безусловно, разрешите, забравшись первым в первый вагон первого отходящего на запад поезда и, конечно, захватив в нем лучшее место, уважаемый господин Земноводный. Так, кажется, именуется подкласс пресмыкающихся, к которому вы себя причислили вашим остроумным псевдонимом? — отвечал ему всюду поспевавший Пошел-Вон.

— Уйду с немцами. Я не самоубийца, — коротко, спокойно и точно формулировал свои соображения Котов.

— Дураков теперь мало стало, в концлагерях все ишачат, — продолжил их Вольский.

— А папочка решил оставаться. Он говорит, что докторам ничего не будет, потому что они всем нужны, — наивно вставила реплику проводившая теперь целые дни в редакции Мирочка. — Он говорит, что врач должен быть там, где он нужнее. А у немцев врачей достаточно.

Брянцев, знавший со слов доктора Шольте несколько больше, корректно молчал или высказывался очень неопределенно. Молчал и Мишка. Только брови его теперь были всегда сдвинуты. Думал должно быть, напряженно думал о чем-то, решал что-то в себе самом, в самых глубинах души.

— Гуси, обещанные вам Пошел-Воном, вами получены и израсходованы? — спросил перед русским Рождеством Брянцева доктор Шольте.

— Нет еще, но он не отказывается от своего обещания, раз его коммерция с вашей помощью удалась.

— Очень хорошо. Устройте редакционный рождественский вечер. Можно взять еще денег из фондов газеты, а о крепких напитках позабочусь я сам за счет пропаганды. Нужно поднять настроение сотрудников, а то оно падает.

— Нужно, — согласился Брянцев, — сделаем эту вечеринку в русский сочельник, когда и вы будете свободны. Идет?

ГЛАВА 32

Эту рождественскую вечеринку решили устраивать в помещении редакции. Большой кабинет Брянцева был как нельзя более подходящим. Там и оставшаяся от советского времени мебель, не только приличная, но даже шикарная, там и большая чугунная печка, и люстра с дюжиной лампочек. Оставалось лишь добыть пианино, посуду и скатертей, чтобы покрыть собранные из других комнат столы. Все эти сложные вопросы единым взмахом разрешил Пошел-Вон.

— Пир во время чумы! — вдохновенно восклицал он. — Неподражаемо! Пирамидально! Галла! С наслаждением беру на себя все хлопоты. Пианино? Перетащу его от моих одаренных кретинов. Тарелки, вилки, скатерти, словом самую элегантную сервировку доставит хозяин соседней столовой. Он же зажарит гусей, изготовит торт и все прочее. Милейший представитель великой армянской нации! Прямой потомок царя Карапета Великолепного, победителя Кира Персидского…

— Что вы врете, Пошел-Вон! — возмущался педантичный Котов. — Такого царя никогда не было.

— Во-первых, история мидян темна, что установил еще покойный Иловайский, а во-вторых, вам-то какое дело до царя Карапета?

Так и порешили. Наутро Брянцев был выселен в комнатку Котова и клеил там с ним макет рождественского номера, а в его кабинете хозяйничали Ольга и Женька, извергавшая на этот раз водопад своего красноречия на трудившегося в поте лица Мишку, переставлявшего тяжелые кресла, таскавшего столы и стулья из других комнат.

— Сюда станет пианино, — командовала она. — При этот диван в угол!

Мишка добросовестно уперся руками в высокую спинку дивана, на котором в часы редакционных совещаний усаживался десяток сотрудников, и, собрав все силы, напер. Диван скрипнул, покряхтел, но остался на месте, а ноги Мишки скользнули по паркету.

— Черт его сопрет! — вытер он выступивший на лбу пот. — В нем сто пудов.

— Пусти! Разве так надо, болван недоделанный! Надо сначала приподнять, а потом на себя тянуть! Я тебе покажу.

Обе створки двери распахнулись. В комнату, пятясь задом и дирижируя обеими руками, вступил Пошел-Вон.

— Легче! Дружно, доблестные сыны Сталина, защитники

советской родины! Не заваливай набок! Это тонкий музыкальный инструмент, а не трактор производства Россельмаша! — командно покрикивал он.

Шестеро одетых в прорыжелые шинели и стеганки военнопленных внесли покачивающееся на веревках пианино и поставили его среди комнаты. За ними вошел немец-конвоир при штыке у пояса, но без винтовки.

Красноармейцы, тяжело дыша, стали вокруг пианино.

— Вшестером несли, а заслабели, — ни к кому не обращаясь, громко сказал Мишка. — Голод-то свое возьмет.

Пожилой костистый солдат мигнул ему седоватой бровью.

— А ты, сынок, хлебца нам не расстараешься? Хоть по кусочку бы? А?

Стоявшая молча Ольга метнулась к Мише.

— Сейчас же, сейчас же, — совала она ему ключ от квартиры, — бегите, Миша, к нам и заберите все, что найдете съестного. На полке хлеб, а радом с примусом в ящике холодец стоит… Он тарелкой прикрыт… Сейчас же! Бегом бегите!

Миша круто повернулся на каблуках и побежал к дверям.

— Шапку забыл, — снова повернулся он на бегу, — ну, да черт с ней! Здесь недалеко.

— Прогулка по свежему морозному воздуху всегда возбуждает здоровый аппетит. Не так ли, славные бойцы авангарда коммунизма? — вихлялся перед пленными Пошел-Вон.

Ольга молча, медленно подошла к нему в упор и, крепко упершись глазами в глаза, отчетливо выговорила:

— Если вы сейчас же не перестанете паясничать, Пошел-Вон, то я проломлю вам голову вон тем стулом. Ведь это же русские, русские.

— То-то и беда, что русские, — закивал головой костистый. — Армянам, какие с нами в лагере, свои всего несут, елдашам, там, грузинам — тоже. А нам, российским, хоть бы кто корку сухую бросил.

— Немцы, что ли, русским давать не разрешают? — спросила Ольга.

— Нет, зачем немцы. Они не препятствуют. Им что? Им без нужды, — ответил за костистого другой, молодой еще красноармеец с нависавшим на брови кудреватым белесым чубом. — Им выгода, когда пленного кто со стороны подкормит. Он тогда к работе пригодней… А то пухлых много… Тоже и тиф.

Примолкший Пошел-Вон вынул из кармана пачку немецких сигарет, отсчитал шесть штук и роздал пленным. Потом подумал, достал еще одну и дал ее немцу. Тот поблагодарил, рассек сигарету твердым грязным ногтем, вставил половину в мундштук

и закурил от зажигалки, после чего передал ее пленным. Задымили и они. Немец уселся у жарко горящей печки и, как кот, расправлял нахолодавшиеся под жидкой шинелькой плечи.

— Украинцы, те иное дело, — заговорил опять костистый, — те действительно злобствуют. Как через Ростов нас гнали — мы-то на самом Дону взяты — так украинцы нас вели. Ну, русское население сочувствует, женщины больше, конечно, хлебца несут, а кто и сала даже… — эпически-спокойно повествовал пленный. — Так вот он, хохол этот, не токмо что передачу отнимет, а еще сапожищем ее в грязь затопчет, да бабам штыком погрозит. До чего же вредный народ, а православные тоже…

— Вера тут ни при чем, — загомонили разом, перебивая один другого, еще двое военнопленных, — кажная вера к добру наставляет. Во власти дело, в управлении. Все оно ихнее: переводчик, каптерка, вахмистр тоже из поляков…

— Как захотят, так немцу и отрапортуют.

— За людей нас, русских, даже не считают… Все равно, как скотину.

В кабинет влетел запыхавшийся Миша. За его спиной болтался латаный полосатый мешок. В мокрых волосах дотаивали снежинки.

— Быстро сгонял?

— Молодец, молодец, мой Мишенька! — погладила его по голове Ольга. — Прямо хоть на состязание вас пускать. Но откуда столько? — приподняла она увесистый мешок.

— Я еще к Шершуковой забежал, у нее все готовое выгреб и Дуся сейчас от себя добавила. Табак вот тоже в типографии ребята собрали, — вытащил он из кармана бумажный сверток. — Эх, прорвался! Мокрой рукой я, дурак, взял.

— Ничего, — принял от него пакетик костистый, — самая малость просыпалась. Мы соберем. Табачок-то у нас дороже всего. Курцы, которые, значит, без него обойтись не могут, так за цигарку подштанники, а то и рубаху дают.

— Давайте я им хлеб сейчас поделю, — подошла к Ольге молчавшая все это время Женя.

— Не стоит, — отстранила ее руку та. — Они сами лучше нас это сделают. Бери, землячок, Христа ради!

— И тебе, мадамочка, спаси тя Христос, благодарствуем, — поклонился ей в пояс костистый солдат. — Ишь, сколько тут! — взвесил он на руке мешок. — И нам хватит, и дружкам принесем гостинец.

Пленный пошарил рукой в мешке, вынул завернутое в газету блюдо со студнем, развернул, понюхал.

— Хорош! С чесночком!

Потом осторожно пошарил в боковом кармане ватника, вытянул оттуда осколок стекла и, вырезав им кусок студня, положил на отломленный кус свежей румяной булки.

— Снеси немцу. Он свое тоже получить обязан, — передал он студень с хлебом ближайшему солдату.

Немец внимательно осмотрел незнакомую ему еду, тоже понюхал и, уловив запах чеснока, жадно куснул.

— На жратву они ходкие, — ухмыльнулся костистый. — С солдатского котла, хотя бы и с немецкого, не зажиреешь. По триста двадцать граммов им хлеба дают… Разве это еда солдату?

Он разостлал газету на полу и вытряхнул на нее холодец. Блюдо протянул Ольге.

— Бери, дамочка, свое. Нам оно ни к чему, а тебе полезное. Где теперь такое купишь? — постучал он ногтем по зазвеневшему фаянсу. — Это от царского времени. А за мешочек-то извиняй нас. Себе оставим, а то и донести не в чем. Они же, хохлы эти самые, как вели нас, карманы у всех посрезали. Ну, куда же тебе хвортопьян ставить? К энтой стенке? Берись дружней, ребята, постараемся для хозяйки.

— Russishe Wurst? — спросил немец, показывая на последний кусочек студня.

— Kriegswarst, военная колбаса, — весело ответила Ольга. — А до революции в России была такая колбаса, какой и не видели в Германии, — задорно добавила она по-немецки.

— О, да, — солидно согласился немец. — Россия очень богата.

— А ты, хозяйка, сама откудова будешь, что земляком меня опознала? — спросил красноармеец, равнявший по стене пианино.

— С самой широкой Волги, — развела руками во весь мах Ольгунка, — с Волги-матушки я. В Кинешме рождена.

— То-то, я и по говору слышу, что нездешняя. Верно угадала, земляк с тобой я. Сам-то из-под Серпухова, с Оки… Тоже река знаменитая.

— Широка страна моя родная, — не удержавшись, вполголоса пропел присмиревший Пошел-Вон. Теперь он явно побаивался Ольги.

— Вот этот самый гражданин, — указал на него пальцем костистый, — говорит, сталинский мы авангард. А какой мы авангард? Пропади он пропадом этот Йоська, никому от него житья нет. С того мы и в плен подались, чтобы ему, черту усатому, не служить. А то разве взял бы нас немец? В первую-то войну на Карпатах как стояли? Стенкой! Даром, что снарядов не было, а стояли. Потому — было за что стоять. Рассея была.

— Боже, царя храни! — нарочитым дискантом, но и теперь вполголоса пропел Пошел-Вон.

— А все-таки я когда-нибудь вас побью, Пошел-Вон! Крепко побью. Но не сегодня. Сегодня мир и радость во имя Рожденного, — протянула ему руку Ольгунка. — Была Россия, земляк, и будет! Будет!

— Дай Господи! — перекрестился костистый.

Пошел-Вон неожиданно перестал вихляться, принял пальцы протянутой Ольгой руки на всю ладонь и, почтительно склонившись, поцеловал их.

— При других обстоятельствах и в другую эпоху из вас, вероятно, Жанна Д'Арк получилась бы, — с неожиданной серьезностью в голосе проговорил он. — Эдакая Жанна Д'Арк с налетом Ольги Псковской или боярыни Морозовой… в суриковских тонах. Но в другую эпоху. Теперь — нет. Теперь все впустую. Всё зря.

— Будет, будет! — исступленно твердила Ольга.

— Будет! — потряс за плечи красноармейца Мишка. — Будет, отец!

ГЛАВА 33

Русские собирались на вечеринку постепенно, поодиночке, иногда по двое. Кроме штатных сотрудников редакции и головки типографии, пришли приглашенные: старый эмигрант-генерал из Белграда, неизвестно что делавший при немецком штабе, и почему-то носивший русскую форму с защитными генеральскими погонами, молодой художник Белявский, только что успешно проведший выставку своих работ. И теперь ходко, с необычайной быстротой, в дватри сеанса писавший портреты немецких офицеров, и тихая, незаметная Мария Васильевна «капля молока», как ее звали в городе. Ее чуть не силой притащила на вечер Ольга.

Немцы пришли все разом. Их было трое: доктор Шольте, Вернер и здесь с упоением вспоминавший о своей службе в Вологде у господина Собакина, и длинный, как жердь, зондерфюрер Онэ, сын эмигрировавшего из Петербурга немцакондитера, объект особой ненависти Женьки, окрестившей его «нацистским комсомольцем». Эта кличка была дана метко: рожденный в России и носивший русское имя Борис, Онэ всеми силами старался показать свою принадлежность к расе господ и был единственным в абтейлюнге немцем, нередко ссорившимся с русскими.

Все три немца несли по аккуратно завернутому пакету.

— Зект… Настоящий, французский, — таинственно шепнул Брянцеву Шольте, передавая свой увесистый сверток. — Десять бутылок. Это нужно поставить сначала на лед.

— Без вас знаем, — весело ответил Брянцев. — Во время оно немало шампанского попили. Спасибо, Эрнест Теодорович! Признаюсь, сначала революции ни капли этой прелести не проглотил.

— А я так и сроду не пробовал, даже в глаза шампанского не видал, — добавил, принимая от Брянцева кулек, Мишка. — На лед его, значит?

— Закопать, — отчетливо разбив слово по слогам, ответил Шольте и даже руками показал, как это нужно сделать.

В других пакетах был коньяк и немецкие настойки. То ли начали разгрузку интендантских складов или по другой какой-нибудь причине, но подарок Шольте был щедрым.

Прямой потомок Карапета Великолепного доказал свое происхождение от знаменитого предка: и сервировка, и закуски, и честно доставленные, прекрасно откормленные Пошел-Воном гуси густо заполнили винный комбинированный стол одними

давно позабытою, а другими совсем невиданною роскошью.

Ольгунка сияла и ежеминутно шепталась с потомком Великолепного. Тот тоже блистал потным от усердия лбом и атласными лацканами добытого в театральной костюмерной фрака.

— Савсэм как мэтрдотель на болшой ресторан, — выпавлинивал он перед Ольгою, взмахивая белоснежною салфеткой. — Одна бэда — официантов нэту. Старый — умирал вэсь, молодой — одын баришня, порядку не знает.

— Пир во время чумы, — ораторствовал Пошел-Вон. — Однако ни гуси, ни вино передатчиками этой болезни не являются. Поэтому вперед без страха и сомненья! — Ему не терпелось сесть скорее за стол.

— Официальные тосты? Как? Будут? — тихо спросил Шольте Брянцев.

— О, нет … Это семейная рождественская вечеринка.

— Ну, тогда прошу к столу, господа! — возгласил попавший помимо своей воли в хозяева вечера Брянцев.

Загремели разнокалиберные стулья и кресла. Места, по счастью, всем хватило.

— Как старшего в чине, прошу начать, — налил рюмку генерала Брянцев.

Генерал традиционно посмотрел ее на свет, развел в стороны длинные брусиловские усы и лихо выкрикнул надтреснутым командирским баском:

— С наступающим праздником Рождества Христова, господа! Вот это по-генеральски! — восхищенно воскликнул Шершуков и единым духом хлопнул свою стопку. Пить водку рюмкой он не умел.

Залязгали ножи, загремели тарелки, но разговор оживился только после третьей очереди.

— А все-таки мы сделали большой промах: попа не позвали, — размахивала вилкой раскрасневшаяся Женя.

— Позвольте, ведь вы же мусульманка? — возражал ей педантичный Котов.

— Ну, так что же? Праздник — русский, и я русская!

— Магомет вас в свой рай за это не пустит!

— И не надо! Я в русский пойду. Это все мелочи…

Мелочи были тем аргументом, который всегда применяла Женя в затруднительных случаях.

— Очень резонно, — вмешался Пошел-Вон, — в магометанском раю вы всё равно не выдержите конкуренции гурий. Но вопрос в том: где этот русский рай? И вообще существует ли он?

— Насчет теперешнего времени говорить, конечно, не приходится, — старым вороном прокаркал со своего места печатник, — а что касаемо прошлого, так был рай этот! В самой России был!

— А сейчас тебе чем не рай? — обнял его за плечи достигший уже полного благодушия метранпаж. Рай! — обвел он широким жестом заставленный бутылками стол. — Давай вон той зелененькой нальем.

— Бутыль оченно интересная…

К столу торжественно проследовал потомок Карапета Великолепного, держа на вытянутых руках противнь с замысловато разукрашенным ореховым тортом. За ним шел Миша с хорошо всем известным Дусиным ведром, из которого торчали золотые горлышки бутылок.

— Как его, этот сект, откупоривать, Всеволод Сергеевич? — задержался он возле Брянцева. — Пробки жестянкой покрыты, штопор их не берет… И проволока еще…

— Отвертите проволоку с пломбой, а потом подталкивайте пробку пальцами. Она сама выскочит, — тихо ответил ему тот.

Миша, не отходя от стола, сосредоточенно заработал над бутылкой, быстро открутил проволоку и начал осторожно подталкивать грибок пробки, уперев бутылку себе в живот.

— Вина кометы брызнул ток… — картинно откинулась на спинку кресла Елена Николаевна.

— Хлоп!..

Струя белой пены ракетою взвилась над столом и окропила поэтессу густыми хлопьями пены.

— Живая иллюстрация к строкам Пушкина! — едва сдерживая смех, сказал Брянцев.

— Надеюсь, что подававшие Онегину лакеи были ловчее! — прошипела сквозь прижатый к лицу платок Елена Николаевна.

— Скажи, пожалста, какая ошибка вышла! — обмахивал ее своею салфеткой потомок Карапета. — Маладой человэк, парадка не знаит…

Бывший бухгалтер господина Собакина поспешил на помощь растерявшемуся Мишке, и дальше дело пошло без инцидентов. Разномастные стопки и фужеры быстро наполнились искристым вином.

— За что ж выпьем? К шампанскому обязательно нужен тост, — поднял свой стакан Брянцев.

— А вот за этот за самый российский рай, какой был. Чтоб его, сызнова на все сто отремонтировать… — закаркал в ответ печатник, встал, покачнулся, стукнул себя в грудь, снова плюхнул на стул и повторил: — На все сто процентов…

— Урра! — заорал во все горло метранпаж. Уррра! — густой октавой вторил ему Шершуков. Урра! — надрывался, блестя глазами, Миша.

— Туш! — крикнул сквозь гомон Брянцев Ольгунке. Ольга торопливо встала и почти подбежала к пианино.

Гром победы раздавайся,
Веселися храбрый росс…

— загремели отрывистые аккорды Преображенского марша.

Не томись и не печалься,
Что ты голоден и бос…

— Теперь танцы! — крикнула она. — Нечего там за столом рассиживаться! Вальс! Кавалеры, приглашайте дам!

Пошел-Вон встал и церемонно расшаркался перед Еленой Николаевной.

— Permettes-moi vous engager…

Первая пара плавно закружилась под звуки многим еще памятного вальса «Волны Дуная». Всех удивило, что Пошел-Вон в танце совсем не вихлялся, а грациозно вел по кругу свою даму.

Генерал, согнув руку калачиком, петушком подскочил к Мирочке, щелкнул каблуками и закружился с ней по-старинному в три такта. Кавалера для Жени не нашлось. Брянцев хотел, было, из вежливости пригласить ее, привстал даже, но снова опустился на стул и налил себе и Шольте. Чокнулись.

— Выпьете за предложенное восстановление русского рая, дорогой Эрнест Теодорович? — поднял свой стакан Брянцев, несколько иронически улыбаясь.

— О, конечно! — распятил посветлевшие от вина глаза немец. — Ведь мы хотим всем добра. Только добра… И уверены, что дадим его вам, русским.

«Вот замечательный гибрид прекраснодушного Вертера и неразлучного со шпицрутеном капрала Фридриха Великого, — даже восхитился в душе Брянцев. — В рай, но палкой… Это особенное свойство нации. Мы к этому не способны».

Но танцы не удавались. И дам, а еще более кавалеров было слишком мало. Елена Николаевна сменила Ольгу у пианино и заиграла румбу. Мира оглядела всех сидевших за столом мужчин, выжидательно остановила взгляд на докторе Шольте, но тот оживленно доказывал что-то Брянцеву. Подходящих не оказалось. Котов и Вольский упорно отсиживались. Мирочка приуныла.

— Вы танцуете заптанцы? — безнадежно спросила она у подсевшего к ней Миши.

— Нет, Мирочка, в институте не успел еще выучиться, а в колхозе какие заптанцы!

— Жаль… Обязательно научитесь.

— Честное комсомольское, выучусь! Для вас — все! — с жаром проговорил Мишка.

Выпитые Мишкой два стакана благородного вина разом зазвенели во всем его теле: весь мир стал радужным и прекрасным.

— Мирочка, — прошептал он, склонившись к сидевшей рядом девушке, — тогда у Ольги Алексеевны вы не ответили на мой вопрос, может быть, теперь скажете?

— Умейте ждать, — кокетливо ударила его платочком по руке Мира. — Пока скажу лишь: «Чем крепче нервы, тем ближе цель». Кто умеет ждать, тот дождется.

— Примерно, значит, как в очереди… — с грустью ответил Миша. — Ну, что ж, подождем. А под каким номером, примерно, я стою?

— Завтра, в семь, нет, в восемь часов я буду читать Есенина. Приходите, я вам прочту то, что будет ответом, — взглянула на Мишку из-под завесы накрашенных ресниц Мира. «Пусть придет, думала она, Котика завтра не будет, а Миша стал каким-то совсем другим… Не таким он мне раньше казался…»

— Есть, капитан! — даже подпрыгнул на стуле студент. — Ни на полминуточки не опоздаю! А раньше придти нельзя?

— Нет, раньше нельзя. У папы прием и он не любит, чтобы в это время чужие ко мне приходили.

Видя, что румбу совсем никто не танцует, Елена Николаевна оборвала мотив, взяла несколько несвязанных между собой аккордов и запела глуховатым, но мягким, приятным контральто:

В голубой далекой спаленке
Ваш ребенок опочил…

Разговоры примолкли, и воем разом стало как-то неуютно

Тихо вышел карлик маленький
И часы остановил.

— Намек это, что ли, что расходиться пора? — подумал вслух Шершуков и на всякий случай хлопнул полную стопку, налитую из первой подвернувшейся ему под руку бутылки.

Мише удалось поймать под столом руку Мирочки и робко пожать ее. В ответ — совсем почти неуловимое пожатие. Неясное, как тень на вечерней заре.

Всё как прежде.
Только странная
Воцарилась тишина.
И в окне большом туманная
Только улица видна…

— С души воротит от такой нудологии! — рывком расстегнул ворот Шершуков. — Миша, друг, вдарь ту самую, какую в наборной ребятам пел… Помнишь?

— Могу! — весело крикнул со своего места студент. Он поднялся из-за стола, взглянул на Мирочку и без тени смущения вышел на середину комнаты. За своей спиной Миша чувствовал выросшие крылья. Они звали его к полету, к широкому размаху ими.

Елена Николаевна замолкла, положила пальцы на клавиши и спросила с принужденной улыбкой:

— Какой аккомпанемент прикажете, маэстро?

Не отвечая ей, Миша разом взял во весь голос:

Из-за кочек, из-за пней
Лезет враг оравой,
Гей, казаки, на коней
И айда за славой!

Пошел-Вон бесцеремонно стянул Елену Николаевну со стула, сел на него сам и, косясь на Мишку, начал по слуху подбирать аккомпанемент.

Мать, не хмурь седую бровь,
Провожая сына,
Ты не плачь, моя любовь,
Зоренька дивчина!

Разливая во всю ширь своего молодого баритона последнюю строчку, Миша смотрел на Мирочку. Он видел только ее.

Пошел-Вон вполне овладел мотивом и уверенно вел аккомпанемент.

Ой, зудит моя рука,
Будет с врагом рубка!
Помолись за казака,
Девонька голубка…

Напрягшись всем телом, словно готовясь к прыжку, пел Миша боевую песню своих дедов. И рука, и плечо, и все тело его действительно зудели. Даже присвистнуть хотелось, но он удержался: «Не станица ведь, не колхоз, а самое интеллигентное общество».

Тает, тает сизый дым,
Ты прощай, станица,
Мы тебя не посрамим,
Будем лихо биться!

— закончил он старинную песню и, не обращая ни на кого внимания, пошел к своему месту возле Мирочки. Но падавшее настроение разом поднялось.

— Браво, браво, Миша! — кричали все, хлопая в ладоши. Особенно старался собакинский бухгалтер. Он кричал браво, ура, колоссаль, топал ногами и самым добросовестным образом отколачивал свои ладони. Над всем гомоном спиралью вился голос Ольгунки.

— Браво, браво, Мишенька! — перехватила она под локоть проходившего мимо студента. — Я знала, что у вас хороший голос, слышала, как вы пели у себя в хатенке. Но так хорошо, как теперь, вы не пели…

— У вас большие способности к музыке, — снисходительно одобрила его и Мирочка. — Завтра вы тоже споете что-нибудь мне и папочке… Он очень любит русские песни.

— Вам… такую песню подберу, какая от самого сердца льется! В песне больше скажешь, чем в простых словах прозой.

Среди шума никто не заметил, как открылась дверь и вошел немецкий солдат. Он быстро отыскал глазами доктора Шольте, стараясь не греметь сапогами, подошел к нему, вытянулся по форме и подал пакет. Шольте принял его и отпустил солдата жестом руки.

Раскрасневшаяся, взвинченная песней Миши Ольгунка вскочила со своего места и затрясла плечо Пошел-Вона.

— Русскую! Русскую, Пошел-Вон! Барыню, трепака, камаринскую — всё равно что, только позаористей!

Пошел-Вон послушно встал, вихляясь подошел к пианино,

пробежал сплошной трелью по всем клавишам и начал частым перебором на дискантах:

Ты ль меня, я ли тебя из кувшина…
Ты ль меня, я ли тебя из ведра…

Ольгунка поймала знакомый ей мотив, засмеялась, взмахнула платочком, с места ударила в три ноги и, обнесясь по кругу, зачастила на месте перед доктором Шольте.

— Не могу! Не могу! — объяснял тот и словами и руками, оторвавшись от полученного им письма.

— Разве немец на такой пляс сдюжает? — выкрикнул со своего места печатник. — У него на это кишка тонка!

А перебор Пошел-Вона нес Ольгунку дальше по кругу. Теперь уже не соловьи-дисканты, а тяжелые басы левых октав отбивали такт коваными каблуками. Пошел-Вон не придерживался какого-нибудь одного плясового напева, но импровизировал, свивал по нескольку, то в русую девичью косу, то в тугую ременную плеть.

— Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! — утробно ухнул Шершуков, выскочил на круг и ударил оземь лихой выпляской, а потом, повинуясь напевному зову Пошел-Вона, сизым селезнем поплыл за Ольгунькой — лебедью между золотыми купавами, по серебряной глади тихого озера.

Но вот, невесть откуда взявшийся ветер зарябил его тишину. Заробело, затревожилось озеро, и Ольга-лебедь разом уловила этот трепет, затрепетала сама невидимыми белыми крыльями, замерла в этом трепете, стоя на месте. Только брови ее и плечи плясали.

А Шершукову плевать на сиверок, на ветер. Тут-то ему и развернуться в удалой присядке с подскоком.

Эх, небеса, небеса да тучи,
Ветер гоняет снежок летучий,

— ведьмовским речитативом Мусоргского вихрил озеро Пошел-Вон.

— Не могу больше! — покачнулась Ольга. — Голова закружилась… — вышла она с круга и опустилась на подставленный Вольским стул.

— Одному пляс не в пляс, — стал, отдуваясь, как кит, Шершуков, — а жалко… Я только еще в темпы входить начал…

Все снова зааплодировали и зашумели. Доктор Шольте уловил перерыв в этом шуме, встал и жестом руки попросил

молчания.

— Господа! Минуту внимания! — приподнял он принесенное солдатом письмо. — Мне очень тяжело нарушать ваше, то есть наше, — поправился он, — веселье, но того требуют обстоятельства военного времени.

Разом стало так тихо, что отчетливо послышались доносившиеся с улицы шаги проходившего патруля.

— По стратегическим соображениям, — медленно, раздельно, с подчеркнутым спокойствием, продолжал Шольте, — части германской армии оставляют город и отходят на более удобные позиции. Тактическая перегруппировка — ничего больше, — смягчил он слово «отходят». — Нажима со стороны противника нет. Спокойно, спокойно! — остановил он вскочившую с места Женю. — Все желающие могут уехать. В мое распоряжение командование предоставляет четыре вагона: под типографию, редакцию, для людей и погрузки оборудования. Начало этой погрузки завтра, с утра. А сейчас мы со Всеволодом Сергеевичем удалимся и обсудим все ее детали.

Доктор Шольте поклонился всем разом и, пропустив Брянцева в дверь первым, вышел за ним.

С минуту еще длилась полное молчание. Потом заговорили все одновременно.

— Разве можно так спешно собраться? — беспомощно обмякла на своем кресле Елена Николаевна. — Завтра уже грузиться. Это ужасно. Так внезапно.

— Хорошенькое внезапно, — напустилась на нее Женя, — две недели по всему городу только об эвакуации и говорили!

— Ну… говорили… И только. А теперь? Так вдруг?

Котов и Вольский, уже в пальто и шапках, подошли к Ольге.

— Если я понадоблюсь Всеволоду Сергеевичу, то пусть вызовет меня в любой час, — своим обычным размеренным тоном сказал ей Котов. — Мы с Николаевной спать сегодня не будем.

Николаевной Котов называл свою мать, со всеми ласковую, приветливую, улыбчивую старушку, приносившую ему на работу, в редакцию, то замечательно вкусные пирожки, то румянистые, как она сама, и такие же пышные блинки.

— И ее с собой потянете? Трудно, пожалуй, ей будет, — сказала Ольга.

— Не трудней, чем другим. Во всяком случае, легче, чем меня одного отпустить. Ведь она только мной и живет, — ответил ей Котов и его бесстрастное, холодное лицо согрелось прихлынувшей к нему теплотой.

— Ну, а я просто высплюсь сегодня, как следует, — пожал руку Ольге Вольский. — Мои сборы коротки. А вот придется ли

спать в эвакуационном вагоне — это вопрос. По опыту эвакуации из Ленинграда это знаю. Кстати, куда же мы едем?

Ольгунка развела руками.

— Всеволод до сих пор сам не знал об оставлении города. Вероятно, не знал даже и Шольте. Вы видели, что солдат принес ему какую-то бумагу? Думаю, что это был приказ.

— Мне самвсемех, да еще тесть-паралитик на придачу, куда ехать? — дергал за рукав печатника метранпаж. — А тебе, самодин, полный ход! Крути, Гаврила! Барахло в карман, паспорт на извозчика — и всё тут! А мне, как ни кинь, на риск итить надо, другого хода нет… А тебе какая нужда самому в петлю лезть?

— Расстаемся, значит? — грустно кивал головою печатник, наливая две стопки. — Ну, что ж, по такому случаю…

— Я с вами отсюда пойду, к вам, Ольга Алексеевна, собираться вам помогу, — взяла под руку Ольгу тихая Мария Васильевна.

— А сами вы? Ведь вы тоже поедете?

— Нет, Ольга Алексеевна, я останусь.

— Что вы, капелька моя дорогая! Неужели думаете, что советские церковь вашу в покое оставят? Коров ваших? Вас самих?

— Совсем я этого не думаю, — покачала головой «Капля молока», — церковь разгромят, а коров разбазарят. Я это знаю.

— Так зачем же, зачем? Шольте безусловно, даст вам путевку, Всеволод настоит на этом!

— Другая моя путевка, — прошептала на ухо Ольге маленькая женщина. — Моя путевка Богом мне выдана, людям служить в ней указано.

— Служить-то не придется. Загонят вас в конец и всё.

— Ну, что ж! А там разве людей нет? Там-то я и пригожусь. Нет уж, не уговаривайте, не тратьте на меня времени, Ольга Алексеевна, а лучше пойдемте вас собирать.

— Наши сборы недолгие, — отмахнулась Ольга, — мы со Всеволодом пролетарии. Раздва и готово.

— Тогда я Елене Николаевне помогу. У нее дети, а сама она знаете какая… Разве соберет их, как следует, в такую дорогу?

— Ну, так давайте простимся, как следует, — обняла Марью Васильевну Ольга.

— Рано еще, — высвободилась из ее объятий та. — Я на станцию вас провожать приду.

— А вы, Миша, едете или остаетесь? — тревожно спросила Ольга молчаливо стоявшего студента.

— Не знаю еще, Ольга Алексеевна. Как начальство прикажет. Да ведь доктор Шольте сказал же…

— У меня свое начальство, особое.

— Что вы там еще выдумываете? — рассердилась Ольга. — Какое там еще начальство?

— Самое главное: русское.

— Как там хотите, — махнула Ольгунка рукой, — сам не маленький! В солдаты таких, как вы, берут.

— То-то и дело, что в солдаты пора, твердо ответил Миша.

— Вы на меня не обижайтесь, Ольга Алексеевна, завтра я вам все начистую скажу. Ведь я вас, как родную мать, уважаю.

— Ваша песня оказалась пророческой, будущий атаман Платов, — крикнул от двери уже надевший пальто Пошел-Вон: — Тает, тает сизый дым, ты прощай, станица… — нарочито заунывным фальцетом пропел он и сделал ручкой, как крылышком.

Мишку как встряхнуло. Он избоченился и чувствовал, что вырос разом на целую голову:

Мы тебя не посрамим,
Будем лихо биться!

— пропел он в ответ полным голосом.

— Правильно! — рявкнул от стола Шершуков, совещавшийся там с печатником и метранпажем.

ГЛАВА 34

Первый день русского Рождества выдался ясный и солнечный. Слегка морозило, но ветра не было, и выпавший ночью снег лениво дремал лиловатыми пуховиками на ветвях деревьев. Накануне, поздно вернувшись от Шольте, Брянцев сказал Ольгунке:

— Собирайся не торопясь. Мы с тобой выедем на станцию не завтра, а послезавтра, ранним утром, затемно. Шольте обещал прислать машину. А отход нашего поезда назначен на восемь часов. Успеем. Но всем, кто будет приходить, говори, что не знаешь часа отправки. Пусть грузятся завтра днем, чтобы не создавать толкучки в последний момент. Помни это.

— Куда едем?

— Пока в Мелитополь, а потом, вероятно, в Крым. Шольте сам еще точно не знает маршрута.

— Дела у немцев действительно плохи? С Кавказа уходят?

— Сталинградская операция проиграна. Это ясно. Кажется, даже в мешок там попали. Отходят на линию Дона. Но Ростов, вероятно, будут держать. На Кавказе — отход до Пятигорска или несколько западнее, но пролива сдавать не хотят. Там ведь они настоящий мост построили… В общем, дело не так уж плохо.

— Ты и со мной говоришь, как того требует долг службы, — обиделась Ольга.

— Поверь, говорю, что знаю сам, и как думаю сам, — поцеловал в висок улегшуюся рядом с ним жену Брянцев. — Тебя успокаивать не надо. Ты сама смелей меня. Дело в том, что и Шольте мало знает. У них ведь приказ — и все. А думать полагается лишь генеральному штабу. Но меня успокаивает один бесспорный факт: на Кавказе советы не наступают. Немцы отходят, когда хотят, и без боев. Наш город сдадут только дня через три.

— Бедный город! — грустно промолвила Ольга. — Чужой он мне, не люблю я его, а все-таки жаль.

— Вот и я тоже сказал доктору Шольте. И знаешь, что он мне ответил?

— Откуда мне знать? — вытянулась под одеялом Ольгунка. — Сказал, что его назад вернем?

— Нет, он с искренней, на самом деле искренней слезой в глазах, но все же по-немецки наставительно поправил меня: — «Бедные люди…» И был прав. Ну, а теперь спим, — выключил Брянцев свет.

— Знаешь, — помолчав, в темноте снова заговорила

Ольгунка, — в первые дни, даже в первые недели оккупации во мне боролись два чувства к немцам. Одно — смесь радости от их прихода, от поражения советчиков, благодарность к ним за это, восхищение перед мощью их армии… А другое, наоборот, злоба, досада … Злоба за то, что они сверху вниз на нас смотрят, а досада, досада — сама не знаю на что. Пожалуй, на то, что они, а не мы, мы сами бьем советскую сволочь.

— А теперь?

— Теперь нет. Теперь я много простого, житейского, человеческого в них вижу. Только странные они всё-таки. Вот тот же Шольте: жалеет людей, именно людей и от всего сердца их жалеет, а получи он приказ этих людей истребить — ни на минуту не задумается и в совести его ничто не шевельнется. Трудно нам их понять.

— А им нас еще труднее, — сонным голосом ответил Брянцев. Наутро, еще затемно, он ушел в редакцию.

— Надо уничтожить весь архив, чтобы имена писавших нам им не достались. Кроме того, постараюсь забрать побольше из библиотеки. Пригодится. Все это погружу и сам повезу на станцию. Ты же поесть мне туда принеси. Кстати и место в вагоне выберем, закрепим его за собой.

Теперь Ольга несла ему еду: хлеб, котлеты и пирожки с картошкой.

«Промерзли они все там, наверное. Да и подбодриться не мешает», — подумала она и завернула на базар.

Там было пусто и уныло, как в советское время. Кое-где небольшими группами сидели торговки кислым молоком, жухлыми солеными огурцами и неизменными семечками. Муку, мясо, картошку, как ветром сдуло.

Около стены водокачки табунком толпились мужчины. К ним и направилась Ольга.

— Пол-литра есть? — спросила она первого с краю.

— Вам какой: самогонной или запечатанной?

— Конечно, запечатанной.

— Пятьсот рублей теперь такое конечно стоит. Подорожало! — задорно ответил продавец. — Советскими. Марок не принимаем.

— Да ведь я недавно триста платила!

— Мало ли что, — отвернулся парень, показывая этим, что ни рубля не скинет.

— Ну, давай!

— Брали бы заодно и другую, барынька, завтра еще дороже будет, — деловито посоветовал продавец, получая деньги. — Честно предупреждаю, — показал он горлышко из бокового

кармана.

— И одной хватит, — сердито отрезала Ольга.

Но полученное на базаре тяжелое впечатление прошло, когда она вернулась на главную улицу. Солнце рассыпало огнистые искры по чистым, снежным полотнам, покрывавшим крыши. Оттуда падали и звонко рассыпались ледяные сосульки. Ольге стало даже весело. Предстоящий прыжок в неизвестное здесь ее не страшил.

— Вот хорошо, что я вас на улице встретил, Ольга Алексеевна! А то не знал, где искать: дома, в редакции или на станции, — остановил ее за локоть, догнавший бегом Мишка.

— А на что я вам так срочно нужна? — ласково протянула ему левую руку Ольга. В правой она держала узелок с едой.

— Исповедаться вам хочу, чтобы вы обо мне плохо не подумали.

— Я и не собираюсь о вас плохо думать, Мишенька. Я вас люблю. Вы хороший. Ну, а если вас самого тянет поговорить по душам, так валите. Никто нас здесь слушать не будет, хоть и народ кругом.

Ольга и Миша спускались к вокзалу по главной улице города. Об эвакуации знали уже все: напечатанное ночью объявление комендатуры было расклеено по стенам тем же Володькой, который и пять месяцев тому назад на тех же стенах, такой же пьяный, расклеивал первые прокламации занявших город немцев. И улица была такой же, как вчера, как третьего дня, как месяц, два месяца тому назад. Так же громыхали и фыркали на ней покрытые пятнистым брезентом автомашины, так же неторопливо, деловито проходили немецкие офицеры и солдаты. Лишь у дверей некоторых учреждений сбивалось в небольшие группы русское население, да на грузовиках поверх брезента иногда валялись задравшие ножки столы и стулья.

— Ну, начинайте вашу исповедь, кайтесь, — приняла несколько юмористический тон Ольгунка.

Мишка уловил его и помрачнел.

— Вы не смейтесь, Ольга Алексеевна, — тихо сказал ей он, — я ведь с вами, как с родной матерью.

Ольга переняла узелок левой рукой, а правой взяла Мишу под локоть.

— Не сердитесь. Я так, сдуру. Ну, в чем же дело?

— Я остаюсь, — свалил груз с плеч Миша.

— Мишенька! — став перед ним, воскликнула Ольга. — Да с ума вы, что ли, сошли? Неужели ради Мирочки? Не дурите мой Мишенька. Таких Мирочек еще много-много встретится в вашей жизни. А жизнь у вас только одна. Ее-то хранить и беречь надо…

— Нет, Ольга Алексеевна, не из-за нее, а по своему решению и еще … по приказу, — серьезно и тихо сказал Миша.

Ольга побледнела и уронила узелок.

— Миша! — всплеснула она руками. — Неужели я в вас ошиблась? Неужели вы…

— Нет, нет, Ольга Алексеевна, — поднял упавший узелок и растерянно совал ей его Миша, — вы такого обо мне не думайте. Не засланный я, не продажный. Нет. Мой приказ от другого командования исходит…

— Какого же. Миша? Ничего я не понимаю.

— Сейчас всё поймете. Помните, я вам говорил, что ребята наши и я тоже в тайную русскую организацию вступили, помните?

— Ну, помню. Сказали, а потом замолчали. Значит, так это, одна романтика была.

— Не романтика, Ольга Алексеевна, а настоящая работа была. И теперь она есть. Русская, для России работа.

— Партизанщина?

— Да, партизанщина, — кивнул головой Миша, — только не против немцев. Нет. Скорее даже за них, но, отдельная, под своей, под русской командой и в русских, только в русских интересах.

— Что же вы делали? — светлея лицом, расспрашивала Ольга.

— Делали кое-что. Начальник наш очень активный. По колхозам и в городе тоже свою сеть раскинул. Советских, засланных в районы, ликвидировал… И здесь тоже. Ликвидацию Плотникова помните? Загадочной она считалась. Так это, наши ее произвели, потому что у него советская радиостанция была. Партизанов по лесам тоже. Делали, что могли, а теперь еще больше сделаем. Оружия много в колхозы перебросили и еще добавим. Теперь самая страда и начинается, в тылу у советов будем действовать.

— Безнадежное это дело, Миша, — грустно покачала головой Ольга. — Ну, сначала может быть, и покрутитесь, попартизаните, а потом, безусловно, всех ваших выловят и вас в первую очередь.

— Бог не без милости, казак не без счастья, — беспечно махнул головой Миша. — Я тоже не пентюх, не безмозглый. Зря им в лапы не дамся!

— Куда же вы от НКВД денетесь, когда оно вернется?

— Куда? Места у нас, что ли, не найдется? Коли горячо в самом городе станет, в станицы подадимся, а то и в горы, к Теберде, на Архыз. Поди, там, поймай. Карачаевские абреки там все советское время перебыли, а у нас с ними связь есть, у нас везде свои люди, — с гордостью возразил Миша.

— Кто же создал такую замечательную организацию? — удивленно спросила Ольга. — Офицер какой-нибудь бывший?

— Бывший-то бывший, — несколько смущенно сдвинул Миша шапку на лоб, — только не офицер, а… бандит или конокрад вернее… Говорят про него так, да он и сам не отрицает.

— Ну, дела. Чудеса, да и только.

— Чудесные дела теперь в порядке вещей, — засмеялся Миша. — Люди начисто переоборудуются. Вот, например, самый боевой командир у нас — коммунист бывший. Да вы его знаете…

Миша запнулся, замялся и потом, словно прорвав запруду, посыпал:

— Я уж вам все скажу. Вы ведь не растрепите. Организатора нашего вы сами видели. Помните, человек с бородатым попом в совхоз приходил, когда вы в город возвращались?

— Кривой?

— Он самый.

— Подозрительный тип.

— Ничего не подозрительный! — с жаром возразил Миша. — А очень даже замечательный. Пламенный человек! Истинный энтузиаст! Имя его одно чего стоит — Вьюга!

— И поп с ним?

— С ним. Только он совсем в расстройство пришел: полнейший псих.

Незаметно за разговором подошли к станции. Перед ней густо толпились женщины и мужчины, по виду со всех ступеней социальной лестницы. Слышался резкий начальнический голос Степанова:

— Еще раз повторяю вам, граждане! Возможность отъезда предоставлена всем желающим. Вагонов и перевозочных средств хватит. Но для отъезда необходима регистрация в комендатуре. Здесь вам толочься нечего, без путевки от немцев на перрон не пропущу! С путевкой — пожалуйста! Не теряйте времени и идите в комендатуру.

— А мы как пройдем? — растерянно спросила Ольга Мишку. — Я никаких документов с собой не взяла.

— В два счета проскочим, — беспечно и не без хвастовства ответил Миша. — Это тоже наш человек. Я сейчас …

Он втиснулся в толпу, заработал плечами и локтями, скрылся в ней, но, через несколько минут уже, снова стоял перед Ольгой.

— Всё в порядке. Наши грузятся на заднем пути, около двух последних по ряду цистерн. Единственных уцелевших. Нам не через станцию, а вдоль путей ход.

Пробираясь между сброшенных с полотна обгорелых трупов вагонов, Ольга остановила студента.

— Здесь нас, Миша, никто не увидит и не услышит. Постоим минутку. Так вот, — завела она его за обугленный костяк пассажирского вагона, — слушайте. Не верится мне в успех вашего дела. Ну, покрутитесь вы месяц-другой, а потом, если немцы не вернутся, все погибнете. Не раз ведь так уже было! Но и отговаривать вас не буду, — тихо продолжала она, помолчав, — внутренне, душевно вы правы. Должно быть так и надо. Подвиг, жертва нужна. Дайте перекрещу вас и поцелую, а потом на людях и проститься с вами, как следует, не придется.

Миша снял шапку и, вытянув шею, по-детски подставил лоб.

— Храни вас Заступница, Матерь Пречистая и Никола Милостивый, — перекрестила его Ольга, бросила свой узелок на землю и, взяв за виски обеими руками, крепко поцеловала в губы и в лоб. Потом еще раз перекрестила, что-то совсем неслышно прошептав.

Проснувшийся легкий ветерок окропил опущенную кудлатую голову Миши сметёнными с крыши обгорелого вагона снежинками.

Потом весь путь до вагонов оба они не сказали ни слова.

ГЛАВА 35

Вагоны отыскались без труда. Они были последними в бесконечном ряду формировавшегося состава и стояли прямо против двух уцелевших при немецкой бомбардировке круглых нефтяных цистерн. Между ними маячила теперь фигура русского полицейского с примкнутым к винтовке штыком.

Не доходя еще шагов пятидесяти до вагонов Ольге и Мише стал уже слышен зычный голос Шершукова, ритмически покрикивавшего:

Раз-два, дружно!
Поднять нужно!

В разведенные настежь двери товарного вагона по валкам, на канатах, втягивали не разобранный линотип.

— Сколько же народу! — удивленно воскликнула Ольга. — Что же это, вся типография, что ли, уезжает?

— Никак нет, Ольга Алексеевна, — откозырнул ей разгоряченный ходкой работой Шершуков, — тут всякие. Провожающих даже больше, а на отъезд записалось пока всего шестнадцать человек. Остальные помогать грузиться пришли. И удивительное дело, даже безо всякого давления! Я их совсем и не звал, а они по собственной инициативе. А еще тоже удивительно, — повернулся он к Мише, — большая часть записавшихся — молодежь: цинкография в полном составе, ученики-линотописты из ваших студентов… Стариков только пара: печатник да переплетчик. А из бухгалтерии никого.

— Значит, всем места хватит? — спросила Ольга.

— Чего там, еще останется, — махнул рукой Шершуков. — Своих мы всех в классном вагоне разместим, — указал он на желтый вагон второго класса, — даже в мягком, — там Котов комендантствует… В этот — шрифты, металл, еще один линотип и плоскую поместим. Во второй, который рядом, рулоны, их всего-то тонны на две осталось, а поверх них сможем еще человек сорок в крайности разместить. Как думаете, доктор Шольте препятствовать не будет? — обратился он к подошедшему Брянцеву.

— Против чего?

— Да если чужих к себе пустим?

— Нет, сам даже предложил брать знакомых на свободные места…

— Значит, всё в порядке! — хлопнул ладонью по ладони Шершуков, — опохмелимся с первосортной закуской. Сейчас к столу позовут, — похохатывал он.

— Что вы тут еще настроили? — спросил Брянцев.

— За свой страх и риск одного хорошего человека пустил. Вот теперь оказывается, что даже и хлопот это не потребует! Идемте к столу, говорю, в тот вагон, где бумага.

Он постучал в запертую наглухо дверь и весело крикнул:

— Григор Аванесович, отчиняй ворота! Гости пришли!

Из приоткрывшейся двери вагона смачно пахнуло жарящейся бараниной.

— Чишлик-башлык по-карски, — посмеивался Шершуков. — Давайте я вам влезть помогу, — взял он Ольгу за руку, другой рукой подхватил под зад и, как ребенка, вскинул в дверь вагона.

— Ну, силища! — повернулась к нему Ольга из двери.

— Жаловаться не приходится, — расправил широкие плечи Шершуков. — А жаль, Ольга Алексеевна, что нам с вами вчера доплясать до точки не пришлось… Ну, успеем еще! Влазь и ты, шпингалет, — подмигнул он Мише, — в убытке не останешься!

Внутри вагона, по обе стороны дверей лежали в два ряда аккуратно сложенные рулоны типографской бумаги. Между ними, возле топившейся чугунной печки стоял накрытый такой же бумагой столик, а на нем бутылки, стопки и тарелки с закуской. Позади шипел примус, словно бранясь скворчащей бараниной на огромной сковородке.

Слева, на рулонах, были чуть не до потолка навалены ящики, узлы, чемоданы, стулья и даже какой-то шкафчик. Их разбирали две закрученные платками до глаз женщины. Между ними, мешая им, копошились дети всех возрастов, которым, видимо, было очень приятно ползать на четвереньках, а в углу вагона, на большом узле, восседала крючконосая старуха с выбившимися из-под платка седыми космами.

— Мамашя, — почтительно отрекомендовал ее потомок Карапета Великолепного.

— Вы говорите, — одного приняли, а здесь минимум человек десять, — ухмыльнулся при виде этой картины Брянцев.

— Ровно двенадцать с иждивенцами, — с полной готовностью ответил Шершуков. — Но эти последние в счет не идут.

«Ну, ловкач этот Шершуков, рассмеялся про себя Миша. Интересно, сколько он содрал с армянина?»

— Разпоражайтесь, разсажайтесь, — хлопотал тот, стягивая стулья с рулонов. — В самый момент шашлык даем. Настоящий карачаевский барашка!

— А я тебе и обед, и водку тащила, — разочарованно

протянула Ольга.

— Хорошо сделала. Пригодится. В нашем вагоне такого комфорта не увидишь. Там все холодны и голодны.

Он был прав. Когда, выпив и закусив у армянина, перешли в классный вагон, то разом попали в иную атмосферу.

Хотя оконные стекла были целы, но в вагоне было холоднее, чем наружи. В проходе, на заляпанном талым снегом полу, беспорядочно громоздились чемоданы, узлы и корзинки. Перешагивать через них приходилось, высоко поднимая ноги. Брянцев споткнулся и выругался, но его бранчливое восклицание потонуло в хоре других, еще более злобных голосов.

На середине прохода Котов спорил с заменившим Мишку на месте корректора Таской.

— Я прекрасно знаю, что вы холосты и поэтому даю вам только одно место, — убеждал его Котов.

— А я говорю вам, — возвышал голос Таска. — Посмотрите в окно, — вон она, моя жена физически на мешках сидит!

— Не было у вас жены, а теперь появилась!

— Как и у всех людей, — резонно отпарировал Таска. — Сначала жен не бывает, а потом появляются. Два места!

— Одно!

— Давайте ему два, — примирил спорящих Брянцев, — мест хватит. А жена там или не жена — его личное дело. Шольте разрешил и знакомых брать.

Миша, для которого женитьба Таски тоже была новостью, выглянул в окно. Перед поездом, на груде немецких вещевых мешков, тумбообразно восседала Галина Смолина в шикарной беличьей, мехом вверх, шубе.

— Вот оно что!

Догнав в тамбуре выходившего Таску, Миша удержал его за плече и шепнул:

— Едешь? А я только что с дядей Вьюгой говорил: вся организация остается. А ты как же? Вся организация…

— Какая там теперь организация, — вырвал от него плечо Таска. — Я человек семейный… Она, Галка, понимаешь… — сделал он круглый жест ладонью над своим животом. — Вот тебе и организация! Подлинная, брат, физико-биологическая, с вытекающими отсюда социальными последствиями. А то, — у нее своя организация, а у меня своя. Так семьи не построишь. Теперь она на свою плюнула, и я на свою тоже.

— Обуржуился! — с горечью произнес Миша. — Полное бытовое разложение! Ишь, багажу-то у тебя сколько. — Указал он на пьедестал, подпирающий монументальную фигуру Смолиной.

— Это все выслуженный ею генеральский рацион. Надо ж

питаться в дороге. Немцы сами дали.

— А шуба?

— И шубу они дали. Из фонда еврейских трофеев.

— Здорово! — только и нашел что сказать Мишка. — Ну, что ж, беги, как крыса с тонущего корабля, а я останусь.

— Твое дело. Мы насильно никого не тянем.

— Мы? Не тянем? — подчеркнул окончание глагола Мишка. — Ого! Ну и…

Окончить фразы ему не пришлось. Его чуть не сбил с ног стремительно вскочивший в вагон Пошел-Вон.

— SOS! SOS! SOS! Сигнал бедствия! — кричал он еще на ступеньках. — Во имя всех богов Олимпа, Синая и Попокатепетля! Одно место! Только одно место погибающему одаренному ребенку!

— Какому ребенку? — затревожилась Ольга. — Что с ним? Кто он?

— Этот одаренный ребенок — я! — скромно потупил глаза Пошел-Вон. — И теперь я погибаю в полной беспризорности… Даже присесть где нет места…

— Да ведь вы весь четвертый вагон под своих одаренных чертенят у Шольте выпросили! — вызверился на него Котов.

— Это меня и погубило! — покаянно стукнул себя в грудь Пошел-Вон. — Вы слышите, что там творится? — приник он ухом к оконному стеклу.

Снаружи действительно доносился сильный шум и визгливые выкрики.

— Что там происходит? — нахмурился Брянцев.

— То, что и должно было произойти по логике мудрого Аристотеля, которой я — увы! — неосмотрительно пренебрег… — бессильно опустился, даже не вихляясь, на ближайший мешок Пошел-Вон. — На отъезд записалось только шесть одаренных кретинов с ближайшими родственниками, в сумме, примерно, восемнадцать человек… Чего ж лучше? Простор! Но у одаренных оказались неодаренные братья и сестры, совместно с ними у всех общие родители, у родителей — еще родители, у тех еще братья и сестры! В результате это только первый грузовик со сборного пункта, а там набралось товара еще на две машины. И беспрерывно прибавляется.

— SOS! SOS! SOS! Спасите мою душу!

— Если она у вас когда-нибудь была, — чуть не лязгнул зубами Котов. — Всеволод Сергеевич, я снимаю с себя обязанности! Никаких сил не хватит. Всё утро Женя психовала. Теперь он! Выдержать их обоих вместе я не в состоянии. Спасите также и мою душу, — опустился он на мешок рядом с Пошел-

Воном.

— Слышите? Слышите? — с ужасом указывал тот на окно. — Они всеми тремя поколениями штурмуют вагон! Как воинственны их боевые клики! О, сколько еще сил таит в себе наш великий, славный, могучий народ!

— Придется все-таки дать ему место. Надо быть сострадательным к своему ближнему, — прислушавшись к крикам, тяжело вздохнул Котов. — Последнее в продольном ряду, — указал он рукою. — Рядом с уборной, у двери.

— У вас гениальная интуиция, — разом, как пружина, воспрянул Пошел-Вон. — Пирамидально! Помпезно! Лучше и быть не может! После вчерашнего пира у меня совершенно расстроен желудок! Кстати, как разрешил свою трагическую проблему наш земноводный либерал? Какой род тоталитаризма им предпочтен?

— Тот, который обеспечил его спокойною верхнею полкой в самом теплом купе, рядом с отоплением. Ваш прогноз оказался совершенно верным, Пошел-Вон, — ответил уже примиренный с ним Котов.

— И еще вопрос, мой дорогой, но секретный, — Пошел-Вон зашептал что-то на ухо Котову так тихо, что Ольгунка расслышала только слова: «А сейчас это милое учреждение работает?»

— По общим железнодорожным правилам на стоянках поездов уборные заперты, — громко ответил тот.

— Тогда как же?

Пошел-Вон заерзал на своем мешке, помял себе живот, заглянул в окошко и стремительно сорвался с места. В тамбуре он наскочил на входившую Мирочку, оттолкнул ее, даже не извинившись, спрыгнул со ступеней и устремился между цистерн.

— Стой! Стрелять буду! — раздался окрик стоявшего на часах полицая, и он недвусмысленно взял оружие на изготовку.

— Милый друг, — завихлялся перед ним Пошел-Вон, — безупречный орган общественного порядка, ты же должен понять… Мне одну только минуту. Ради соблюдения вот этого самого порядка, нельзя же тут, перед окнами, нарушать правила благоприличия!

— Не приказано пускать — и все тут!

— Да почему? — крутился, как вьюн, Пошел-Вон.

— Ясно-понятно, видишь — горючее, — указал на цистерны полицай.

— Я туда, вон за тот навес над парапетом, — тыкал пальцем в направлении открытого старого нефтехранилища Пошел-Вон. — Там что?

— И там полно, — веско возразил полицай. — Туда немцы после бомбежки из этих цистерн нефть перекачали, а в эти — бензин набирают…

— Вот что, несравненный блюститель порядка, мы сделаем так: я даю тебе весь мой огнеопасный припас, — протянул Пошел-Вон полицаю едва лишь начатую пачку немецких сигарет и коробку спичек. — Теперь видишь: я полностью разоружен… Пропусти же. Понимаешь, я болен, болен.

Полицай критически осмотрел Пошел-Вона и, очевидно сочтя его вихляния за начало холерных конвульсий, указал большим пальцем за спину: — Вали! Больному человеку надо посочувствовать, — но сигареты и спички все-таки взял и спрятал в карман, ворча: — Разные же шалаются. Сегодня утром Степанов на вокзале двух супчиков перехватил. Мы думали — зря, а оказались оба с оружием. Вот что!

Наблюдавшие эту сцену через окно Брянцев, Ольгунка и Мишка взрывались от смеха. Подошедшая к ним Мирочка, не знавшая сути его анекдота, из вежливости тоже улыбалась, округляя голубенькие глазки и собирая в игривые морщинки свой слегка вздернутый носик.

Давясь смехом, Ольга пояснила ей на ухо затруднительное положение Пошел-Вона.

— Бедный, воображаю, как он переживает, — искренно посочувствовала ему Мирочка.

Сердце, бившееся под голубой шубкой, было мягким и добрым.

ГЛАВА 36

Домой Мирочка вернулась поздно, когда на притихших улицах стало уже совсем темно. Она засиделась у Брянцевых, слушая рассказы Ольги о ее молодости. Как радостно, как весело, как свободно тогда жилось! Ни партнагрузок, ни перевыполнения плана, ни обязательств… «Для себя жили!» — вздохнула Мирочка.

Уличные фонари не горели, но из многих не закрытых ставнями окон лился яркий свет. Иногда снаружи бывало видно, как суетливо копошились внутри. По падавшим на снег отсветам бегали тени.

«Собираются, — думала Мирочка, — многие должно быть уедут. Совсем скучно станет. Отчего папа не хочет уезжать? Поехал бы с Брянцевыми, в их вагоне… Новые места, новые люди. А тут?»

Мирочке ясно представилось комсомольское собрание в холодной, неуютной институтской аудитории, нудная, томительная скука очередного доклада. Скрипучие жалобы матери на усталость от стояния в очередях…

«Тоска! Снова то же начнется… И еще эти нагрузки, обязательства… Ты комсомолка! Ты должна показывать пример! А что, комсомольцы разве не люди? Разве они тоже не хотят жить? Для себя. Для радости, для … любви. Любви? А Котик? Любит, он или нет?»

Откуда-то из темноты в глаза Миры вонзились другие, серые, без блеска, упорно сверлящие…

«Нет. Ему тоже нельзя любить для себя. Совсем нельзя. Служба в органах запрещает личную жизнь. Значит?»

Ответ на этот, обращенный к самой себе вопрос, пришел уже в комнате. Мирочка сняла шубку, аккуратно развесила ее на плечиках и уныло опустилась на голубой диван.

«Ему нельзя любить, значит и его нельзя любить. Как же иначе? Ничего этого ему не нужно, — грустно оглядела она подушечки, бантики и пышные юбки на абажуре, — ни уюта, ни ласки! Предписания и выполнения. Приказы и обязанности. Разве это жизнь? Жаль, очень жаль, что папочка не хочет уезжать!

А, почему Мишка не едет? Неужели он для нее, для Миры, остается? Его можно любить, он беспартийный. Любит? Конечно, любит, это сразу видно…»

На сердце Мирочки разом потеплело, и жуткие, сверлившие ее душу глаза ушли куда-то в темноту, укрывшись в ней от каскада горячих искорок, брызнувших снопом из других, карих, веселых, ласковых глаз.

«Да, этот любит. Взаправду, понастоящему любит. У него все наружу. Славный он все-таки, милый. Надо его приласкать, обнадежить».

Мирочка встала, отыскала на этажерке томик Есенина с березками на обложке и, не открывая его, снова села на диван.

«Какие светлые, нежные, трепетные, — любовалась она на виньетку. — Такою березкой-девушкой, вероятно, и Ольга Алексеевна была? Я — нет. Вот и шубка хорошенькая, и шапочка, и горжетка, — а я все-таки не березка! На березке никаких заданий не висит…»

Мирочке так стало жалко саму себя, что она всхлипнула.

«Без десяти восемь, — взглянула она на стоявший у кровати будильник Тип-Топ. — Надо скорее ответ Мише подобрать. Он не опоздает. Обещала — значит надо».

Девушка торопливо перелистывала книжку, прочитывая лишь первые строки хорошо знакомых ей стихотворений. Подходящего для ответа не попадалось.

«Не то… Не то… Вот знала, помнила, а теперь из головы выскочило. Надо с надеждой, с намеком на взаимность, а эти все грустные, безнадежные. Не то, не то…»

В ставню постучали. Мирочка вздрогнула и отложила книгу.

«Ах, как не вовремя! И Мишка сейчас придет, и вообще… Не хочу Котика сейчас видеть. Просто не могу, не в силах…»

Девушка торопливо вышла в полутемную столовую и заглянула в дверь докторского кабинета.

— Папочка!

— Что тебе, Мирок? — оторвался доктор от газеты и уронил сиявшее на кончике носа пенсне. — Скучно одной стало?

Мира подошла к отцу и обеими своими руками взяла его руку.

— Папочка, сейчас ко мне Прилукин пришел, я ему отпереть бегу, а через пять минут придет, вероятно, Вакуленко, студент, помнишь его?

Доктор кивнул головой, и пенсне снова свалилось.

— Обоих вместе мне неудобно, понимаешь… Папочка, милый, — ютилась она к старику, — открой тогда дверь Вакуленко и задержи его у себя в кабинете под каким-нибудь предлогом! Пожалуйста, сделай это для меня!

— Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом! — комически вздохнул доктор. — Ну, так уж и быть. Стану верной дуэньей лукавой сеньориты! Но только, — перешел он на серьезный тон, — я не вмешиваюсь в твои дела, Мирок, сердечные тем более, я лишь прошу тебя: будь осторожнее с этим Прилукиным! Не по душе он мне…

— Потом поговорим, — чмокнула отца в щеку Мирочка и выбежала из кабинета.

Доктор попытался снова углубиться в газету, но это не удавалось. Из кухни слышалось шипение примуса, — там докторша готовила ужин, — а из комнаты Миры доносились обрывки приглушенного разговора, женского и мужского голоса.

Там, не сняв пальто и шапки, стоял перед диваном Прилукин. От него тянуло холодом. На диване растерянная, испуганная Мира нервно перебирала розовыми пальчиками оборку лежавшей у нее на коленях подушки с вышивкой по ней — Красная Шапочка и Серый Волк.

— Произошла большая неприятность, Мира, — с несвойственным ему волнением говорил Прилукин. — Два наших ответственных сотрудника, на которых было возложено очень важное задание, захвачены фашистами, вернее даже изменниками родины: пуля или петля им обеспечены.

Мире живо представились торчавшие на базаре столбы с перекладиной, и ее подернуло оторопью.

— Но не в этом дело, — продолжал Прилукин, — борьба не обходится без жертв. Дело в том, — раздельно и веско подчеркнул он каждое слово, — что задание должно быть выполнено. Сегодня! Даже сейчас!

У входной двери задребезжал звонок. Доктор отбросил газету, торопливо прошел через столовую и отпер.

— А, студиоз! — с преувеличенным оживлением воскликнул он, впуская Мишу. Вас-то мне как раз сейчас и надо! Пройдемте ко мне в кабинет на два слова, — тянул он через столовую Мишу. Озадаченный студент послушно шел за ним.

— Это задание должны теперь выполнить мы: ты и я. Одевайся! Не медли! — донесся из-за двери голос Прилукина.

Доктор приостановился.

— Не могу! Не хочу! — со слезами воскликнула Мира.

— Должна! Ты приняла на себя обязательство!

Доктор сжал руку Миши. Оба замерли на месте, прислушиваясь.

— А что надо сделать? — сквозь слезы спрашивала Мира.

— Все основное выполню я сам. Тебе пустяки. Ну, постоять, последить, посмотреть. Нужна бдительность. Подержать инструменты, провод… Наша задача: уничтожить цистерны горючего, чтобы пресечь путь к бегству изменникам родины. А зажечь нефть не так просто, это не бензин. Нужна специальная установка. Но повторяю, тебе — пустяки.

— Не могу! Не хочу, не пойду! — истерически выкрикнула Мира, и было слышно, как она топнула каблуками.

— Пойдешь! Сама знаешь, что с тобою будет за отказ! Помни: карающий меч беспощаден.

— Не пойду! Ой, больно! Пусти!

Доктор отбросил руку Мишки, кинулся к двери комнаты Мирочки и широко распахнул ее. Миша увидел высокого мужчину в пальто, выкручивавшего руку девушки. Он почувствовал, как волосы на его голове ощетиниваются, как все его мускулы напрягаются, готовясь к прыжку.

Но первым рванулся к двери стоявший впереди него доктор. Он втиснулся между чекистом и дочерью, пытаясь вырвать ее руку из железных клещей Прилукина.

— Она не пойдет! Не пойдет! — кричал старик. — Это я говорю вам, убийцы, палачи, истязатели!

Прилукин отбросил на диван Миру, выхватил из кармана пальто револьвер и ударил им по голове доктора. Тот повалился на пол.

Миша выхватил свой, унаследованный от Броницына, пистолет и прицелился в ярко освещенное лампой лицо чекиста. Он метил в переносицу, между этих двух ненавистных ему серых глаз. Но мушка прыгала, не попадая в разрез.

«Вот он… красавец! Не уйдет теперь!»

Выстрелить Мише не удалось. Прилукин нагнулся и выпрыгнул вперед, ударив его в живот головой.

— А, черт с вами со всеми! — выкрикнул он, пробегая в сени. Отброшенный этим ударом Мишка стукнулся затылком о притолоку двери кабинета, и в голове у него помутилось.

— Убили! — кричала истошным голосом выскочившая из кухни докторша, увидев лежащего на полу мужа с залитым кровью лицом.

Мишка, пошатываясь, с мутью в голове, тоже подошел к лежавшему, поднял его за плечи и втянул на кровать Миры.

Сама Мира, судорожно зарывалась головой в подушки дивана.

Докторша, шлепая туфлями, побежала в кухню и вернулась с миской воды и полотенцем.

— Прежде всего, рану обмыть надо, — выжала она холодную воду на лоб неподвижного доктора.

Старик вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Мерзавцы! Убийцы! — шептал он не повинующимися губами. — Мира? Где Мира?

— Здесь, здесь она, не беспокойся. Лежи тихо, — хлопотала вокруг него жена.

— Чем он меня? Зеркало дайте, — попробовал приподняться с подушки доктор.

— Лежи, лежи, сейчас подам. Доктор пощупал пальцами темя.

— Кость цела. Удар вскользь пришелся, — осмотрел он себя в зеркало, прыгавшее в дрожащих руках старушки. — Пустяки. Легкая травма. Положи пока лед, а потом я сам себя забинтую. Мира, Мирок? Где ты?

— Я здесь, папочка, здесь, — встала с дивана и склонилась над отцом девушка.

— Мама не может, Мирочка, беги ты, сейчас же беги в комендатуру, — дергал ее за кофточку доктор, — сделай заявку на отъезд. И чтобы утром, рано утром за нами машину прислали. Беги, спеши!

— Папочка, я лучше к Брянцевым побегу. Они близко. И место у них в вагоне есть, я знаю. И машина за ними придет завтра утром. А в комендатуру далеко. Страшно!

— Страшно! Все страшно! Жить страшно! — лепетал, как в бреду доктор.

Мира торопливо накинула шубку, нахлобучила шапочку и, не надевая ботиков, выбежала в прихожую.

— Господи, да что ж это? Как же теперь будет? Ах, страшно, страшно. Он крикнул: мы беспощадны! Конечно, беспощадны. Не простят. Бежать, скорее бежать! Страшно! — шептала она.

— Вы не бойтесь, Мирочка, я до Брянцевых вас провожу, — послышался сзади голос Миши.

— Миша! Милый! Родной! — схватилась за его локоть Мирочка и припала к нему всем телом. — Миша!

— Ничего, ничего, — успокаивал ее студент, — все к лучшему. Уедете — и хорошо, спокойно вам будет.

— Да, да… Брянцев, конечно, всё устроит. Он ведь здесь, в городе еще. Здесь ночует, — лепетала, задыхаясь, девушка, и вдруг в ужасе всплеснула руками: — Миша! А те!

— Какие те?

— Те, кто там, в вагонах около цистерн! Ведь он выполнит задание! Обязательно выполнит! Вы не знаете, какой это человек!

Мирочка беспомощно остановилась. Ей ясно представились охваченные пламенем вагоны, послышались крики детей из них.

— Господи, что же делать? К Брянцеву? Немцам сказать? А те? Они беспощадны. Они не простят. Господи, что же делать? — закричала она в тоске.

— Мирочка, вы не волнуйтесь. Я всё понимаю, — донесся до нее, как будто издалека, голос Миши, — я всё знаю, все слышал. Сейчас придем к Брянцевым, — гладил он плечи девушки, — Брянцев вас устроит, а все остальное я… мы сделаем. Не волнуйтесь! Ничего страшного не случится. Идемте только

скорее, — потянул он за собой девушку.

Мира послушно зашагала рядом со студентом, не отпуская его локтя, и с каждым шагом ей становилось спокойнее и легче. Страх снова уходил в темноту, терялся, глохнул.

— Миша, ведь они всё могут, всё знают. Как же вы? Что вы сделаете?

— Всё, что надо, сделаем, — успокоительно, как ребенку, ответил Миша. — И не всё они могут, не всё знают, Мирочка! Вы не бойтесь. Ну, вот мы и пришли.

Миша взбежал на ступеньки крыльца, сильно постучал в дверь и снова спустился к стоявшей на тротуаре Мире.

— Ну, идите, — подтолкнул он девушку, — сейчас отопрут. Видите, свет у них, значит, не спят еще.

Мира поднялась на крыльцо, Миша остался внизу. Ему всем существом хотелось что-то сделать, как-то выплеснуть, высказать, вынести из себя всё, что было так тесно сжато в его груди, всё, что хотел он отдать стоявшей на крыльце девушке.

И не мог. Не знал, как это сделать, что надо сделать. Не мог и уйти. Неуклюже стоял перед крыльцом.

— А вы, Миша, теперь тоже поедете с нами? — спросила сверху девушка.

— Нет, Мирочка, моя путевка другая, — грустно ответил студент. — Прощайте, Мира. Мне спешить надо. Я всё понял, чего он от вас требовал, что он задумал. Надо эту его операцию поломать.

— Ну, раз так, бегите! Прощайте! Или нет, постойте! Мира сбежала со ступеней лестницы, порывисто обняла Мишку и поцеловала его в губы.

— Помоги вам Господи! Вы сильный, вы сможете!

Мишка круто повернулся на каблуках и побежал вниз по улице, к домику Вьюги.

ГЛАВА 37

Миша бежал недолго и бежал не потому, что торопился, а потому, что все его тело было взорвано, взметнуто, взвихрено поцелуем Миры. Каждый мускул, каждый нерв требовал движения, бега, взлета. Метров через сто он остановился, во всю ширь развел руки и вдохнул в себя столько воздуха, сколько могла вместить расправленная грудь.

«Надо одуматься, нормировать себя», — прижал он холодные ладони к горячим щекам. От них пахнуло духами Миры. Волна переполнявшего его чувства снова вздыбилась и захлестнула сознание.

«Раз, два, три, четыре…» — заставил себя считать Миша, но на двенадцати сбился и начал сначала. После пятидесяти кровь перестала звенеть в его жилах, и в мозгу стало яснее.

«Времени терять нельзя. Он, несомненно, тотчас же начнет действовать. После происшедшего особенно поторопится, — вполне уже овладев собой, рассчитывал Миша. — Значит, к немцам поздно. Пока переводчика вызовут, пока я им всё разъясню, а они по начальству доложат, — станет уже поздно. А тут каждая секунда дорога. Ну, ничего, мы и сами справимся… А кто мы? Ребят собирать тоже поздно. Только мы вдвоем с дядей Вьюгой. Ничего, совладаем. У него людей тоже нет, раз девчонку с собой тянул».

При воспоминании о Мире пред ним встала она сама с заломленной за спину рукой. Волна любви и жалости к ней, слабой, беспомощной, прихлынула к сердцу Миши. Он подавил ее и опять побежал. Но теперь бежал не зарывисто, не гнал во всю силу, а по-спортивному, отпружинивая каждый скачок, экономя силу мускулов и дыхание.

У Вьюги еще не спали, но света в комнате было только что от затепленной перед образом Чудотворца лампадки. Под ней на коленях стоял поп Иван. Арина, тоже на коленях, колола на растопку поленце перед открытою печкой и бережно раскладывала лучины по краям плитки. Сам Вьюга сидел за столом, подперев подбородок обоими кулаками.

В одном из темных углов, в каком — не разобрать — шебаршились и взвизгивали крысы.

— Эк, разыгрались, проклятые! — стукнул на них каблуком Вьюга.

— Не к добру это. Раздолье себе чуют, — уныло отозвалась от печки Арина. — Скотине больше нас открыто. Перед пожаром всегда собаки воют. К покойнику тоже…

— Ну, и черт с ними! Что будет, то будет! Чему быть, того не миновать.

— Значит, остаешься? Не пойдешь с немцами? — угадала скрытую в этих словах мысль Вьюги и откликнулась на нее Арина.

— Святителе отче Николе, моли Бога о нас… — тихо пропел под лампадкой отец Иван.

— Опять, как в Масловке, мечтаешь в одиночку советскую власть свернуть?

— Зачем в одиночку? — не поднимая головы с кулаков, ответил ей Вьюга. — Здесь и еще, окромя меня, люди есть.

— Люди-то есть, а только сизых соколов промеж них нету. Один ты, мой соколик, остался, — нежно и грустно, нараспев, причитала Арина. — А округ тебя черные вороны.

— Не устоять воронью против сокола, коли правду ты говоришь, Арина.

— Один в поле не воин.

— Один там или не один, — встал Вьюга с обрубка, — это мы там дальше посмотрим. Всё может быть, что и помощники найдутся.

— Яко мы усердно к Тебе прибегаем скорому помощнику и молитвеннику о душах наших… — продолжал петь отец Иван перед лампадкой.

— Слышишь? — мотнул головой в его сторону. — Вот поп наш одного помощника уже обещает.

— А ты не смейся, не греши, — строго сказала Арина и перекрестилась на образ. — Помолись лучше ему, Милостивцу. Он всем русским людям помочь дает.

— В бедах — хранителю, из погибели — вызволителю, заблудших — водителю, супостатов — смирителю, болящих — целителю, воинов — защитителю, праведных — покровителю, грешных — на путь спасения наставителю… — теперь уже не пел, а частил говорком старый священник и потом снова возгласил по-церковному: — И всея Русской Земли заступнику, хранителю, людям ее милостнику, — стукнул он об пол тяжелым лысым лбом.

— Слышала? — стал перед Ариной Вьюга. — Грешных на путь спасения наставителю. Заблудшихся — водителю. Аккурат в самую точку попал. Блудил я, почитай всю мою жизнь блудил, а он, Милостник, меня вел и с блудных троп повернул. Только, надо думать, не моими, а Осиповыми молитвами вывел. Погибал я — сам не знаю, сколько разов на краю смерти стоял! Опять же, он меня вызволял. А к чему это? Ты раскинь умом, для какой надобности он мне содействовал?

— Где мне знать это, Ваня.

— То-то! Ум твой бабий, куцый. Значит, молчи и меня слушай. В другой раз я тебе того не скажу. Грешных на путь наставителю — слышала? Опять же, в самую точку. Чего я в жизни моей не напаскудил? Обмерить того невозможно. Одних слез сиротских через мое паскудство, может целая река пролита. А братьям своим, мужикам русским, какую муку я причинял?

— Кто не грешен, Ваня.

— Грех греху рознь. Теперь же, я так полагаю, должен я за муку, мною причиненную, от мук будущих братьев моих оберечь, поскольку сил моих есть. Вот тут опять он — на путь наставитель…

Вьюга прошелся по комнате, постоял перед лампадкой, вглядываясь в едва различимые в ее трепетном свете черты Чудотворца на темном образе, и снова стал перед Ариной.

— Остаюсь я, Арина. Тут всему моему пути завершение. Только не так, как в Масловке оставался. Сробел я тогда — бес попутал жизню свою сберечь, ее поганую. Теперь нет. Где стал, там и наставление выполню. Там и лягу.

— Блажен душу свою за други положивший… — донеслось из-под лампады.

— Чуешь? — прислушался сам к тихому голосу отца Ивана Вьюга. — Он, поп, в обнаковенной жизни психует, а что от Писания, так правильно выговаривает, видно, память ему не отшибло. Изничтожу, сколь могу, кровососов, — облегчу тем русских людей.

— Да они-то, Ваня, кровососы-то, ведь тоже русские люди? Опять же, братья?

— Опять ум твой бабий! — с сердцем прикрикнул на Арину Вьюга. — Братья разные бывают. Каин Авелю тоже брат. Что ж, по-твоему, миловать его, ирода?

— А я как же, Ваня? — покорно и жалостно спросила Арина. — Мне куда деваться?

— А тебе что? Какой на тебе грех?

— Вместе ведь грешили…

— Ну, это бабий грех. Он у Бога на весах тяжело не потянет. Как пух! Исповедаешься попу — и все тут. Стой! — прислушался Вьюга. — В дверь кто-то стукнул. Будто как из наших.

Вьюга вышел в сенцы и, поговорив с кем-то через дверь, вернулся с Мишкой.

— Живо собирайся, дядя! — торопил тот еще с порога. — Большое дело есть! Сам «красивый» на мушке. Помнишь, тот, о котором Таска сообщал, только не знал по имени.

— Врешь! Кто его обнаружил? — лязгнул зубами Вьюга. Миша сел на обрубок и коротко, четко, не сбиваясь и не волнуясь,

рассказал происшедшее на квартире доктора Дашкевича. Сам даже удивился своему спокойствию, ясности своих мыслей. Они не толпились в его мозгу, не наскакивали друг на друга, не сплетались в клубок, как бывало с ним прежде в решительные моменты. Не было теперь и колебаний. Всё было ясно и, главное, он твердо знал то, что он должен делать, что он сделает.

«Словно теорему вывел», подумал студент.

— Ни на немцев, ни на своих ребят рассчитывать сейчас не приходится, — так же спокойно продолжал он, — время не позволяет, упустим момент — сотни людей погибнут, да и самого красавца нашего тоже упустим.

— Ишь, что удумал, стервец! Головастый он, его мать! — выругался Вьюга, шагнул к постели, отбросил лежавшую в изголовье розовую ситцевую подушку и сунул в карман черневший под ней пистолет. Потом надел бушлат и проверил во внутреннем грудном кармане.

— Ну, топаем? Или нет, обожди. Вместе сейчас выйдем. Он подошел к лампадке, не глядя, пододвинул рукой ближний стул на место, с которого встал и отошел вглубь комнаты отец Иван. Стал на стул и снял икону с гвоздя.

— Втрех пойдем. С ним, с Помощником Скорым.

Вьюга подсунул образ под бушлат и туго подтянул поясом. Проходя мимо Арины, даже не взглянул на нее.

Хлопнула наружная дверь. В темном углу снова злобно завизжали крысы. У них, видно, шла драка.

Из сеней потянуло холодом и страхом.

— Отец Иван, где ты?

Арина оглядела все забитые сумраком углы. Старика там не было. Не в силах вынести одиночества, она метнулась в сени. Там тоже пусто, и дверь не заперта на щеколду. Выскочила на улицу. Пусто. Тихо. Лишь где-то далеко выла собака.

ГЛАВА 38

Мишка и Вьюга быстро шли вниз к вокзалу по погруженным во тьму улицам. Город молчал, словно сжавшись в испуге перед неведомым. Только с главной улицы доносился шум проходивших по ней автомашин.

При быстрой ходьбе Вьюга заметно хромал, но не только не отставал от Мишки, а временами даже понукал его. На ходу он ворчал, как сердитый кобель над костью.

— Ловко обмозговал, черт. Сейчас все пути груженными составами забиты. Их всех враз полымем охватит. Специалист! Что ж, он тоже брат, говоришь? Такую братию до корня истреблять надо. Теперь не уйдет, шалишь.

Дошли до станции. Ее двери были наглухо заперты и окна темны. Только в одном, вероятно, в окне дежурки, голубел невидимый с самолетов свет. Но у дверей темнели бесформенные кучки сбившихся на своем багаже, тесно прижавшихся друг к другу людей. Слышался детский плач.

— Сегодня только погрузка шла. Отправка завтра с утра начнется. У немцев на всё свой образец, — сказал Миша, — на все свой порядок.

— Завтра весь их порядок поломают. Как народ попрет, кто его удержит? Струмент при тебе?

— Какой струмент?

— Ясно, не плотницкий. Пушка и что там еще у тебя есть?

— Всё в порядке. Пистолет и еще финка покойника Броницына.

— Ты проверь. Зря палить мы не будем. Дело неверное. Какие мы с тобой стрелки? Действуй лучше втихую. К тому же и немцев тоже остерегаться надо: сбегутся на шум, захватят нас с оружием, тогда доказывай, кто ты есть. Время горячее, как раз сам пулю слопаешь. Теперь на пути нам, что ли, сворачивать?

— Налево. Только пакгаузы дальше обходить надо. Там немецкий пост.

— Вали передом.

Обогнув длинное здание пакгауза и примыкающие к нему навесы, Вьюга и Миша нырнули под вагон. Там Вьюга присел и прислушался.

— Патруль идет. Нишкни. Пропустим мимо, — надавил он рукой на плечо Миши.

Шаги стали слышнее. Донеслось несколько непонятных слов. Миша из-под вагона видел ноги проходивших солдат.

— Теперь прошли, — выждав, когда скрёб немецких сапог

совершенно затих, шепнул Вьюга, — айда дальше.

Пронырнули еще под три цепи вагонов. Миша осмотрелся и повел дальше. Пронырнули еще под две.

— Тормози, — толкнул он Вьюгу локтем, — пришли. Вот эти самые и есть наши типографские вагоны. Подлезем под них и осмотримся. Напротив, у цистерны тоже пост.

Оба снова подлезли под вагон, и присели там, впиваясь глазами в темноту.

— Как раз на место вышли, — шептал Миша. — Вон и обе цистерны белеют. Часовой между ними стоит, а мы сторонкой обойдем. Не увидит.

— Ползи на карачках.

Проползши по снегу метров тридцать, Миша привстал и огляделся. Верно. Цистерны белели сзади, а впереди смутно вырисовывалась темная крыша навеса над старым нефтехранилищем.

Над станцией неожиданно вспыхнул полевой прожектор, бросил на снег колеблющиеся тени вагонов, переполз за пути, задержался на крыше навеса над старым нефтехранилищем и, постояв так секунду, медленно вернулся обратно на пути. Но за эту секунду Миша успел ясно рассмотреть быстро укрывшуюся под парапет от лучей прожектора фигуру.

— Здесь он! Уже орудует! Аида!

Не дожидаясь, пока сноп лучей прожектора уйдет совсем за вагоны, Миша вскочил и побежал к навесу, ощупывая в кармане рукоять финки.

— Вовремя поспели! — выхрипнул сзади него Вьюга.

Миша бежал впереди хромого, но за несколько шагов до навеса споткнулся и упал. Под его рукой скользнуло лицо лежащего человека, его нос и зубы, залепленные чем-то теплым и слизким.

Миша привстал на руках и при последних лучах рассеянного света успел рассмотреть под собой тело в русской шинели с белой полицейской повязкой на рукаве. В то же мгновение на него самого кто-то навалился сверху.

Оттолкнувшись разом руками и коленями, Миша встряхнулся, кинул с себя навалившегося и сам налег на него плечом и грудью. Теперь он был сверху, но две руки крепко сжимали его горло, умело надавливая на артерию и кадык. Миша тряс и мотал головой, пытаясь вырваться, давил руками плечи лежавшего под ним. Не помогало. Клещи на горле сжимались все сильнее, дыхание пресеклось, от боли в глазах замелькали желтые и красные круги.

Отпустив одно плечо лежавшего, Миша вытянул из кармана

финку, зубами сорвал с нее кожаные ножны и, собрав последние силы, два раза ударил ножом туда, где инстинктивно чувствовал горло врага.

Клещи разжались.

Миша глотнул, сколько мог, воздуха и, захлестнувшись кашлем, сотрясался всем телом. К горлу подступала тошнота, к глазам — слезы. Но он видел сквозь них, как, обхватив друг друга руками, Вьюга боролся с чекистом у парапета. Что это Прилукин, Миша знал, и всё то существо рвалось к борьбе с ним, но кашель тряс и корежил его тело, не давая сдвинуться с места.

— Врешь, не уйдешь! — хрипел Вьюга, охватив руками врага и ловчась дать ему подножку.

Не удалось. Прилукин устоял и сам налег на Вьюгу, давя грудью на него сверху. Он осиливал. Оба переминались с ноги на ногу, топчась на месте, словно танцуя.

Спина Вьюги всё сильнее и сильнее отклонялась назад в направлении парапета. Миша видел, как, поняв, что ему не переломить более сильного и тяжелого противника, Вьюга стал отходить сам к парапету и неожиданным рывком бросился на него спиной.

— Врешь, не уйдешь, Каин… — донеслось до Миши его хриплое, рычание.

Это были последние слова Вьюги. Лежа спиной на борту ямы, он продолжал крепко держать чекиста, потом разом оттолкнулся обеими ногами, высоко взмахнул ими вверх и вместе с ним перевалился в яму.

Всплеска от упавших тел Миша не слышал. Морозная нефть густа. Она не плещет, а молча, как болото, заглатывает.

Миша обеими ладонями растер горло и, все еще сотрясаясь в кашле, подошел к яме. Заглянул в нее. Подступавшая почти к самому верху черная гладь густой нефти была спокойна. Ни одного волнистого круга не скользило по ней. Миша снова растер себе горло и, сдавив ладонями виски, напрягся, собирая мысли.

«Теперь что делать?»

— Иди… — услышал он позади себя тихий и вместе с тем властный голос. — Подними, что перед тобой, и неси его… Иди!

Не пытаясь даже узнать, кто говорит, Миша послушно нагнулся и пошарил по снегу около своих ног. Нащупал какую-то доску и поднял ее.

Луч прожектора вернулся к последнему ряду вагонов и дальше, за цистерны, не пополз. Но в его отраженных снегом отблесках студент смог рассмотреть поднятое им.

— Образ, что у Вьюги над лампадкой висел. Вот что это…

— Иди… — снова прозвучал позади него голос. Миша

оглянулся. В темноте белела борода отца Ивана.

— Иди!

— Куда?

— Он, за русскую землю молельник, укажет. Иди.

Миша повернулся и тихо побрел к вагонам, не раздумывая, не пытаясь даже понять, куда идет.

— Со святыми упокой, — донесся до него от нефтяной ямы бесконечно скорбный и вместе с тем исполненный радостной надежды напев, — идеже несть болезнь, ни печаль…

Перед вагонами в голове студента прояснело. Он оглядел ближайший из них. Это был классный. Все окна в нем были темны. Из трубы соседнего, в котором размещалась армянская семья, выскакивали стайки желтых искр.

«Спят, не зная, как близко от них прошла смерть. А если бы?..»

Миша представил гигантский столб пламени над цистернами. Фонтан огненных хлопьев осыпал тесно сгрудившиеся составы. Из них выскакивали объятые ужасом, обгоревшие люди.

«Вьюга выкупил их у смерти. Своею жизнью выкупил. Отслужить мне народу надо, говорил. Теперь отслужил».

Миша полез под вагон и больно стукнулся головою о буфер. Боль прогнала из головы последний туман. Он остановился в узком проходе между составов и собрал рассеянные мысли.

«Надо сконцентрироваться, логически, как в алгебре, думать, — приказывал он сам себе, — так, так вот. Значит, теперь без Вьюги остались и, следовательно, в городе делать нечего. Да и ребята, наверное, растеклись, кто куда, как Таска. Значит, значит, надо самому подаваться. В колхоз, конечно. Для начала хотя бы на Деминский хутор, а там видно будет. Провожу завтра поезд и махну туда прямиком. Точка!»

Вокруг стало как будто светлее. Миша засунул за пазуху образ, который всё еще держал в руках, и тут только вспомнил о старом священнике.

«Откуда он вдруг взялся? Должно быть, за нами от дому шел. Только мы второпях не слыхали. Удивительный поп! Даже, пожалуй, чудесный какой-то. Сказал: „Он укажет“. Ну, что ж! Всё возможно…»

Миша пощупал за пазухой образ и полез обратно под тот же состав.

«Прямиком на шоссе лучше выйду и по нему обойду станцию. Чего там под вагонами елозить. Крюк, правда, но спешить мне некуда».

Перейдя пустырь, он прошел между похожими друг на друга, как пальцы рук, домиками железнодорожного поселка и свернул

на трассу. Сзади, со стороны степи, послышался мерный стук копыт о мерзлую землю.

«Верховые, прислушался Миша, колес не слыхать. И много. Кому бы это быть? Может, табун гонят? Только откуда такому табуну взяться? Не менее, как полсотни коней».

На шоссе было светлее, чем между составами, и студент скоро различил надвигавшуюся на него темную массу всадников. Вот и ее передовой поравнялся с ним.

— Что за человек — отзовись? — не задерживая шага коня, окрикнул он Мишу.

— Из города! Теперь домой иду, — ответил Миша и сам повернулся к верховому, голос которого показался ему знакомым.

Луч карманного электрического фонарика резанул ему глаза.

— Ты, шпингалет? Где тебя черт по ночам носит? По девкам, наверное, шалался?

— Середа! — воскликнул Миша.

— Он самый в полном своем составе! — ответил всадник.

Теперь Миша и сам различал уже черты знакомого лица, надвинутую на правую бровь кубанку, бурку с завернутой назад левой полой и торчащее из-за нее дуло винтовки.

— Куда продвигаешься? — спросил он, идя рядом с конем Середы и придерживаясь рукой за путлище его стремени.

— Не видишь разве, что сотня при полной боевой? Ясно-понятно, в поход выступили. По сполоху, за один день тридцать рядов собрал. Считай, это больше двух взводов! Только с ближних поселков, — хвастался Середа и на Мишу от него несло спиртом. — А еще из Темнолесской да из Бешпагира в ночь подтянутся. Вот и сотня в полном составе! Понял? — Середа подоткнул под колени полы бурки и выпрямился в седле. — Сотня командира Середы! Завтра значок свой разверну, — вот как мы действуем!

— Вьюга-то погиб сегодня, — произнес Миша.

— Каким случаем? — повернулся в седле Середа.

Продолжая идти рядом с конем, Миша коротко рассказал о только что происшедшем. Середа снял кубанку и перекрестился.

— Царство Небесное. На своем боевом посту, значит, лег. Та-а-ак… — протянул он. — Ну, а какое твое теперь намерение? Как планируешь?

— Я к вам хотел идти, на Деминский.

Середа присвистнул.

— От ворот поворот! Дорогие гости, хозяев дома нет. Кладовщик с Андрей Иванычем мне вслед на подводах. По другим колхозам в том же порядке. Не одни казаки снимаются, а иногородние тоже с ними тянут, у кого есть на чем потянуть…

— Что ж, под немцев, значит, а на Россию плевать? — горячо, с досадой выкрикнул Миша.

— Кто тебе говорит — плевать? — озлился и Середа. — Ты пацанок, еще зелен, сер еще не знаешь того, какая она, Россия, есть. До ее ближней границы от нас не менее тысячи верстов будет! Найдется, где развернуться! А отступ? Что ж такого, маневрирование — и только, — щегольнул военным термином Середа. — На войне и не то бывает. Что же касается до немцев, так ты размозгуй по всем пунктам. Немцы йоськиных холуев бьют? Бьют.

— Бьют, да мало, — буркнул Миша.

— Мало, — согласился Середа, — так мы от себя добавим. Так или не так я говорю? Значит, мы не в услужение к немцам идем, а действуем в плане союзников.

— Не по душе мне это, — понуро отозвался Миша.

— Кто говорит — по душе? Думаешь, у меня своей амбиции нет? А как иначе? Душа-то что? Пар — и ничего кроме, а нам полная реализация всего положения требуется.

Середа бросил поводья на шею лошади, вытянул из-под полы кожуха табак, свернул и защелкал зажигалкой. Звезды искорок сыпались каскадом, но фитиль не вспыхивал.

— Зараза! — озлился он и шваркнул о землю зажигалку. — Стахановская продукция! Завтра, первым делом, немецкую себе раздобуду. А тебе, пацан, один план. Там у меня в обозе заводная кобыла есть. Худовата она, правда, а ладная. Вали, седай на нее и айда с нами! Черта лысого тебе здесь делать!

Минут пять шли молча. Обогнули скелет сожженного элеватора и вступили в город. Миша всё еще придерживался рукой за стремя Середы. Потом он перенес руку на колено всадника и легонько потряс его.

— У кого там эта кобылка? — спросил он.

— В последнем ряду, у барсуковского казака Прошина Василия. Попереду подвод. Значит, вынес решение? Ну, с Богом! Оголовье на ней имеется, а вот за седло извиняюсь. Сам себе его промышляй. Острый дефицит.

Миша остановился, пропустил мимо себя темную колонну и, выждав последний ряд всадников, спросил:

— Который здесь Прошин?

— Есть такой. А кто спрашивает? — раздалось в ответ из темноты.

— По приказанию командира Середы принимаю от тебя заводную кобылу. Давай повода.

Приняв от казака смерзшиеся ремни, Миша легко, упругим толчком сильных ног, по-казачьему, а не животом по-мужицки,

вспрыгнул на лошадь.

— Сотня-а-а, в рядах подравняться! Смотри веселей! В город вступаем! — донесся до него командирский окрик Середы.

ГЛАВА 39

Спать эту последнюю в городе ночь Брянцевым не пришлось. С вечера — приход Миры, ее сбивчивый, прерываемый всхлипываниями рассказ о происшедшем на квартире доктора, потом разговор с самим доктором проводившего девушку до дома Брянцева, все это взволновало их и разогнало сон.

— Сильно он ранен? — был первый вопрос Ольги к возвратившемуся домой Брянцеву.

— Нет, пустяки. Кажется, только кожа со лба содрана. Под повязкой не видно. Но ведь он старик, много ли ему надо? Бедняга так потрясен, что заговаривается. Плел какую-то чушь о врачебной этике, об этике вообще, гуманизме и всем таком прочем, имеющем, увы, очень малое отношение к окружающему нас. Нет, Ольга! Окончательно вышло в тираж это, предшествовавшее нашему поколение! Нет ему места в современности. В лучшем случае — архивные ценности и только.

— А мы? — не отрываясь от чемодана, в который она складывала белье, спросила Ольга.

— Мы еще поживем немного. Но тоже не все, а лишь те, кто… кто… — не находил нужного слова Брянцев, — кто забить гвоздь умеет.

— Какой гвоздь? Причем гвоздь? Не понимаю.

— Это так… Образное выражение. Знаешь, вот я сам в молодости чему только ни учился. И университет, и археологический институт, и за границей … Какую бездну идей, систем, учений, понятий я воспринял, впитал в себя, а гвоздя, самого обыкновенного гвоздя забить совсем не умел! Как стукну молотком, обязательно себе по пальцу попаду и до крови! Потом прыгаю на одной ножке, — засмеялся Брянцев. — Только при большевиках эту премудрость постиг — научили!

— Значит, по-твоему, опроститься надо! — вскочила с колен Ольга. Вернуться к примитиву? На четвереньки стать? Нет уж, прости, пожалуйста!

— Ну, зачем же обязательно на четвереньки, — примирительно сказал Брянцев. — Но нужно научиться реализировать идеи, претворять их в жизнь, а не выращивать их в оранжерейной изоляции…

— Летнюю шляпу возьмешь? — спросила Ольга, резко меняя тему.

— Ну ее к черту! До лета еще далеко, а таскать лишний груз не стоит. Вообще бери с собой поменьше.

— Без тебя знаю, что взять. Не беспокойся, тяжело не будет.

Мы с тобой пролетарии. Примус и чайник сую в мешок, в вагоне чаю попьем.

Она оглядела ставшую теперь совсем неприглядной комнату, оголенный, подпертый поленом стол, раскиданные вокруг него стулья, какие-то тряпки и рваную бумагу на полу.

— Ничего, ничего мне бросать не жалко. Всё это мизерное, нищенское. Халтура советская проклятая! Всё к черту! А вот ее захвачу, в чемодан суну, — сняла она с голой стены репродукцию «Царевны-Лебеди» Врубеля, Бог знает как попавшую сюда. — Пусть плывет с нами, она ведь не советская, своя, родная.

Ровно в шесть утра перед окнами заворчал большой военный автомобиль. Вышедший к нему Брянцев заглянул в кабину и увидел сидевшего рядом с шофером Шольте.

— И вы, Эрнест Теодорович? Вы же предполагали уехать лишь завтра, на авто?

— Я только провожаю, — протянул ему руку в серой заношенной перчатке немец.

— Нам придется заехать еще за доктором Дашкевичем. Вчера его дочь приходила и просила об этом.

— Прекрасно. Но ведь он не хотел, кажется, уезжать? У старика немножко, кажется, не в порядке вот здесь, — покрутил пальцем перед своим лбом Шольте.

— Теперь захотел. Ну, нам грузиться недолго, — закинул на верх машины вынесенный Ольгой чемодан Брянцев. Ящик оказался тяжелее, и пришлось прибегнуть к помощи шофера. Вслед за ним соколом взлетел мешок.

— Там тарелки! — всплеснула руками Ольгунка. Мешок в ответ жалобно звякнул.

— К счастью, — улыбнулся Брянцев.

— К черту и тарелки! — махнула рукой Ольга. — Поехали, — влезла она в кабину.

— И это всё? — удивленно спросил доктор Шольте.

— Omnia mea mecum porto, — ответил формулой Диогена Брянцев.

— Хорошо было этому Диогену в своей Элладе голым в бочке сидеть, а вот сюда бы его! Не то бы заговорил, — пожималась в своем драповом пальто Ольга.

Все ставни дома доктора Дашкевича были открыты и все окна светились. Увидев входившего Брянцева, докторша жалобно заклохотала:

— Уже ехать? А у меня ничего еще не готово. Как же это? Хоть полчасика бы подождать.

— Не будет же поезд из-за нас задерживаться. Едем, едем, едем, — нервничала похудевшая за ночь Мира.

— Едем, конечно, едем. Тебе, матушка, волю дать, так ты весь дом за собой потянешь, — ворчал и топтался, мешая старушке, доктор со сбитым набок бинтом на лбу. — Поможете нам, Всеволод Сергеевич? Ах, как это ужасно! — хватался старик за голову, все выше сдвигая повязку.

Помощи Брянцева оказалось недостаточно. Он позвал шофера и с ним вместе вытянул три тяжелых сундука с докторским добром. Но поднять их на верх машины они не смогли. Помогли два проходивших немецких солдата. За сундуками беспрерывным потоком хлынули чемоданы, корзины, баулы…

— Кухонную посудуто я еще не сложила, — кудахтала в дверях докторша, — как же ее, нельзя же бросить?

— В кабину ее, навалом! Время, время! Времени терять нельзя, Анна Семеновна! — нервничал теперь и Брянцев.

Сковородки, кастрюли, сотейники таскали все, даже доктор, пока его не усадили самого в глубь кабины и не засыпали выше колен той же посудой.

Машина фыркнула. Докторша, плача, крестила покидаемый домик.

— Тридцать один годик в нем прожили! Тридцать один. Мирочка в нем родилась, — хныкала она. — Заперетьто, запереть его позабыла! Скажите шоферу, чтобы он на минутку вернулся! — упрашивала она Брянцева.

— Ну, что ж, неужели думаете, что большевики к нему ключей не подберут? — жестко ответил тот.

Старушка притихла и, сдерживая слезы, поглаживала рукав Мирочки.

— А твое приданое, доченька, в сундуках, — шепнула она ей на ухо.

Когда проезжали мимо станции, доктор Шольте указал Брянцеву на четыре стройно тянувшихся к ее дверям очереди отъезжающих. Между ними медленно и самоуверенно ходил немецкий патруль.

— Смотрите, как население уже привыкло к порядку, — сказал он.

— Погодите, это входных дверей еще не открыли, а вот когда их отопрут, — тогда посмотрим, какой будет порядок, и сможет ли поддерживать его ваш ефрейтор, — ответил Брянцев.

Типографские вагоны были ночью переведены на другой путь, но Шольте их быстро разыскал и привел с собой оттуда двух молодых цинкографов. С ними прибежала и Женя.

От автомашины к вагонам потянулось целое шествие.

Впереди энергично шагала Женя с торчащей из-под мышки, как рыцарское копье, половой щеткой, за ней Шольте вежливо

поддерживал под руку цеплявшего ногами за шпалы доктора, далее Брянцев с двумя перекинутыми на ремне чемоданами — своим и докторским, — а за ним стайкой докторша, Ольга и Мира, брезгливо держащая за ручки кастрюлю и лохань. Она старалась отставить их подальше, чтобы не испачкать своей шубки. В конце шествия цинкографы с трудом волокли тяжелый старинный, окованный жестяными полосами сундук Им очень хотелось «выразиться» по адресу его владельцев, но боялись шедшего впереди начальства.

Котов встретил процессию перед вагоном. Его запрятанное в поднятый воротник, еще отекшее со сна лицо разом окисло.

— Куда? — развел он руками. — Людей еще кое-как размещу, сделав некоторое уплотнение, но багаж, багаж?

— Там еще два таких сундука на машине остались, да чемоданов десяток — заговорили разом оба цинкографа.

— К Шершукову, в армянский вагон? — предложил Брянцев.

— Вчера взят штурмом третьим эшелоном одаренных кретинов, — мрачно доложил Котов, — все потомство Карапета Великолепного загнано в один угол и осаждено в нем. Единственная возможность погрузить сундуки вон на ту ближайшую к нам платформу. Ведь маршрут для всего поезда один.

— Украдут! В Ростове обязательно украдут! — всполошилась докторша.

— Больной тот вор будет, какой на этот сундук польстится, проворчал старший цинкограф и скомандовал младшему: — Собирай подмогу, одни мы разве этого черта на платформу подымем?

Доктора кое-как протащили сквозь густо забитый мешками, ящиками и чемоданами проход, всунули в купе Брянцева и усадили в уголке. Рядом с ним села Мира, откинула голову и закрыла глаза. В тепло вагона ей невыносимо захотелось спать. Ольга, став на сидение, распределяла вещи в сетке.

Вагон рванило, встряхнуло на стрелке и мимо окон проплыли обгоревшие стены элеватора.

— Назад едем, к перрону должно быть подают, — сказал Брянцев, — но и отход скоро, — посмотрел он на часы, — без восьми восемь уже.

На перроне в серой мути раннего зимнего утра темнела густая, колышущаяся людская масса. Разобрать в ней отдельные фигуры было невозможно. Прыгая по мешкам, мимо двери купе пронесся Шершуков.

— У этой двери сам стану, а у той двух немецких солдат установил. Им недалеко, только до Кавказской, — бодро и даже

весело, словно радуясь предстоящей схватке, крикнул он Брянцеву на ходу.

Лязгнули буфера, и поезд стал. Вдоль него тотчас же побежали горбатые под мешками люди. Они заглядывали в окно вагона и, увидев серую шинель Шольте, бежали дальше.

— Вот вам и порядок, — подтолкнул Брянцев локтем немца. Нет, с русской стихией вашему ефрейтору не справиться!

Шольте пожал плечами и отдал общий поклон.

— Я вас встречу в Мелитополе. Счастливого пути, господа!

Ровно в восемь, без звонков и гудка, поезд тронулся с места. Стоявший снаружи против окна Шольте прощально помахал перчаткой. Позади него из поредевшего уже зимнего морозного тумана выплыла, словно призрак, борода отца Ивана. Он широко перекрестил уезжающих.

Докторша плакала, вытирая морщинистые глазки сбившимся в жгут мокрым платком. Ольга, расчистив место перед окном, стала на нем и поманила рукой Миру.

Перрон и последние толпившиеся на нем люди отползли в серую муть, снова промелькнул обгоревший остов элеватора, но когда поезд вышел в степь, яркий луч взошедшего солнца пробил облачный настил и заиграл на льдистым, накатанном шоссе.

— Смотри, смотри, Всеволод, — крикнула Ольга от окна. — Кладовщик учхоза катит. И лошади учхозные. Я их помню. Мешков-то, мешков сколько на воз навалил! Всю кладовую, наверное, очистил…

Заинтересованный Брянцев тоже пробрался к окну, стал позади Ольги и обнял ее за плечо. Он узнал и другую подводу, двигавшуюся шагом сзади кладовщика. Там, на возу, хозяйственно восседал «подземельный человек», Андрей Иванович рядом с укутанной с головой в серую шаль супругой. В задке тачанки, из-под плетеных корзин, вероятно, вмещавших в себе кур, торчало свиное рыло, а меж задними колесами мотала головой сытая, с увесистым выменем корова.

— Великий исход народа-богоносца, — саркастически пел пробившийся к окну Пошел-Вон и серьезно добавил несвойственным ему тоном: — Признаюсь, этого я не ожидал.

Поезд набирал скорость, обгонял другие двигавшиеся подводы, запряженные лошадьми, быками, коровами.

— Это что такое? — воскликнул Брянцев.

Теперь по шоссе тянулась колонна всадников.

Впереди нее на худоватом, но рослом коне, с откинутыми в сторону полами бурки и развевающимися по ветру крыльями белого башлыка, лихо избоченившись, бодрил коня шенкелями Середа. Солнце играло на серебряных газырях выставленной

напоказ красной конвойской черкески, на серебре кинжала и шашки.

— Эх, любит форс наш экс-комбайнер! — засмеялся Брянцев. — Смотрите, мороз, а он в одной черкеске перед немцами задается. Но что за всадники? Кто они? Откуда они?

Вслед за Середой на тоже рослом коне ехал казак в черном просмоленном кожухе с рыжим бараньим воротником. Он держал в руке развевающийся по ветру треугольный значок, прибитый к неошкуренному бузиновому древку. Непомерно длинное полотнище значка состояло из неравных по ширине трех вертикальных полос. Синяя была очень узка, белая — раз в пять шире ее, а узкий длинный красный хвостик значка вился по ветру и захлестывался за древко.

Дальше, по три в ряд, ехали разномастные, разнокалиберные всадники в кожухах, в бушлатах, в шинелях. Одни из них были на седлах, другие сидели на подвязанных к спинам лошадей мешках или просто на подкинутых тряпках. Но винтовки были у всех. Шашка же только у Середы.

— А знамя, знамя трехцветное, наше, русское! — как девочка, захлопала в ладоши Ольгунка.

— Не знамя, а значок, да и того Середе не полагается, — поправил ее муж.

— Всё равно русское.

— И не русское. Видишь, полосы идут поперек.

— Всё равно, цвета те же. Я ему перешью, когда встречусь, — не сдавалась Ольга.

— Миша! Миша! — вдруг радостно закричала Мира. — Вон он едет, я вижу!

Ольга торопливо потерла рукавом запотевшее оконное стекло, но стало видно еще хуже. Она задергала опускные ремни, рама поползла вниз и провалилась с глухим стуком.

В духоту вагона, вместе со свежим морозным ветром, влился мотив прорвавшейся сквозь шум поезда песни.

Миша ехал с песенниками, в первой тройке. Седла под ним не было, но через плечо висел короткий кавалерийский карабин.

— Миша, Миша, Мишенька! — махала платком Ольга, но он не видел.

Береги российскую границу,
А любовь Катюша сбережет…

— донесся выделившийся из хора его звонкий голос.

— Удивительно! Поразительно! Необычайно! — восклицал Пошел-Вон. — Изменение одного слова, только одного слова,

влечет за собой диаметральную перемену всей политической программы и даже более того — всего мировоззрения.

А любовь Катюша сбережет,

— повторил, как припев, хор.

— Сбережет? — тихо прошептала Ольга на ухо Мирочке, обняв ее?

— Сбережет, — громко и уверенно ответила девушка.